Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Философические письма

Русско-европейский диалог

1/2020



Philosophical Letters. Russian and European Dialogue

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
РУССКО-ЕВРОПЕЙСКОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ДИАЛОГА

ФИЛОСОФИЧЕСКИЕ ПИСЬМА
РУССКО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

2020
Том (3) №1

ISSN 2658-5413 **Эл. почта:** philletters@hse.ru **Веб-сайт:** phillet.hse.ru
Адрес редакции: ул. Старая Басманная, д. 21/4, к. 217, Москва, 105066. **Тел.:** +7-(495)-772-95-90*12454

Редакция
Главный редактор
Владимир Карлович Кантор
Заместитель главного редактора
Марина Сергеевна Киселева
Ответственный секретарь
Анна Александровна Доронина
Шеф-редактор
Вера Владимировна Калмыкова
Научный редактор
Ольга Анатольевна Жукова
Редакторы
Юлия Валериевна Клепикова, Даниил Антонович Морозов
Серийное оформление
Петр Павлович Ефремов
Компьютерная верстка
Яна Витальевна Быстрова
Корректор
Марина Владиславовна Нагришко

NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY "HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS"
INTERNATIONAL LABORATORY FOR THE STUDY
OF RUSSIAN AND EUROPEAN INTELLECTUAL DIALOGUE

PHILOSOPHICAL LETTERS. RUSSIAN AND EUROPEAN DIALOGUE

2020
Vol. (3) №1

ISSN 2658-5413
Mail: philletters@hse.ru
Web-site: phillet.hse.ru
Adress: 21/4 Staraya Basmannaya Str., Room 217, Moscow, 105066.
Phone: +7-(495)-772-95-90*12454

Editors
Editor-in-Chief
Vladimir Kantor
Deputy Editor-in-Chief
Marina Kiseleva
Executive secretary
Anna Doronina
Chief Editor
Vera Kalmykova
Scientific Editor
Olga Zhukova
Editors
Julija Klepikova, Daniil Morozov
Layout designer
Peter Efremov
Computer layout
Yana Bystrova
Proofreader
Marina Nagrishko

Редакционная коллегия

Владимир Карлович Кантор,
д. филос. н., профессор, ординарный профессор НИУ ВШЭ, заведующий Международной лабораторией (МЛ) исследований русско-европейского интеллектуального диалога НИУ ВШЭ

Марина Сергеевна Киселева,
д. филос. н., профессор, главный научный сотрудник ИФ РАН, главный научный сотрудник МЛ исследований русско-европейского интеллектуального диалога НИУ ВШЭ, профессор кафедры истории и философии науки ИФ РАН, Москва

Анна Александровна Доронина,
стажер-исследователь МЛ исследований русско-европейского интеллектуального диалога НИУ ВШЭ, аспирантка школы философии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ

Гарсиа Бенами Баросс,
PhD, доцент, научный сотрудник Гранадского университета, Испания

Константин Абрекович Баршт,
д. филол. н., ИРЛИ «Пушкинский дом», Санкт-Петербург

Ирина Захаровна Белобровцева,
д. филол. н., профессор, заведующий кафедрой русской литературы Таллинского университета, Эстония

Филипп Буббайер,
PhD, профессор, профессор Кентского университета, Великобритания

Игорь Леонидович Волгин,
д. филол. н., к. ист. н., президент международного общества Ф.М. Достоевского, Москва

Людмила Димерская-Цигельман,
PhD, профессор Еврейского университета в Иерусалиме, Израиль

Януш Добешевский,
PhD, профессор, профессор Варшавского университета, Польша

Ольга Анатольевна Жукова,
д. филос. н., профессор, заместитель заведующего МЛ исследований русско-европейского интеллектуального диалога НИУ ВШЭ

Корнелия Ичин,
PhD, профессор филологического факультета Белградского университета, Сербия

Алексей Алексеевич Кара-Мурза,
д. филос. н., профессор, главный научный сотрудник ИФ РАН, Главный научный сотрудник МЛ исследований русско-европейского интеллектуального диалога НИУ ВШЭ, Москва

Наталья Васильевна Корниенко,
член-корреспондент Российской академии наук, заведующая Отделом новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья ИМЛИ РАН, Москва

Хольгер Куссе,
PhD, профессор, директор Института Славистики Дрезденского технического университета, главный редактор журнала «Zeischrift fuer Slawistik», Германия

Владислав Александрович Лекторский,
д. филос. н., профессор, академик Российской академии наук, Москва

Лев Львович Любимов,
д. э. н., профессор, заместитель научного руководителя НИУ ВШЭ, Москва

Леонид Люкс,
PhD, профессор, научный руководитель МЛ исследований русско-европейского интеллектуального диалога НИУ ВШЭ, главный редактор журнала «Форум новейшей восточно-европейской истории и культуры», профессор Католического университета г. Айхштэтт, Германия

Алексей Валерьевич Малинов,
д. филос. н., профессор, профессор СПбГУ, Санкт-Петербург

Николетта Марчиалис,
PhD, профессор, профессор Римского университета Тор Вергата (Roma Due), главный редактор журнала «Studi Slavistici», Италия

Федор Борисович Поляков,
PhD, профессор, профессор Венского университета, Австрия

Ричард Темпест,
PhD, профессор, директор Русского, восточноевропейского и евроазиатского центра Иллиной-ского университета в Урбане-Шампейн, США

Валерий Александрович Тишков,
д. ист. н., профессор, министр по делам национальностей Российской Федерации (1992), вице-президент Международного союза антропологических и этнологических наук, академик Российской академии наук, Москва

Татьяна Витаутасовна Чумакова,
д. филос. н, профессор Института философии СПбГУ, Санкт-Петербург

Татьяна Геннадьевна Щедрина,
д. филос. н., профессор, профессор МПГУ, Москва

О журнале

«Философические письма. Русско-европейский диалог» — академический рецензируемый журнал, посвященный теоретическим, эмпирическим и историческим исследованиям интеллектуального диалога России и Европы как равноправных партнеров. Журнал выходит четыре раза в год. В каждом выпуске публикуются оригинальные исследовательские статьи, обзоры, рецензии, рефераты и архивные материалы.

Цель

Наладить прямой контакт с западными коллегами для того, чтобы не просто предоставить возможность высказаться на страницах русских изданий (для этого много других площадок), а включить их в прямой диалог по проблемам взаимоважным для русской и европейской мысли.

Тематические рубрики

- Философия в литературном контексте.
- Россия как иная Европа: культурфилософский контекст.
- Русский путь к просвещению.
- Современные аспекты диалога России и Европы.
- Социальные трансформации в современном мире и сохранность интеллектуальной культуры.
- Архивные материалы. Из неопубликованного.
- Научная жизнь. Рецензии. Обзоры.

Наша аудитория

- исследователи, занимающиеся изучением истории русской мысли, интеллектуальной историей России, русской литературой;
- преподаватели российских и зарубежных вузов по специальностям, связанным с историей философии;
- студенты, аспиранты и докторанты, изучающие соответствующие дисциплины;
- западные слависты, исследователи русской истории и культуры;
- журналисты и практики, занимающиеся решением социальных проблем России и вопросами коммуникации с Западной культурой;
- люди, не профессионально интересующиеся изучением наследия русской мысли.

Подписка

Журнал является электронным и распространяется бесплатно. Все статьи публикуются в открытом доступе на сайте: ojs.hse.ru/index.php/phillet/index. Чтобы получать сообщения о свежих выпусках, подпишитесь на рассылку журнала по адресу: philletters@hse.ru

Editoral Board

Vladimir Kantor,
Doctor of Philosophy, Professor at the National Research University "Higher School of Economics", head of the International Laboratory for the Study of Russian and European Intellectual Dialogue of National Research University "Higher School of Economics"

Marina Kiseleva,
Doctor of Philosophy, Professor, chief research fellow at the Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences, chief research fellow at the International laboratory for the Study of Russian and European Intellectual Dialogue, National Research University "Higher School of Economics, Moscow

Anna Doronina,
postgraduate student in School of Philosophy of Faculty of Humanities of National Research University "Higher School of Economics", research assistant at the International laboratory for the Study of Russian and European Intellectual Dialogue

Benamí Barros García,
PhD, associate Professor, postdoctoral researcher at the University of Granada, Spain

Konstantin Barsht,
Doctor of Philology, Institute of Russian Literature, Saint-Petersburg

Irina Belobrovtseva,
Doctor of Philology, Professor, the head of the Department of Russian Literature of Tallinn University, Estonia

Philip Boobbyer,
PhD, Professor at the University of Kent, Great Britain

Igor Volgin,
Doctor of Philology, Candidate of Historical Sciences, President of the International Society of F.M. Dostoevsky, Moscow

Lyudmila Dimerskaya-Zigelman,
PhD, Professor at the Hebrew University of Jerusalem, Israel

Janusz Dobieszewski,
PhD, Professor of Philosophy at the University of Warsaw

Olga Zhukova,
Doctor of Philosophy, Professor, chief research fellow at the International Laboratory for the Study of Russian and European Intellectual Dialogue of the National Research University "Higher School of Economics"

Cornelia Ichin,
PhD, Professor at Faculty of Philology of the University of Belgrade, Serbia

Alexey Kara-Murza,
Doctor of Philosophy, Professor, chief research fellow of the Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences, chief research fellow of the International laboratory for the Study of Russian and European Intellectual Dialogue, National Research University "Higher School of Economics, Moscow

Natalya Kornienko,
Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, the head of the Department of Modern Russian Literature and Literature of the Russian Abroad, Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Moscow

Holger Kuße,
PhD, Professor, Director of the Institute of Slavic Studies of Dresden Technical University, Editor-in-Chief of the journal "Zeitschrift fuer Slawistik", Germany

Vladislav Lektorsky,
Doctor of Philosophy, Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences, Moscow

Lev Lyubimov,
Doctor of Economical Sciences, Professor, deputy academic supervisor of National Research University "Higher School of Economics", Moscow

Leonid Luks, PhD,
Professor, academic supervisor of the International Laboratory for the Study of Russian and European Dialogue of National Research University "Higher School of Economics", editor-in-Chief of the journal "Forum noveishey vostochnoevropeiskoy istorii i kultury", Professor at the Catholic University of Eichstätt, Germany

Alexey Malinov,
Doctor of Philosophy, Professor at the Saint-Petersburg University

Nicoletta Marcialis,
PhD, Professor at the University of Rome Tor Vergata (Roma Due), Editor-in-Chief of the journal "Studi Slavistici", Italy

Fedor Polyakov,
PhD, Professor at the University of Vienna, Austria

Richard Tempest,
PhD, Professor, Director of the Russian, East European and Eurasian Center, University of Illinois in Urbana-Champaign, USA

Valery Tishkov,
Doctor of Historical Sciences, Minister for Nationalities of the Russian Federation (1992), Vice-President of the International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, Academician of the Russian Academy of Sciences, Moscow

Tatyana Chumakova,
Doctor of Philosophy, Professor at the Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg

Tatyana Shchedrina,
Doctor of Philosophy, Professor at the Moscow Pedagogical State University, Moscow

About the Jounal

Philosophical Letters. Russian and European Dialogue is an academic peer-reviewed journal of theoretical, empirical and historical research in intellectual dialogue between Russia and Europe as equal partners. *Philosophical Letters. Russian and European Dialogue* publishes four issues per year. Each issue includes original research papers, review articles and archival materials.

Aims

To establish direct contacts with Western colleagues in order to provide them with an opportunity to speak on the pages of Russian periodicals and include them in a direct dialogue on issues of mutual importance for Russian and European thought as well.

Scope and Topics

- Philosophy in a literary context.
- Russia as a different Europe: cultural and philosophical context.
- Russian way to enlightenment.
- Modern aspects of the dialogue between Russia and Europe.
- Social transformations in the modern world and the preservation of intellectual culture.
- Archival materials.
- Reviews.

Our Audience

- researchers engaged in the study of the history of Russian thought, the intellectual history of Russia, Russian literature;
- teachers of Russian and foreign universities in specialties related to the history of philosophy;
- undergraduate and postgraduate students studying relevant subjects;
- Western Slavic scholars, researchers of Russian history and culture;
- journalists involved in solving social problems of Russia and issues of communication with Western culture;
- people who are not professionally interested in studying the heritage of Russian thought.

Subscription

Philosophical Letters. Russian and European Dialogue is an open access electronic journal and available online for free via phillet.hse.ru. To receive messages about new issues, please subscribe to the journal's newsletter at: philletters@hse.ru.

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции

Ко дню рождения главного редактора В.К. Кантора 12

В. К. Кантор —
Летняя школа в Сербии. Подведение итогов.
Заметки главного редактора 13

Россия как часть Европы.
Материалы Летней школы в Белграде (Сербия)

И. Антанасиевич —
Сербская трагедия 26

А. Д. Куманьков, *Д. А. Морозов*, *А. В. Насырова*, *Т. С. Алексанова* —
Русская эмиграция — последствие Гражданской войны:
спасение, сохранение культуры, осмысление 47

Д. Т. Бабошин, *А. Ф. Макарова*, *Е. В. Подобуева*,
К. А. Мартемьянов, *П. А. Блинникова*, *М. В. Мироненко* —
Материалы круглого стола Международной летней школы
«Русская эмиграция в Сербии. Портреты и судьбы»: «Православие:
сохранение национальной и культурной идентичности русской эмиграции» 65

Литература. Философия. Религия

Ф. Грбич —
Философия и литература 90

Ф. Буббайер —
Мысли для беспокойного континента:
некоторые российские взгляды на общечеловеческие вопросы 96

Т. Н. Резвых, Г. Е. Аляев —
От Непостижимого к познанию человеческого бытия:
заметки С. Л. Франка на полях книги Л. Бинсвангера 106

Вокруг революции: процесс и последствия

В. П. Булдаков —
Ленин как зеркало русской революции 121

Д. З. Йожа —
Герцен: писатель, автор и его герой 138

В. К. Кантор —
Евгений Аничков: пролегомены к интерпретации 174

Архивные материалы. Из неопубликованного

К. Ичин —
Из воспоминаний Евгения Аникова «В прежней России и за границей».
Детские годы 187

Е. В. Аничков —
В прежней России и за границей. Повесть о судьбах родины и о самом себе.
Часть первая. Детство, предки, родители и родня.
Подготовка текста и примечания Корнелии Ичин

Глава I. В Петербурге, на Кавказе и в Подмосковной 193

Глава II. Виленское пятилетие 224

In memoriam

Памяти В.Д. Шелике —
основательницы Немецко-русского института культуры в Дрездене 278

CONTENTS

From the Editorial Board

Congratulations to the editor-in-chief Vladimir K. Kantor on his anniversary 12

V. Kantor —
Summer School in Serbia. Overview of the results. Editor-in-chief ‘s notes 13

Russia as a part of Europe.
Materials on the Summer School in Belgrade (Serbia)

I. Antanasievich —
Serbian tragedy 26

A. Kuman’kov, *D. Morozov*, *A. Nasyrova*, *T. Aleksanova* —
Russian Emigration — a Consequence of the Civil War:
Salvation, Preservation of Culture and Comprehension 47

D. Baboshin, *A. Makarova*, *E. Podobuyeva*,
K. Martemyanov, *P. Blinnikova*, *M. Mironenko* —
Materials on the round table of International Summer School “Russian Emigration in Serbia.
Portraits and destinies” Orthodoxy: Preserving of the National and Cultural Identity
of Russian Emigration 65

Literature. Philosophy. Religion

P. Grbeach —
Philosophy and Literature 90

P. Boobbyer —
Thoughts for a restless continent:
Some Russian perspectives on our common humanity 96

T. Rezvykh, *G. Aliaiev* —
From the Unfathomable to Realization of Human Existence:
S. Frank’s Marginalia in the L. Binswanger’ book 106

Around the revolution: the process and consequences

V. Buldakov (IRH RAS, Moscow) —
Lenin as a Mirror of Russian Revolution 121

G. Z. Józsa (Budapest University of Sciences, Hungary) —
Herzen: Writer, Author and His Hero 138

V. Kantor (NRU HSE, Moscow) —
Evgeny Anichkov: Prolegomena to the Interpretation 174

The return of a name. From unpublished papers

K. Ičin —
From the Memoirs of Evgeny Anichkov
«In Former Russia and Abroad". Childhood 187

E. Anichkov —
In former Russia and Abroad. The Story about the Fate of the Motherland and about Myself.
Part one. Childhood, Ancestors, Parents and Relatives.
Preparation of text and notes by Kornelija Ičin

Chapter I. In St. Petersburg, the Caucasus and the Moscow Region 193

Chapter II. Vilna fi ve-year anniversary 224

In memoriam

In Memoriam of V.D. Shelike — the Founder
of the German-Russian Institute of Culture in Dresden 278

Седьмой номер, вопреки всем сложившимся числовым традициям, оказался для нашего журнала юбилейным, поскольку 30 марта 2020 года исполняется 75 лет со дня рождения нашего главного редактора, ученого и прозаика Владимира Карловича Кантора.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Можно начать перечислять его научные заслуги и достижения… Но лучше — поздравить его с выходом новых книг — философических эссе и прозы — и рекомендовать их читателю. Натан Эйдельман назвал Кантора «Володей двудомным». Эти два дома — литература и философия. А мы напомним, что сочинения Владимира Кантора на прилавках не залеживаются и в каждом издании обязательно содержится удивительный новый материал либо нетривиальная точка зрения на забытое или даже незабытое старое.

Так проявляется отношение автора к культуре и человеческой мысли — как к вечно живому, всегда интересному, бесконечно порождающему смыслы началу.

А философский диалог оказывается без границ.

Да, седьмой номер у нас юбилейный. Присоединяйтесь к поздравлениям!

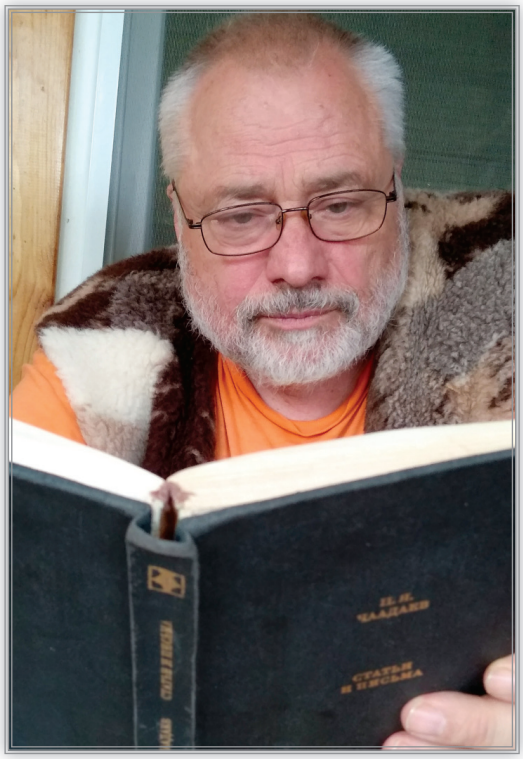
От редакции





ЛЕТНЯЯ ШКОЛА В СЕРБИИ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Заметки главного редактора



Владимир Карлович Кантор
Доктор философских наук,
ординарный профессор Национального
исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ),
заведующий Международной
лабораторией русско-европейского
интеллектуального
диалога (НИУ ВШЭ), главный редактор
журнала «Философические письма.
Русско-европейский диалог»,
член Союза российских писателей,
член Общественного совета Фонда Достоевского
Адрес: ул. Старая Басманная, 21/4,
Москва, Российская Федерация, 105066, каб. 215
E-mail: vlkantor@mail.ru

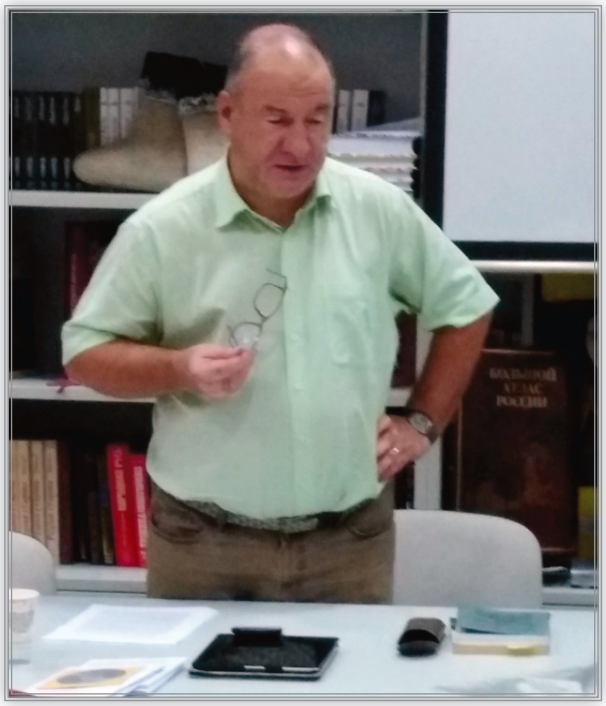
DOI 10.17323/2658-5413-2020-3-1-13-25

С 25 по 31 августа 2019 г. в Белградском университете (Сербия) проходила Международная летняя школа «Русская эмиграция в Сербии. Портреты и судьбы», в которой принимали участие ученые и студенты из Белградского университета, МГУ им. М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ и Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта. Я собрал высказывания преподавателей, их впечатления и размышления о проделанной работе. В конце — мое заключительное слово как руководителя Школы.

Добавлю, что жара стояла серьезная: 36–37 градусов каждый день.

Алексей Павлович Козырев, специалист по истории философии, кандидат философских наук, доцент, заместитель декана философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова по научной работе, один из авторов Большой Российской энциклопедии и Энциклопедии для детей.

В Белградском университете проходила Международная летняя школа «Русская эмиграция в Сербии. Портреты и судьбы», которая объединила на Дунае студентов и преподавателей из нескольких европейских университетов. Школу



А. П. Козырев



А. Д. Куманьков

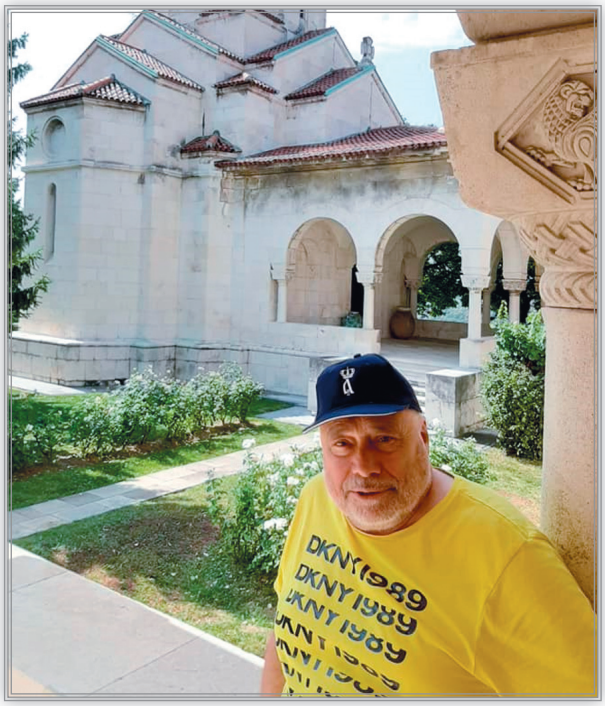
открыли приветствия декана филологического факультета Белградского университета профессора Лиляны Маркович и декана философского факультета МГУ профессора Владимира Миронова. В программе первого дня — лекции Арсения Куманькова, Владимира Кантора, Андрея Тесли и Леонида Люкса. Участники Школы, которая продлилась неделю, посетили Нови Сад и Сремски Карловцы, прошли с экскурсией по русскому Белграду, выступали со своими проектами, соответствовавшими тематике школы. Принимали участие и мои аспиранты — Анна Макарова и Анна Насырова, а также студент журфака МГУ Даниил Бабошин.

Андрей Александрович Тесля, специалист по русской общественной мысли XIX в., кандидат философских наук, старший научный сотрудник Academia Kantiana Института гуманитарных наук БФУ им. Канта (Калининград), член совета Вольного исторического общества.

В конце августа 2019 г. прошла белградская Школа по истории русской эмиграции в Королевстве СХС (с 1929 г. — Королевство Югославия) в межвоенный период. Летние школы, как все мы знаем, дело сильно неровное, и удачные среди них в явном меньшинстве: так сложно все правильно организовать, выстроить баланс тем, подобрать участников и т.д. Прошедшая Школа по интенсивности работы, поднятым и обсужденным сюжетам и, главное, по эффекту многомерности оказалась одной из немногих в моей жизни, не только оправдавших, но и крепко превзошедших мои ожидания за счет множественности



И. Антанасиевич



В. К. Кантор



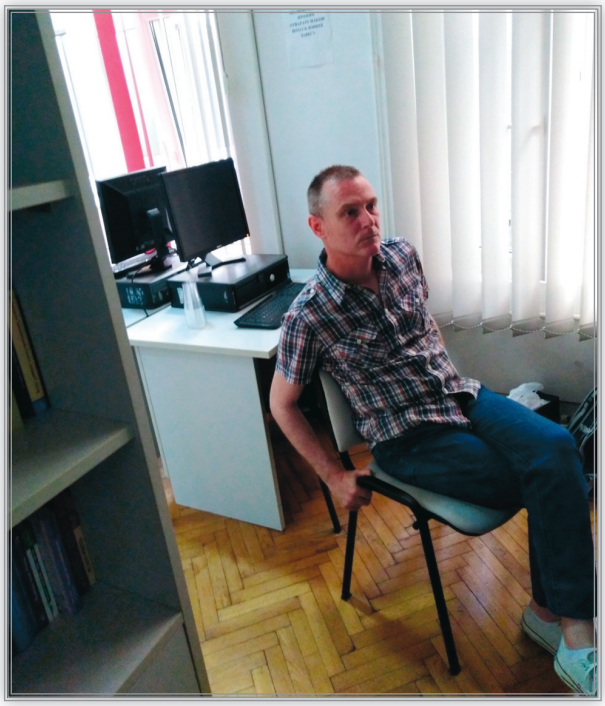
А. А. Тесля

исследовательских оптик, в том числе национальных перспектив и традиций. Формально школы организуются в первую очередь для студентов, но, по крайней мере, на этой сам я также учился.

Если чего мне самому и не хватило за Школу, так это фланирования по Белграду и окрестностям. Но это тоже большой плюс: все время, кроме совсем уж необходимого для отдыха, шло в работу — формальную и неформальную.



М. С. Киселева



Бобан Чурич[1]

И если даже мы, простые участники, вернулись домой усталыми, но довольными, то не знаю, сколько сил и энергии у профессора Ирины Антанасиевич (Irina Antanasijevic), принявшей на себя львиную долю трудов «на месте» по организации и проведению школы и умудрявшейся еще и сохранять чувство юмора.

Словом, очень хочется надеяться, что у этого проекта будет много разнообразных продолжений, над чем уже, собственно, начали работать…

Марина Сергеевна Киселева, специалист по интеллектуальной истории, древнерусской книжной культуре, гомилетике русского барокко, философии и методологии гуманитарного знания, профессор, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии РАН, главный научный сотрудник МЛ исследований русско-европейского интеллектуального диалога НИУ ВШЭ, профессор кафедры истории и философии науки Института философии РАН.

С 25 по 30 августа каждый день студенты слушали лекции российских профессоров в Русском центре Белградского университета, ходили и ездили на экскурсии, которые проводили профессора Ирина Антанасиевич и Бобан Чурич. И вот наконец состоялись защиты студенческих проектов — интересных, увлекательных, и каждый — с хорошей заявкой на дальнейшую исследовательскую работу. К проектам ребята начали готовиться ещё дома, а за прошедшие пять

[1] Участники летней школы с прискорбием узнали, что Б. Чурич скончался 13 сентября 2019 г.

дней Школы расширяли материал и вписывали его в реальное пространство Сербии, в котором волею исторических обстоятельств оказались почти 100 лет тому назад более чем 200 тыс. российских граждан, изгнанных из своей страны.

Открыла последний день школы презентация книг профессоров-эмигрантов: учебники и монографии, словари и брошюры прошлого века из библиотеки факультета, о которых рассказала профессор Ирина Антанасиевич. А потом прошли презентации двух студенческих проектов. В процессе обсуждения студенты получили добрые советы профессоров и предложение главного редактора журнала «Философические письма. Русско-европейский диалог» НИУ ВШЭ проф. В. К. Кантора подготовить материал для журнальной публикации.

* * *

Дорогие друзья и коллеги, на меня как руководителя Летней школы в Сербии, бесспорно, падает обязанность хотя бы вкратце рассказать о нашей деятельности, неудачах и удачах. Сразу скажу, что, по общему ощущению, Школа оказалась безусловной удачей.

Идея Школы возникла у меня в разговоре с Алексеем Павловичем Козыревым. Мы говорили о том, что нынешняя студенческая молодежь теряет свое *самостоянье* (используя слово Пушкина), веру в силу русского ума, забывает и не хочет знать великих русских философов, которых изучают европейцы, не видит актуальности учения таких мыслителей, как С. Л. Франк, Г. Г. Шпет, С. Н. Булгаков, не говоря уж о почти потерянных нами именах людей, изгнанных из России, чей интеллектуальный багаж был использован Западом. Среди них и изобретатели (Игорь Иванович Сикорский), и родоначальники современной социологии (Питирим Александрович Сорокин). Нужно отметить, что и Ф. М. Достоевский, перевернувший и усложнивший европейскую мысль, не изгнанный, но и не принятый советской властью, ныне перестает быть столь интересным молодому поколению, как раньше. Мы словно стесняемся уровня своих гениев.

Рассказы российских профессоров на лекциях в учебных заведениях часто не доходят до ума и сердца студентов, почему-то априори уверенных, что сделанное на Западе якобы лучше. Задача наша была ввести для студентов русскую культуру в иной контекст, в ситуацию «находимости — вненаходимости», дающую бинокулярное зрение. Сербия с ее уникальной культурой и историческим опытом — идеальное место для такого рода открытий. Страна с трагической судьбой, она способна понять и русскую трагедию. После Гражданской войны (1918–1920) ни одна страна не приняла столько изгнанников из России, как маленькая небогатая Сербия.

Вот там мы и решили провести Летнюю школу, назвав ее «Русская эмиграция в Сербии. Портреты и судьбы» и использовав метод погружения студентов

в материал. Осенью 2018 г. в Белграде с докладами выступали М. С. Киселева и ваш покорный слуга. Сразу после состоялся предварительный разговор с белградским профессором Ириной Антанасиевич, которая как раз занимается проблемами и героями русской эмиграции. А фигуры среди них весьма значительные: П. Б. Струве, В. В. Зеньковский, Е. В. Аничков, Е. В. Спекторский, Н. О. Лосский, Д. С. Мережковский, генерал П. Н. Врангель, митрополит Антоний Храповицкий, первый по времени председатель Архиерейского синода Русской православной церкви за границей и т. д.

Как писал краевед и историк русской эмиграции А. Б. Арсеньев, 16–23 сентября 1928 г. при участии видных ученых в столице Королевства СХС состоялся Четвертый съезд русских академических организаций за границей, а 25–30 сентября 1928-го — Съезд русских писателей и журналистов за рубежом. Туда прибыли более сотни делегатов и гостей из других стран. Весной 1930 г. в Белграде прошла большая выставка русского искусства. Она стала ярким событием в культурной жизни столицы: зрители увидели более 400 работ живописцев и скульпторов, в их числе И. Репин, А. Бенуа, И. Билибин, Н. Гончарова, Б. Григорьев, М. Добужинский, К. Коровин, М. Ларионов, Н. Рерих, К. Сомов. Были показаны произведения 38 русских художников, живших на тот момент в Югославии. В Белграде состоялись персональные выставки Ф. Малявина и Н. Богданова-Бельского. Югославию посещали А. Павлова, Т. Карсавина, Ф. Шаляпин, С. Прокофьев, И. Бунин, Б. Зайцев, А. Аверченко, Н. Бердяев, И. Сикорский. На Балканы шли письма от Вяч. Иванова, В. Ходасевича, Н. Евреинова и многих других.

Ирина Антанасиевич поддержала идею. С сербской стороны именно Ирина оказалась решающей фигурой: она преодолевала все препоны. В НИУ ВШЭ организацию Школы (паспорта, страховки и пр.) взяла на себя Е. В. Бессчетнова, предложив принцип отбора студентов по присланным резюме будущих докладов. Но сложности прибывали. Оказалось, что у Белградского университета и «Вышки» нет договора о сотрудничестве. Хорошо, что партнером у нас оказался МГУ, имевший такой договор. Описывать все бюрократические закорючки нет смысла. В итоге с Белградским университетом объединились три российских — НИУ ВШЭ, МГУ и БФУ (Калининград). Самым сложным, однако, оказалось составить программу, учитывая и интересы студентов, и интересы сербской стороны, совместив познавательные экскурсии и учебные лекции. Здесь очевидна победа двух наших профессоров — Ирины Антанасиевич (Белград) и Марины Киселевой (Москва). Заслуга составления программы, которую приняли все, безусловно принадлежит им.

Елена Бессчетнова сумела получить финансирование на билеты для студентов, а Ирина Антанасиевич добилась для них бесплатного общежития и

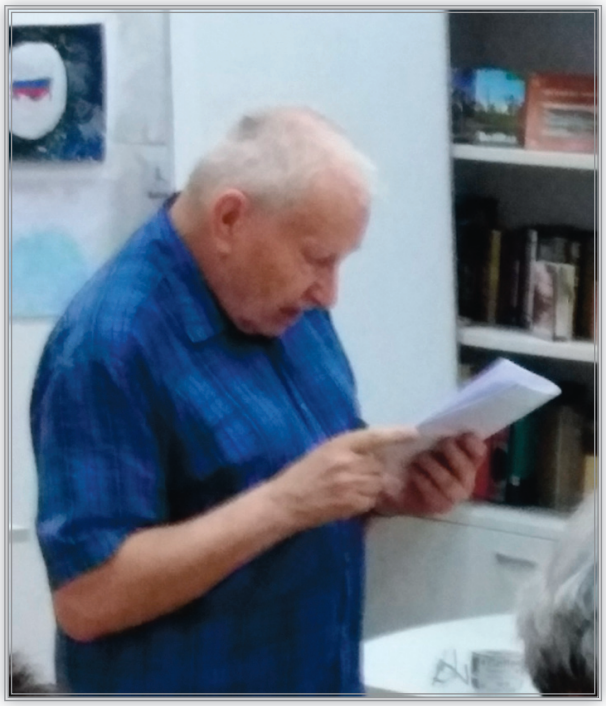


Ф. Грбич, сербский писатель и философ

питания. Учащимся были предложены две темы проектов: «Русская эмиграция — последствие Гражданской войны» (руководитель А. Д. Куманьков, куратор Д. А. Морозов); «Православие — сохранение национальной и культурной идентичности русской эмиграции» (руководители А. П. Козырев, В. К. Кантор, куратор А. Ф. Макарова). На последнем этапе решающую поддержку нашему проекту оказала проректор «Вышки» В. А. Касамара.

Мы прилетели в Белград 25 августа, в воскресенье. А в понедельник после приветственного слова декана факультета филологии Лиляны Маркович и благодарственного ответа руководителя Школы начались доклады. Первый доклад принадлежал А. Д. Куманькову — «Русские волны на Дунае: белая эмиграция в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев». Потом все прослушали видеодоклад Леонида Люкса «Русский государственник П. Б. Струве». И в этот же день еще два доклада: «Сербские сюжеты в публицистике И. С. Аксакова» А. А. Тесли (БФУ) и «Переосмысление в эмиграции прошлого русской мысли: профессор Евгений Аничков» В. К. Кантора (НИУ ВШЭ).

На следующий день — экскурсия по Белграду, где неутомимая профессор Антанасиевич перипатетически прочла нам два доклада. Поведя нас в Королевский дворец на Дединье, она рассказала о русских архитекторах Королевского дворца. Потом был прием во дворце, перед нами выступила наследная принцесса Югославии Катарина Карагеоргиевич. После обеда — экскурсия



А. Б. Арсеньев

по русскому Белграду и Русскому некрополю. Ирина вела беседу на тему «Русский некрополь в Белграде и Русская церковь на Ташмайдане». Видели могилы генерала Алексеева и генерала Врангеля. А вечером была встреча с режиссером фильмов о русской эмиграции Бошко Милославлевичем, который показал отрывок из новой картины — о В. В. Шульгине.

28 августа, в среду, прозвучали три выступления. Калининградский преподаватель Владас Повилайтис прочел доклад на тему «“Совсем чужие друг другу…”: как русская эмиграция осознавала себя». Пожалуй, ключевым в этот день стал насыщенный фактами доклад Алексея Козырева «Спор о Софии: митрополит Антоний, Карловацкий Синод и ревнители православия». Заключительной среди преподавателей стала лекция Марины Киселевой «Петр Струве в Белграде: завершение драмы». Вечером была встреча с Филиппом Грбичем, самым знаменитым сегодня молодым сербским писателем, кстати, выпускником философского факультета.

Четверг, 29 августа — снова экскурсионный день. Начали мы с поездки в монастырь Ново-Хопово в окрестностях города Нови Сад (90 км), вел экскурсию Бобан Чурич. А после обеда состоялась фантастическая встреча с Алексеем Борисовичем Арсеньевым, потомком русских эмигрантов первой волны, исследователем культуры русской эмиграции, самым крупным знатоком судеб изгнанников. Дальше мы поехали на автобусе в Сремски Карловцы, где состоялось выступление Алексея Арсеньева «Русская эмиграция в Сремски Карловцы».



А. Д. Куманьков и А. П. Козырев

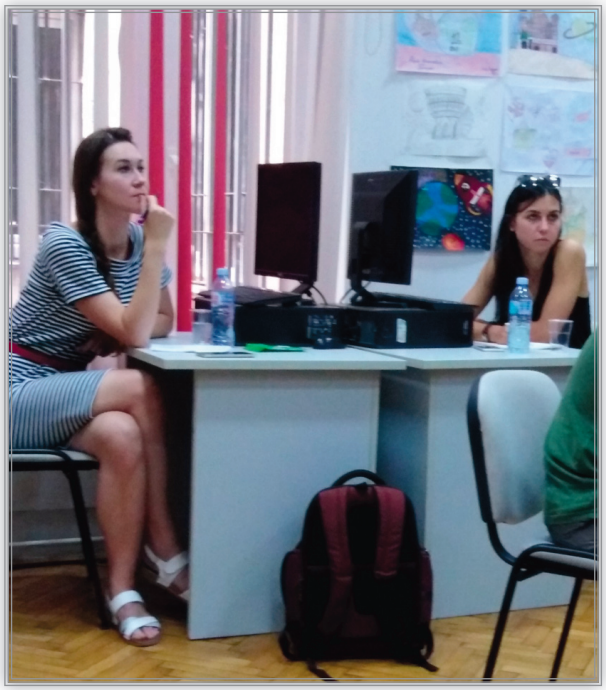
В пятницу, 30 августа, мы посмотрели презентации и обсудили студенческие



Её Королевское Высочество кронпринцесса Сербии и Югославии
Катарина Карагеоргиевич с участниками Летней школы



В. К. Кантор в королевском кабинете

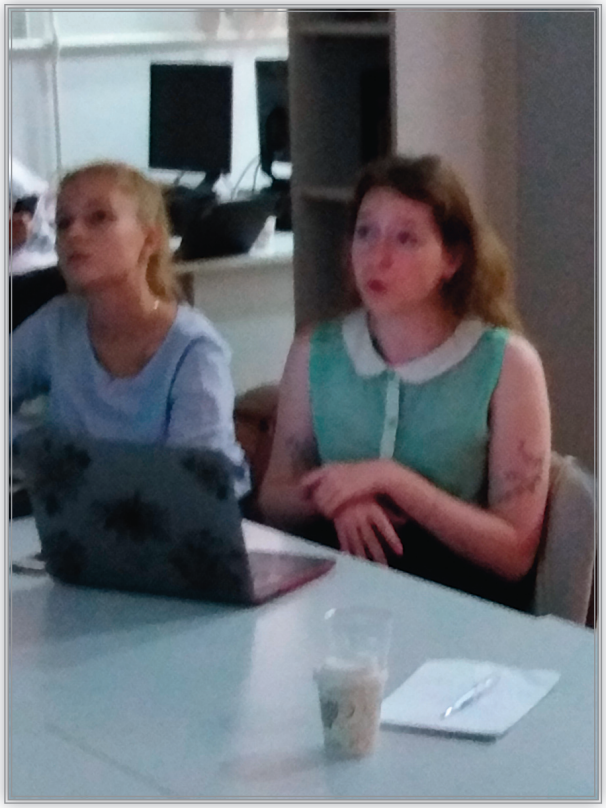


Анна Макарова
и Анна Насырова

проекты. Работы по теме «Русская эмиграция — последствие Гражданской войны» представили студенты Даниил Морозов, Татьяна Алексанова, Даниил Бабошин. Вторая тема, «Православие — сохранение национальной и культурной идентичности русской эмиграции», привлекла студентов Анну Макарову, Анну Насырову, Кирилла Мартемьянова, Полину Блинникову, Екатерину Подобуеву, Марию Мироненко. Обсуждение презентаций оказалось весьма продуктивным. Результатом стало предложение превратить проекты в обзорные статьи для журнала.

В субботу был день свободы — разошлись по интересам.

В заключение могу сказать, поддерживая мнение коллег: Летняя школа в Сербии по интеллектуальной насыщенности оказалась одним из лучших мероприятий подобного рода.



Полина Блинникова
и Екатерина Подобуева

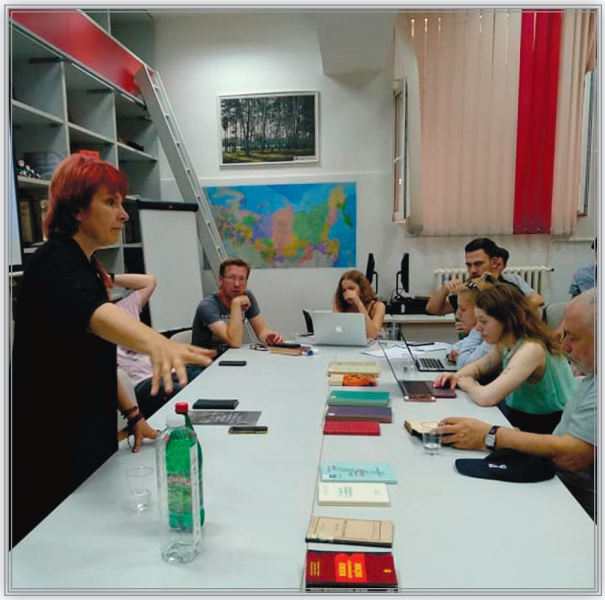


Мария Мироненко





М. С. Киселева читает лекцию



Выступает И. Антанасиевич



Даниил Морозов,
А. Д. Куманьков,
Татьяна Алексанова, В. К. Кантор



А. Б. Арсеньев с Анной Насыровой
и Анной Макаровой



Кирилл Мартемьянов

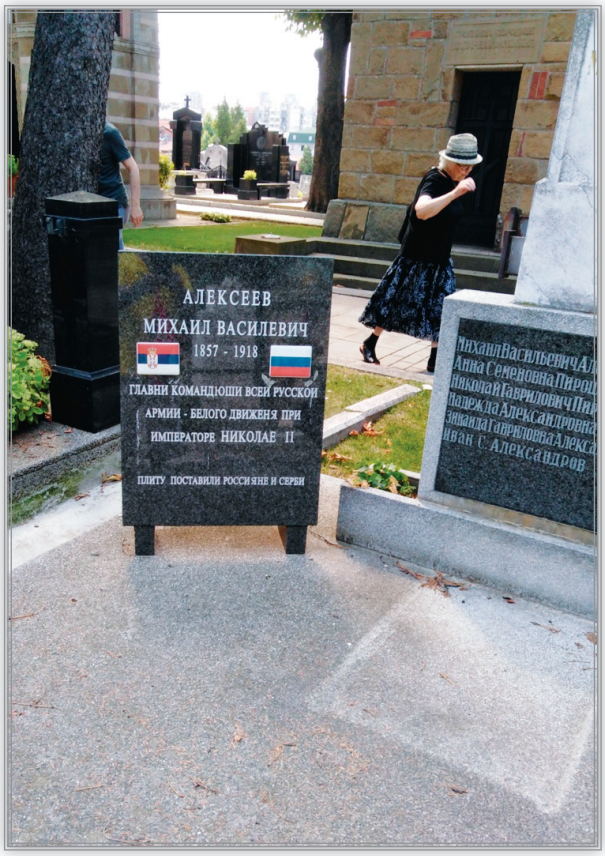


Глобус неба в Королевском дворце



Анна Насырова, Даниил Бабошин, Кирилл Мартемьянов

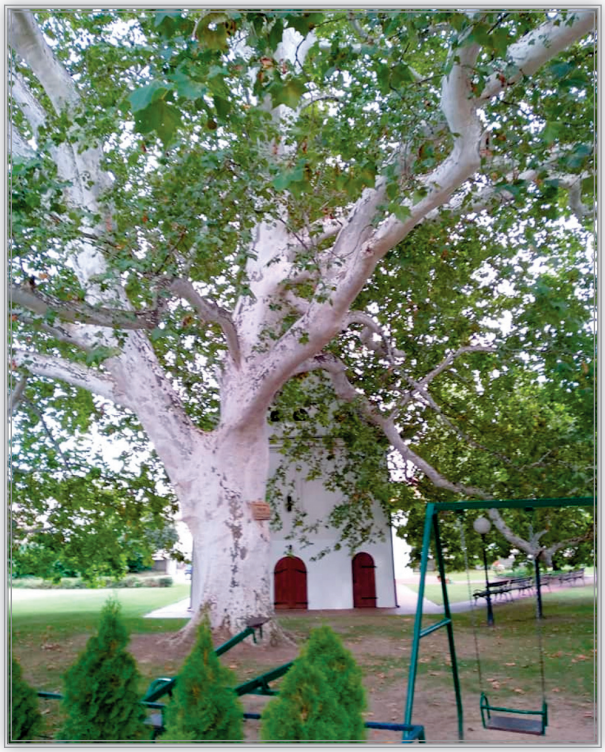




Мемориальная целостность захоронения генерала М. В. Алексеева, увы, уничтожена чьим-то своеволием: энтузиасты присовокупили к ансамблю дополнительное надгробие



Могила генерала П. Н. Врангеля



Платан в Сремски-Карловици

СЕРБСКАЯ ТРАГЕДИЯ

Ирина Антанасиевич
Доктор филологических наук, профессор кафедры славистики
филологического факультета Белградского университета.
Республика Сербия, 11000, г. Белград, Студентски трг, 3.
E-mail: antiira@mail.ru

Маленькая страна Сербия почти с полуторатысячелетней историей оказалась областью большого человеческого горя. Ее территорию издревле стремились завоевать сильные и агрессивные соседи, и память народа в фольклоре, литературе и изобразительном искусстве сохранила следы иноземного присутствия и влияния на культуру. Три с половиной столетия османского владычества принесли сербам много бед, но самым страшным ударом оказалась все же Первая мировая война, унесшая примерно треть населения страны. Ставшая королевством с конца XIX столетия, Сербия оставалась им до начала Второй мировой войны, а в 1945 г. советизировалась и вошла в состав Федеративной Народной Республики Югославии (позже СФРЮ) сначала как Народная Республика Сербия, а затем, с 1963 г., — как Социалистическая. Однако распад СССР принес крушение всему европейскому соцлагерю, и национализм, поднявший голову в бывших советских республиках, не миновал и Югославию. Обретение Сербией самостоятельной государственности, до поры до времени все-таки социалистической, снова стоило большой крови. Бомбардировки НАТО (2000) положили конец социализму в стране. Сейчас Сербия вновь республика.

Но главное не территория или государственный строй, а люди. История выдающихся сербов почти не известна в России: из СМИ россияне знают о незатухающих «балканских конфликтах» или, в более мягком варианте, «противоречиях», и на том, как правило, все заканчивается. Меж тем любое политическое событие отзывается в человеческой судьбе, будь то рядовой гражданин или руководитель высшего ранга. Кто такие Карагеоргиевичи? Что сказать о Николае Генриховиче Гартвиге, русском после в начале Первой мировой, или о Федоре Евдокимовиче Махине?..

Судьбы людей в философском контексте необходимо рассматривать и как поле межнационального диалога, и как его осуществление, и как результат: таков феномен человека. Волею общеславянских судеб связанная с Россией теснейшими узами, Сербия открывает современным русским людям свои исторические тайны.

Ключевые слова: история Сербии XX в., династия Карагеоргиевичей, династия Обреновичей, усташи, Н. Г. Гартвиг, организация «Черная рука».

DOI 10.17323/2658-5413-2020-3-1-26-46

Очерки балканской истории: династия Карагеоргиевичей

«Маршировала, маршировала краля Петра гарда...»

…в мирной социалистической Югославии очень не любили одну песню.

Слова в ней были самыми что ни на есть примитивными и повествовали о марширующих гвардейцах короля Петра и о самом Петре, которого песня по-свойски называла Пера и который на белом коне ехал впереди гвардии.

Дядя Петя. Последний сербский король (1903–1914).

Иде Пера, иде Пера јаше коња бела...

…за что же не любили песню?

Наверное, за немирную тень короля Петра, одно упоминание о котором вызывало беспокойство.

Именно его, блестящего выпускника Сен-Сира, фотографа и художника, восторженного юношу, который упивался идеями либерализма и свобод (даже Джона Стюарта Милля перевел и предисловие написал), любимые им французы позже провозгласили очередным балканским варваром, сербским националистом, оккупировавшим престол.

А он, внук Черного Джорджа[1], заняв престол, считал, что речь не идет о свержении династии. Да и какая династия Обреновичей…[2] Они осмелились после смерти князя Михаила запретить въезд в страну всем носителям славного имени Карагеоргия! И плевать даже на конфискованное имущество, но запретить потомкам Георгия Петровича ходить по пыльным сербским дорогам?!. Петр мечтал о восстановлении права своей семьи на престол.

---

[1] Имеется в виду Георгий Пе́трович Ка́рагеоргий (1762–1817), руководитель Первого сербского восстания против Османской империи, основатель династии Карагеоргиевичей. Прозвание, ставшее династическим именем, получил по цвету волос, позже оно было подтверждено чертами его характера и ненавистью, которую питали к нему враги. *Здесь и далее — прим. ред.*

[2] Обреновичи — княжеская, а затем и королевская династия, извечный соперник Карагеоргиевичей в борьбе за сербский королевский престол. Обреновичи правили страной в 1815–1842 и 1858–1903 гг. При их правлении Сербия получила международное признание в качестве суверенного государства (Берлинский конгресс, 1878). В 1903 г. в ходе Майского восстания последний представитель династии Александр и его жена Драга были убиты сторонниками Карагеоргиевичей.



Петр I Карагеоргиевич
(Петар I Карађорђевић, 1844–1921),
первый сербский король из династии
Карагеоргиевичей (с 1903),
с 1918-го король сербов,
хорватов и словенцев

А прежде чем въехать на белом коне на улицы Белграда, дядя Петя (чика Пера), как назовет его народ, успеет повоевать.

…Эх, знайте, что герои былых времен — Никола Кавая, Легия, да и хорват Анте Готовина — профессии своей обучались в рядах Французского легиона. И мало кто помнит, что пошли они по стопам короля.

Именно он, Петар, достойно сражался в рядах легионеров, даже орден получил за французско-прусскую кампанию. А после легиона — в Боснию, воевать. Впрочем, по современной версии, балканские легионеры всех национальных расцветок пошли тем же путем — каменистым, скучным, военным — в Боснию и Герцеговину.

Туда война нет-нет да и зайдет на огонек. Очень ей там по душе.

Вот и наш Петар оставил легион и под именем Петр Мркович (так звался знаменитый когда-то гайдук) начал воевать, создавая мифы и раздувая легенды. Многие верили, что знаменитый гайдук Мркович восстал из мертвых, воюя за свободу. Но для успешного восстания легенд мало, нужно еще и оружие.

Восстание подавили. В Сербию хода не было. В Париже на жизнь средств не хватало. И переезжал Петар то в скромную провинциальную Женеву, то в совсем бедное черногорское Цетине на тещины да тестевы хлеба (в жены он взял дочь черногорского короля Николы).

А потом грянула гроза. Майская.

Майское восстание поставило точку на династии Обреновичей.

И воссияла звезда Карагеоргиевичей.

Ох, сколько дел сделал дядя Петя! Сколько дел в бедной, разоренной, политически нестабильной стране. Победил в Первой и Второй балканских войнах, присоединил Рашку, Косово и Метохию, Македонию…

…и сгорел.

Годы были уже не те. Да и наследники не радовали. Любица-Зорка, королева, сначала двух девочек родила — Елену (потом выйдет замуж за Ивана Константиновича Романова) и Милену, умершую в младенчестве.

Затем родились долгожданные сыновья Джордже, Александр и Андрия (умер в младенчестве). Первый, старший, Георгий-Джордже, названный в честь прадеда, Черного Джорджа, не только имя наследовал, но и темперамент.

Темперамент и был причиной его отречения, потому что во время ссоры умудрился неспокойный принц подраться со слугой Колаковичем. Да так, что через несколько дней слуга скончался. Джордже смерть эту до конца жизни своей так и не переболел, все снился ему Колакович, и все пытался он сбежать от страшного сна, сбежать в самые страшные, самые кровавые балканские битвы. И две балканских войны, и Первую мировую прошел, и ранен тяжело был, а прожил долго.

Умер в 1972-м.

В Белграде, кстати.

В том городе, где ему его же брат, Александр, в чью пользу он отрекся от престола, запретил появляться.

А потом уже маршал Тито закрыл Белый город для всех Карагеоргиевичей. Кроме мирного пенсионера Джордже... Чудны дела твои, Боже…

Второй, как мы уже сказали, Александр. Эх…

…дядя Петя, знал ли ты, что навяжет твой Александр таких гордиевых узлов (колонизация, проблемы Косова, Баната, Бачки, Македонии, создание СХС, изменение конституции, создание Югославии — именно его политика привела к появлению усташей[1] и ВМРО, которые и съели его в конце концов), что будут их распутывать да не распутают, а начнут просто рубить по живому да кровавому. И идеи были неплохими, собственными его, дяди-Петиными, идеями, но… то ли не судьба, а может, не так звезда встала, и весь сказ.

…а о дяде Пете в Сербии немного осталось.

Только песня.

Раньше был еще и город, Петровград, но его переименовали в Зренянин, решив, что лучше иметь город имени секретаря ЦК Жарка Зренянина, чем неспокойного монарха.

Правда, есть еще Мрконич-Град. Но он в Боснии. В Республике Сербской. И нынешняя молодежь вряд ли знает о Петре Мркониче, скорее имя Мрконич напомнит им министра в правительстве Милошевича и ныне не последнего в Сербии человека.

---

[1] Усташи́ (хорв. Ustaše) — члены хорватской фашистской организации (с 1929-го), стоявшей у власти в стране в 1941–1945 гг. Внутренняя политика усташей характеризовалась антисемитизмом и сербофобией. По их инициативе, согласно официальным данным, было уничтожено до 800 000 сербов, 30 000 евреев, 80 000 цыган.



Павел Карагео́ргиевич
(Павле Карађорђевић, 1893–1976),
князь, регент Югославии (1934–1941).
1930-е гг.

Уехал на белом коне последний правитель Сербии.

И больше не было Сербии.

И у Сербии не было королей.

И не будет.

А песенку потом усташи на свой лад переиначили.

Сербский бедный Павел

…сербское происхождение, русское гражданство, петербургское детство, женевская школа.

Это он — Павел Карагеоргиевич.

Бедный Павел сербской истории, реабилитированный лишь в 2011 г.

…отец его, Арсен, вполне оправдывал фамилию Карагеоргиевич: был красив и храбр на всю голову. Девять войн, четырнадцать дуэлей, золотая сабля за бой под Мукденом, генеральский чин, участие в заговоре «Черной руки»[1]… На сына у него просто не было времени.

…мама — Аврора Демидова, да-да, из тех самых Демидовых. Отец ее — эстетствующий чудак, князь Сан-Донато (так называлась вилла в окрестностях Флоренции, шкатулка, доверху наполненная произведениями искусства, которые Павел Демидов скупал как морковку, пучками).

…Брак был странным и страстным и длился крайне долго для подобного рода союзов, целых два года: достаточно для того, чтобы родить Павла, пометать молнии друг в друга и с облегчением разойтись.

Ветреная мама во втором браке — Аврора ди Ногера.

А случайнорожденного мальчика отправили к деду Петру в Женеву.

Скучно ему там не было.

Там вообще было много народу: на престоле в Сербии сидели Обреновичи. И казалось, что плотно.

А Карагеоргиевичи обретались в Швейцарии и ждали попутного ветра.

Он и дунул. Убили несчастных Александра и Драгу, и дед Петр стал Его Королевским Величеством Королем Сербии.

[1] Членами «Черной руки» и были убиты король Александр Обренович и королева Драга. Участники заговора при короле Петре Карагеоргиевиче заняли видные государственные посты. Члены этой организации также планировали убийство наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда.

Здесь неожиданно выяснилось, что бегавший по женевскому дому мальчик Павлик вообще-то русский. Стали охать-ахать, срочно хлопотать, выправляя ему документы, и едва-едва добились желаемого. Может быть, из-за кувшинорылого бюрократизма русский по крови и месту рождения Павел к России впоследствии относился более чем прохладно? Бог весть.

Зато он отчаянно влюбился в Англию. Оксфордский студент, зализанные виски, высокомерный взгляд и… джаз. И свобода, и живопись.

Любовь к живописи — это от него, от сумасшедшего Плюшкина, коллекционировавшего живопись, — деда Демидова.

И внук, не знавший деда, так же как и он, начал скупать и тащить в Белград картины и скульптуры. Именно он основал Музей современного искусства, Исторический музей, Музей этнографии.

И мечтал-то он (мальчик королевских кровей!) стать директором музея. Впрочем, мальчиком к тому времени уже не был.

Он, покрытый холодным английским лоском, влюбился вполне по-карагеоргиевски в княгиню Ольгу, греческую принцессу.

И брак был весьма счастливым: тонкие, высокие, холодные, высокомерные — они подходили друг другу настолько, что даже сейчас иногда неприлично смотреть на фотографии, на которых его взгляд, всегда надменный, вдруг меняется, останавливаясь на фигуре жены или лицах детей. Как будто вторгаешься на территорию чужой нежности.

Мечту свою стать директором музея он осуществил, выпросив у брата королевского соизволения стать… управляющим всех музеев Югославии (ну точно, демидовская сумасшедшая кровь).

На одной из фотографий Павел с маленькой Елизаветой на руках. Кстати, в нынешней Сербии все знают, что музеи в основном выживают за счет поддержки принцессы Елизаветы. Демидовская акварельная капля крови.

Но не удалась тихая музейная жизнь.

Убили в Марселе короля Александра Карагеоргиевича, и на плечи Павла легло регентство.

Легла ответственность, обязанность понимать, что происходит в балканском котле, необходимость мирить и ссорить, убеждать и наказывать. Принимать решения.

И там, где Александр мог решить вопрос, то играя в демократию, то отбирая ее как глупую игрушку, оксфордский студент растерялся. После смерти кота мыши в правительстве стали водить свои хороводы: начали менять то конституцию, то границы внутри страны (так называемая Хорватская Бановина). А то толкали на подписание союза с Гитлером или требовали союза с Британией.

…и он, англофил, понимая, что войну страна не выдержит, чувствуя, что рядом не только война с немцами, но и гражданская в собственной стране, решил подписать пакт.

Поддержать Тройственный союз.

Говорят, что решающим был разговор с английским послом, который спросил Павла, что будет делать Югославия, если Гитлер нападет на Румынию? Павел ответил вопросом на вопрос: «А что в это время будет делать Англия?»

Посол молча пожал плечами.

Павел понял, что он так же пожмет плечами, услышав весть о нападении на Югославию.

Решение было вынесено.

…Но музейные работники историю хранят, а не делают. Когда человек, наслаждающийся тишиной музеев, вынужден принимать ТАКИЕ решения, они всегда оказываются ошибочными.

Не могла ТА страна, в ТОМ состоянии, с ТАКИМИ проблемами, с ТАКИМ окружением и при ТЕХ обстоятельствах заключать ТАКОЙ договор.

Просто не могла.

Позже решение свое Павел объяснял тем, что дал слово брату Александру — сохранить Югославию, а выдержать немецкое нападение с наличной югославской армией было невозможно.

Поэтому он и решился на этот шаг.

Пакт был подписан с клаузулой: ни немецкие, ни итальянские войска не имеют права использовать югославскую территорию для военных действий.

Бедный, бедный Павел. Хорошо разбирающийся в искусстве и ничего не понимающий в реальной жизни. Поверить в то, что можно во время страшной войны сохранить мир, мог только идеалист.

25 марта договор с Гитлером подписан.

И просуществовал ровно два дня.

А что потом?

Путч, оккупация страны, которую немцы заняли за одиннадцать дней.

Для Павла — Греция, Каир, проживание в английской миссии в Найроби, больше похожее на тюремное заключение, Йоханнесбург.

Опять отсутствие гражданства, неприкаянность, прошения, просьбы, документы, наконец-то английский паспорт со швейцарской визой.

Наконец-то Женева детства.

Затем любимый Лондон, ставший ненавистным, потому что там в дорожно-транспортном происшествии погиб сын.

Париж и смерть в американской больнице.

Сирота при живых родителях. Чужой мальчик в родной семье. Русский без России. Английский серб. Коллекционер, вынужденный управлять государством.



Сара Анастасиевич
в национальном костюме

Человек, который дал брату слово сохранить Югославию и держал его как мог.

В титовской Югославии осужден военным судом как изменник Родины под номером 3028 (следующий за ним под номером 3029 Карачметович Юсуф, доброволец в албанской дивизии «Скандербег» из Берана, номер перед ним — Каракаш Йова, хорват, усташ из Брине).

Упрямая принцесса Елизавета добилась полной реабилитации любившего ее отца.

Теперь можно говорить в школах:

…была когда-то такая страна Югославия.

После того как убили короля, ею руководил регент, бедный, бедный Павел, который хотел, чтобы все было хорошо в то время, когда это было невозможно.

Капитанская дочь

…В 2012 г. в Сербии, в семейном мавзолее на Опленце со всеми полагающимися почестями были перезахоронены останки членов королевской семьи Карагеоргиевичей: король Петр I, королева Мария, король Петр II; перенесли сюда и прах князя Павла. Карагеоргиевичи собирают дорогих покойников, говоря, что все члены фамилии должны упокоиться в семейном мавзолее.

Руку на сердце — особого ажиотажа в стране по поводу возвращения праха исторически ценных покойников не было.

Перезахоронение народ воспринял равнодушно: нерадивые потомки, балканские обитатели, привыкшие историю втискивать в прокрустово ложе идеологии, о самой династии знают довольно мало, настолько, что и трех анекдотов не слепят.

А тех, о ком сами представители династии Карагеоргиевичей скромно умалчивают, не знают вообще. Жаль. Здесь тремя анекдотами не отделаешься.

Рассказ будет длинным.

Неправильные Карагеоргиевичи и Капитанская дочь

Здание ректората Белградского университета туристы охотно фотографируют: здание красивое и место напротив Студенческого парка симпатичное. А гиды рассказывают историю: богатый судовладелец дунайской флотилии, со-

ляной магнат и меценат Миша Анастасиевич настолько уважал просвещение, что построил здание первого сербского университета и подарил своему Отечеству.

И наказал на подарке своем выбить надпись:

Миша Анастасијевићъ своемъ Отечеству

Ой, не верьте гидам.

Не верьте.

Здание построено было не для Отечества, а для дочери. Любимой, младшей.

Для Сары.

Именно с ней связывал свои планы будущий сербский Ротшильд, а при рождении просто Миша, сын Анастаса, мелкого торговца из дунайского Пореча (ныне городка Дони-Милановац).

Вырастила Мишу нежно любящая его мачеха: мать погибла в родах, а отец — когда мальчику было три года.

А воспитала Мишу жестко отнесшаяся к нему жизнь: проведя детство в нищете, он делал все, чтобы из нее выбраться.

И выбрался. И стал самым богатым человеком Балкан, получив монополию на торговлю солью из Валахии и Молдавии, стал дунайским *капитаном*. Впрочем, нет, не просто капитаном, а Капитаном, контролирующим всю балканскую часть Дуная.

Первым балканским мультимиллионером, олигархом.

Как всякий олигарх из низов, он любил гусарские жесты: например, мог купить в Париже всю коллекцию модных платьев и подарить их женщинам в родном городке (представляю, как изумлялись сербские суровые дамы, получив такие подарки, а уж как выглядели лица их мужей, даже представлять боюсь).

Как всякий олигарх из низов, стремился к власти. Не к той, которую дают деньги, а к той, которая не зависит от денег.

И вот здесь начинается история о дочери его Саре.

У Капитана Миши сыновей не было. Не дал Бог.

Но зато были любящие дочки — четыре.

А вот любимая была одна, пятая, младшая, Сара.

Сара Анастасиевич делала в жизни все что хотела: сопровождала отца на охоту, куда женщины не допускались, прекрасно разбиралась в математике, кружила головы ухажерам — что красотой своей, что приданым с астрономическим числом нулей, но замуж вышла за того, за кого приказал отец.

За Джордже Карагеоргиевича.

...небольшое отступление. Нынешняя династия не очень любит истории о «неправильных» Карагеоргиевичах. Может, потому, что эти «неправильные» династически правильные?!

Дело в том, что линия «неправильных» Карагеоргиевичей ведет происхождение от первого сына и наследника Карагеоргия Алексея. Что, скажете вы, нет в истории Сербии короля Алексея Карагеоргиевича?

Правильно, нет. Потому что первый сын Карагеоргия, которого и провозгласил Черный Джордже своим наследником, последовав с отцом в эмиграцию в бессарабский Хотин, возвращаться в Сербию отказался наотрез. Остался там и гусарствовал Алексей Черный, так звучала в России его фамилия. Женился на дочери хотинского помещика (причем не по любви: слишком карта ему плохая шла; карточные долги не отдавать — вразрез с дворянской честью, а за Марию больно хорошее приданое давали).

Женился гусар, и вдруг как-то остепенился, и совершенно неожиданно полюбил свою жену.

Причем так сильно, что после ее смерти загрустил, зачах и очень быстро скончался.

Впрочем, наследник остался: Мария Трохина (Трошина, Трокина... — варианты различны) родила ему сына. Георгия Черного. Джордже.

Этот маленький второй КараГеоргий на деда своего разбойничьего и на отца-гусара совсем был не похож: маленький пугливый бессарабский мальчик, которого послали в Петербург в Пажеский корпус, где он бродил одинокий, потому что любил больше рисовать, чем стрелять.

Этот самый Джордже в Сербии после смерти отца был раза два ребенком и каждый день плакал, считая дни до возвращения в Петербург: страдал на Балканах от жары и запаха чеснока.

Вот этого жениха и выбрал в мужья своей любимице Капитан Миша.

И плевать, что любящая охоту дочь и страдающий мигренями от запаха пороха Джордже друг другу не подходили совершенно. Это все ерунда.

Важно, что он Карагеоргиевич. Внук. Сын первого сына. Прямой претендент на престол.

И Капитан закинул сети. И начал ловить рыбку власти в мутной воде. И был уверен, что поймает.

Настолько уверен, что для будущей королевской четы построил дворец: да-да, именно это здание, в будущем — университета.

Стоит оно сейчас как напоминание о том, что лезть в политику, даже с сумасшедшими деньгами, не стоит.

Удачливый торговец проиграл.

Политические интриги оказались похлеще торговых спекуляций.

Ему удалось добиться свержения князя Александра, второго сына Карагеоргия, который был в то время на престоле, но место, на которое он метил, заняли Обреновичи.

Мерзкая тетка-история показала Капитану язык...

Он смирился. Закрыл соляной бизнес. Продал все имущество, а дворец (так не доставайся же ты никому!) оставил Отечеству и велел основать Фонд: делил деньги налево и направо, помогал, благотворительствовал, опекал, учреждал и награждал. Умер в Румынии, завещав не переносить свой прах в Сербию.

Но не сдалась Сара.

Настоящая дочь Капитана, она прожила долгую жизнь.

Настолько долгую, что успела и потанцевать на балах Наполеона III, и пококетничать с князем Михаилом. Она принимала в Вене Негоша и дружила с Альфонсом Доде (считается, что некоторые фрагменты из романа «Короли в изгнании» взяты из жизни Сары).

Она, дожившая до 1930-х гг., в свое время настолько ссорилась с Вуком Караджичем, что в пику ему до конца жизни говорила и писала на русско-сербском или, как его называли, славяно-сербском, совсем архаичном в то время.

Жила Сара так долго потому, что была одержима одной страстью: вернуть на престол «настоящих» Карагеоргиевичей. И возможности были: настоящими наследниками Карагеоргия, его внуками по линии старшинства были ее сыновья, Алекса и Божидар.

Мальчики, выросшие в постоянном напоминании о том, что у них отняли престол и они должны его вернуть. Мальчики, воспитанные в свете материнской мечты о престоле.

Этим мальчикам престол претил. Он был им ненавистен и мерзок.

Думается, больше всего они боялись, что когда-нибудь фанатичная мать добьется своего.

Уже совсем взрослый Алекса, когда вдруг появился шанс и возникла возможность претендовать на престол, настолько перепугался, что у него началась истерика. Истерику дочь Капитана вылечила быстро: закатила прилюдно такую пощечину, что монокль отлетел и разбил оконное стекло. Алекса согласился бороться за престол и... сбежал в Америку. Там сделал попытку жениться, но родители невесты, прагматичные чикагские толстосумы, не дали согласия на брак с сомнительным балканским принцем.

Пришлось возвращаться в Европу. Мать интриговала вовсю: договаривалась то с династией Обреновичей, чтобы соправителем князя Александра Обреновича признали его, Алексу, то с заговорщиками «Черной руки» о свержении династии Обреновичей. И ее боялись. Настолько, что король Милан, когда она поехала в Сербию посетить родственницу, выделил два отряда жандармов для сопровождения (конвоя) неспокойной Капитанской дочки, на всякий случай. Мало ли…

Когда же убили несчастных Александра и Драгу Обреновичей, Алекса опять с ужасом ожидал борьбы за престол. Ужас был так велик, что он пригрозил матери самоубийством.

Она вздохнула и отступила, а престол получил принц Петр, коронованный Петром Первым Сербским. И сразу же изменил Устав Королевского дома, полностью отобрав у «неправильных» Карагеоргиевичей право на престол.

Сара сходила с ума, а Алекса, уставший от парижских истерик матери, уехал на балканскую войну. Под начало ненавистного Саре, неправедно воцарившегося на престоле Петра. И воевал в сербской армии в странном звании — частный солдат (приватни војник).

В том же звании он воевал и в Первой мировой и только к концу войны, пройдя албанскую Голгофу с армией, удостоился звания подполковника и ордена Карагеоргия третьей степени.

Награда была настолько ничтожна, что рассмешила весь Белград. Карагеоргиевич третей степени — так прозвали Алексу. Белградский хохот не давал спать Саре в Париже. Но что она могла поделать?..

Она махнула на Алексу рукой и разрешила ему все, даже женится на ненавистной ей американке (опять американке!) и спортсменке (фи, принцесса-гольфистка!) Дарье Прат. Америку и спорт Сара возненавидела до конца жизни.

Впрочем, как и живопись. Почему живопись? — спросите вы. Спрашивайте скорее.

Потому что был еще один наследник престола, еще один внук Карагеоргия, еще один Сарин сын. Божидар.

Красив, умен, талантлив, музыкант, художник, ювелир.

Декадент.

Делал прекрасные букеты.

Разбирался в гобеленах, антиквариате, театре.

Учился музыке в Вене и был уличным музыкантом в Неаполе.

Прекрасно рисовал и по заказу светских дам делал чудесные штучные золотые украшения.

А дамам полусвета дарил браслеты и бусы, сплетенные из кожаных ленточек прямо за столом в какой-то парижской кофейне. И эти безделушки из кожи, пары ленточек и бусинок были ничем не хуже золотых.

Ох, Сара, и это наследник?! Этот, которого все веселые дамы Парижа знали под именем Джурджевак — Ландыш?!

И ладно, если бы только веселые дамы.

Но он, сербский принц, будучи еще несовершеннолетним, сбежал из дома и начал жить с сентиментальным другом (как писала тогдашняя пресса) писателем Пьером Лоти.



В вестибюле здания Белградской католической епархии на полу выложена вот такая звезда…

Ах, какой удар судьбы! И зачем он не родился девочкой! — воскликнула несчастная мать.

И дала сыну свободу. Божидар ею наслаждался: дружил с Анатолем Франсом, который вывел Божидара под именем Поля Ванса в романе «Красная лилия». Был очень близок с Марией Башкирцевой: именно она написала известный его портрет, который висит сегодня в белградском Национальном музее.

Божидар был журналистом «Фигаро», даже написал о путешествии в Косово (вечно неспокойная территория). Авантюра: проехал как журналист, под чужим именем, в Черногорию и потом из Будвы, через Скадр и Албанию, верхом на коне проник в Косово, добрался до Призрена. Оставил заметки и зарисовки. Сохранились и его путевые заметки по Боснии, Черногории, даже Индии. Как журналист «Фигаро» он побывал и на короновании короля Петра (и его, прямого потомка Карагеоргия, на коронование не пустили — у него не было приглашения!)

Умер он, не оставив потомков. Смерть его воспринята была в Белграде с облегчением (одним претендентом меньше), но на всякий случай белградские газеты побоялись опубликовать даже самый маленький некролог.

В 1908 г. умер Божидар, в 1920 г. Алекса.

А Сара все жила. Рухнули ее мечты.

Все надеялась, что хотя бы после смерти ее останки перенесут в гробницу Карагеоргиевичей. И завещание оставила о перезахоронении. Чтобы хоть после смерти быть похороненной с королевскими почестями. Но, увы, выяснилось, что жуликоватый секретарь что-то напортачил с местом на кладбище Пер-Лашез, и останки Сары были перемещены и перезахоронены совсем уж неизвестно где.

Так и закончилась история о Капитанской дочке, которая очень хотела быть королевой.

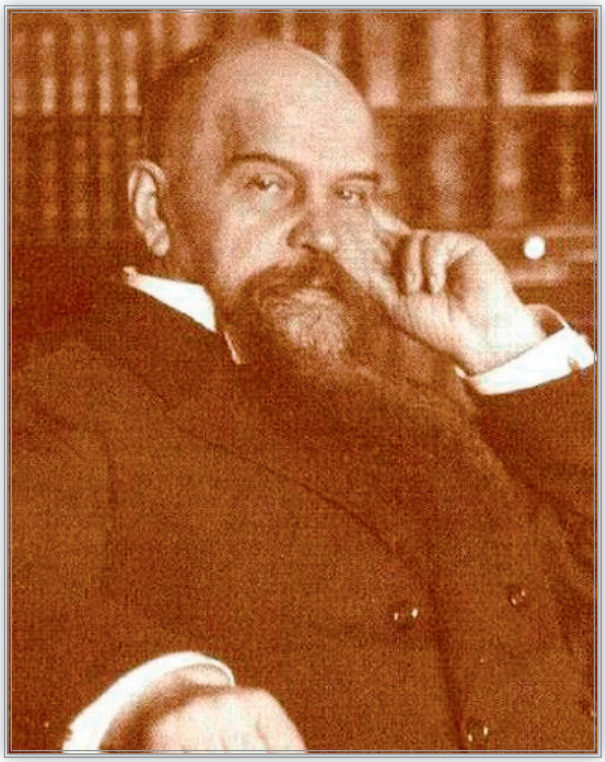
Но — осталась лишь дочерью Капитана…

Гартвиг

Да, вестибюль этого дома и начало Первой мировой тесно связаны. Именно там, в бывшем здании посольства Австро-Венгрии (ныне здесь находится Белградская католическая епархия), на месте, которое обозначено этой вот звездой, умер русский посол Николай Генрихович Гартвиг.

Умер непосредственно в тот момент, когда австрийский посол, оставшись в пустом здании, составлял телеграмму, которую потом отправил из Земуна императору…

Почему русский посол оказался в опустевшем австрийском посольстве? И отчего умер?



Николай Генрихович Гартвиг

Смерть в посольстве

О Николае Гартвиге говорят ныне мало, и даже чрезмерно щедрая по части информации «Википедия» скупо цедит скудноинформативные фразы. Даже фотографии его нормальной я найти не смогла.

Более щедрой оказывается английская «Википедия».

И очень решительной.

Она прямо указывает на Гартвига как на человека, который развязал Первую мировую войну, а в самом начале, только-только сообщив о месте его рождения — городе Гори, сразу же услужливо подсказывает читателю: мол, тот же город, где родился Сталин. Ну, становится сразу ясно, что от Гартвига ничего хорошего ожидать не следует, и конечно, это он и только он самолично развязал войну и всех втравил в то, что стало потом называться мировой бойней.

А сербы и их Гаврила непринципиальны, они-де были просто инструментами в руках гофмейстера — да-да, был у Гартвига такой титул. Да и вообще сведений о Гартвиге так мало, что создается впечатление, будто он родился в Гори назло западному миру только для того, чтобы подгадить ему в Иране, подавив попытку революции с целью свержения Мохаммада Али-шаха. Спрятал его, ничтоже сумняшеся, в российском посольстве, а британскую дипломатическую миссию окружил, не дав англичанам таким образом заняться дипломатией. Ну и, конечно, цель — вовлечь весь мир в Великую войну, а самому умереть назло австрийцам в австрийском же посольстве.

А ведь он был совсем непростой человек, Николай Генрихович.

Совсем непростой.

И умер — многозначительно.

Начнем с того, что, немец по национальности, он был оголтелым панславистом.

Такое случается иногда с немцами.

Вот это пушкинское, рыцарское: «Lumen coelum, sancta Rosa! // Восклицал всех громче он…» — в нем было очень сильно развито. Как и далее по Пушкину: «И гнала его угроза // Мусульман со всех сторон».

Воззрений он был радикальных и даже писал статьи для газеты «Новое время», крайне неоднозначного суворинского детища, — на которое тогда смотрели косо, обвиняя в национализме. Позже (как интересно иногда ложатся карты!) сын Суворина в Белграде будет издавать газету с таким же названием. Ну, это я так, к слову…

Продолжим.

Ставить Гартвига во главе заговора, обвиняя его чуть ли не в том, что он лично поддерживал связи с организацией «Черная рука»[1] и даже выплатил деньги этим гаврикам (как ему вменяют), я бы не стала.

Ну, во-первых, потому, что российский посол никогда не будет лично пробираться в какой-то невнятный белградский шалман, чтобы расплатиться с молодыми фанатиками.

Во-вторых, если посмотреть публикации Гартвига, то станет ясно, что он начиная с 1909 г. делал все, чтобы выправить перекос, вызванный неудачным делением Балкан на Берлинском конгрессе, когда страны так называемого «Европейского концерта», боявшиеся усиления России после победы над Османской империей в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг., перекроили карту Балкан как будто специально так, чтобы наилучшим образом поссорить южных славян. Правда, направление он выбрал довольно своеобразное, пытаясь объединить Балканы, одновременно вставляя палки в колеса Австрии. Но тем не менее война ему — не нужна. Ему, Гартвигу, и его идеям — не нужна.

И в-третьих, война — процесс длительный, и делают ее не гаврики, даже если они Гаврилы с пистолетом, и не послы, даже если они Гартвиги с идеями, а те, кто имеет скорее не лица и имена, а мошну и счета в банках.

Но мы историю не пишем, так что вернемся к детективной составляющей.

Итак, официальная версия такова: вечером 10 июля 1914 г. Николай Гартвиг, узнав, что австрийский посол эвакуировал сотрудников, и поняв, что это начало войны, пробежал от своего посольства (тогда расположенного на улице краля Милана) до австрийского и замертво упал в вестибюле. Инфаркт.

Версия народная, появившаяся после смерти Гартвига: отравил его австрийский посол.

Причем упоминается, что почему-то — австрийскими сигарами.

---

[1] «Черная рука» (серб. «Црна рука», др. название «Единство или смерть», серб. Уједињење или смрт) — тайная организация южных славян (1911–1927), имевшая целью создать единое национальное государство. Эта идея получила продолжение несколькими десятилетиями позже, при образовании Югославии. Как многие националистические образования, «Черная рука» не чуждалась терроризма.



† НИКОЛА ХАРТВИГ

Синоћ у 10 часова у аустро-угарском посланству умро је на пречац Никола Хартвиг, царско-руски посланик у Београду.

Аустро - угарски посланик г. Гизл допутовао је јуче из Беча у Београд, прекидајући своје летње осуство, да нашој влади преда Јамозну ноту аустро-угарске владе, која се односи на сарајевски атентат. Ту ноту, судећи према телеграмима, који су јутрос стигли из Беча, он има да преда у току данашњег дана.

Вероватно у вези с том нотом хтео је г. Гизл да разговара са пок. Хартвигом и зато га је синоћ позвао к себи. Хартвиг је одиста у 9 часова отишао у аустро-угарско посланство, где га је дочекао г. Гизл. Хартвиг је отишао сам. У аустро-угарском посланству такође сем г. Гизла није било никога, јер је доба особље аустро-угарског посланства синоћ у 7 часова било отишло у Земун. Тако су њих двојица, Хартвиг и г. Гизл, седели у г. Гизловом кабинету за рад и разговарали.

Тада је, по причању г. Гизла, покојном Хартвигу наједаред позлило. Г. Гизл је одмах позвао лекаре, међу осталима и др-а Рибникара, који је, као најближи први и стигао.

Кад је он стигао Хартвиг је већ лежао мртав на једном дивану у г. Гизловом кабинету за рад. Све што лекари у оваквим случајевима предузимају, није ништа више могло да помогне: Никола Хартвиг био је мртав. О свима тим појединостима др. Рибникар овако прича :

Последњи трепутци.

„Седео сам, по вечери, још у трпезарији, кад ме, око 9 и по сати девојка викну на телефон.

Некролог Н. Г. Гартвигу в периодической печати

Гартвига, которого обожали сербы, оплакивал весь Белград.

Газеты детально описывали его жизнь, восхваляли его и давали репортажи с прощания и похорон.

Рассказывали легенды, писали петиции императору, чтобы разрешил похоронить покойника в Белграде. И вообще казалось, весь Белград думал не о войне, а о похоронах Гартвига.

И хоронили его так, как никого и никогда в Белграде.

Проститься с ним пришло столько народу, что пришлось объявлять специальный полицейский указ.

А во время похорон — перекрыть кладбище.

Тогда же, еще до похорон, возникла инициатива: переименовать улицу Белградскую в улицу Гартвига.

И ее переименовали, правда, в 1930 г., но все же.



Часовня над могилой Н. Г. Гартвига на Новом кладбище в Белграде, воздвигнутая на деньги правительства страны и добровольные пожертвования русским архитектором Г. П. Ковалевским

И памятник на кладбище соорудили.

Причем финансировал возведение мемориала лично король Александр Карагеоргиевич. А вот скульптором был русский эмигрант Григорий Ковалевский. Вот он — стоит и поныне на Новом кладбище.

Но все же, что случилось в посольстве в этот день? Почему Гартвиг вообще туда пошел? На самом деле не затем же, чтобы там умереть назло австрийцам?

Прежде всего давайте познакомимся. Это австрийский посол Wladimir (Rudolf Karl) Freiherr Giesl von Gieslingen — Гизел, иногда Гизель, иногда Гизл, иногда Гисл, иногда Гизлеинген — его фамилию в разных источниках пишут как бог на душу положит.

Австрийский посол утверждал, что сам пригласил Гартвига в посольство. Чтобы поговорить перед отъездом.

Не об ультиматуме, а так, дружески, понимаете ли.

Ни о чем страшном и тревожном речь не шла: просто сидели, разговаривали, причем Гартвиг все время курил (вот они, сигары!) и жаловался, что у него бо-

лит сердце и отекают ноги, что он устал и ему нужно поехать на курорт (причем уточняется, что через Вену и Франкфурт) в Наугейм.

«Врет», — сказали все в Белграде.

Врет, хочется сказать и нам, потому что, конечно, австрийскому послу соврать — раз плюнуть.

Только вот одна деталь смущает: Гизел в свое время находился в составе дипломатической миссии в Цетине, и тогда там же Гартвиг исполнял должность атташе. Те, кто бывал в Цетине и знают размеры этого города, понимают: глупо даже предполагать, будто они могли там находиться в одно время и не встретиться.

Итак, Гартвиг и Гизел были знакомы. Давно и, видимо, неплохо.

Еще немного приблизим увеличительное стекло к Гизелю. О нем, кстати, тоже очень мало известно. Нет, знаем-то много: о дипломатии, о действиях перед войной, о нотах и протестах. И о его брате, который воевал потом против сербов. Знаем многое, но… не о том, о чем хотелось бы. Почему, например, Гизел после окончания войны в 1919 г. вдруг оказался не в Вене, не в Берлине, а в Белграде? Жил там на улице Славонской и плевать хотел на ироничные статьи, где он именовался югославом Гизелем Гизеленгским?

И король Александр его привечал. Привечал кого? Бывшего врага или…?

Он, Владимир, хоть и Рудольф Карл, жил в городе, который вверг в войну, довольно долго.

Зачем он вернулся в Белград?

Может, ответ в том, что и бароны иногда бывают панславистами, даже если они австрийские послы?

А может, ответ — в небольшой зарисовке доктора Рыбникара в газете «Политика», который приехал в ту роковую ночь в австро-венгерское посольство:

> И спросила тогда баронесса Гизел на чистом сербском языке:
>
> — Нужно ли зажечь ему свечу?
>
> И сказали врачи, что таков обычай у нас. И ответила баронесса:
>
> — У меня есть свеча, я сейчас принесу. Есть у меня и одна наша Богородица, от моей матери осталась.
>
> И принесла она свечу и положила мертвому Гартвигу на грудь, а восковую свечу — у изголовья. А я сделал вывод, что она, по всему судя, сербка или как минимум — православной веры.

Я не нашла, кем была по происхождению баронесса.

Хотя с учетом того, что сам барон родился в городе Печ — ныне Венгрия, — а там было немало сербов, баронесса вполне могла быть сербкой.

Могла она быть и черногоркой — если учитывать черногорский эпизод в жизни барона.

А могла быть и обычной австрийской баронессой. Только любящей сербов.

Такое тоже иногда случается, даже с баронессами.

Вот такая вот история.

О Гартвиге — человеке, которого когда-то вся Сербия любила, но ныне прочно забыла.

Хотя уж Сербия могла бы и вспомнить, как он сербов любил, и вернуть Гартвигу его улицу. Сейчас она называется Белградской.

Ну, право, зачем Белграду Белградская улица?!.

Кстати, Гизел был чешского происхождения; в Пече, где он родился, и поныне много сербов, хорватов и чехов. Он принадлежал к Чешской православной церкви.

Эпилог,
не связанный с основным повествованием (наброски)

Рождественская история. Дух настоящего. Апория

…в сытые рождественские дни, перебирая полученные подарки, всякие там дорогие велосипеды и другую, заработанную тяжким трудом признательность окружающих, каждый настоящий Малыш вспоминает о собаке. Той, настоящей. Которой ему никогда не подарят. И которую он никому не подарит. Поэтому в эти дни все чрезмерно веселятся, заводят друзей, лезут то на крышу, то в горы, а то летят на Гоа.

И хорошо, если у вас есть тот, кто испечет вам плюшку и утешит: «Не плачь, милый Августин, все пройдет, все».

— А нам это можно?!

Они стояли у прилавка магазинчика, который в стремительно наступающую ночь перед Рождеством торопился закрыться и поэтому был глух к их невнятным вопросам на непонятном языке. Равнодушная толпа, покупающая мелочи, без которых завтрашний праздник не состоится, делала свое дело, огибая их.

— А это нам можно?!..

Продавщица, которой хотелось домой — к семье и бадняку, к горячему вину и уюту, игнорировала их беззлобно. Она устала. Устала настолько, что понимала только названия товаров с этикеток. И ничего больше.

— А что это?

Они смотрели на прилавок, где лежали гусенички из капустных листьев и что-то белесое из клеклого теста. Купить это они боялись. Они не знали, что это. А две наглых кирилличных надписи — САРМА и КРОМПИРУША — информации не несли никакой. А они — хотели знать: что это и можно ли это им? Они даже включили на телефоне переводчика и робко протягивали телефон самаритянам, которые шарахались, отказываясь произносить в кусок пластика свои кирилличные слова. А когда один, пьяненький и, следовательно, добрый самаритянин все же решился и, старательно дыша, произнес нужное, то на холодном стекле равнодушно загорелись: SARMA KROMPIRUSHA, и опять было не ясно, что это и можно ли это им.

Решила поиграть в эту игру и я: тесто с картошкой и капуста с рисом. Постные — строго сказала я технологическому чуду, которое от радости начало танцевать на экране, выписывая кренделя чужих слов.

…и они ушли: Каспар и Мельхиор. Ушли, спеша принести брату своему Бальтазару сарму и кромпирушу. Завтра их ждал их привычный мигрантский путь. А сегодня горели в церковных оградах костры и ветер нес тревожный запах чуда туда, наверх, к звезде. Которая уже взошла и которая, слава Богу, будет сиять, независимо от нашей родной, трогательной, милой и жестокой суеты здесь, внизу.

SERBIAN TRAGEDY

Irina Antanasievich
Doctor of Philology, Professor,
Department of Slavic Studies, University of Belgrade.
Republic of Serbia, 11000, Belgrade, Student TRG, 3.
E-mail: antiira@mail.ru

The small country of Serbia, with almost a thousand and a half-year history, turned out to be an area of great human grief. Since ancient times, strong and aggressive neighbors have sought to conquer its territory, and the memory of the people in folklore, literature, and fine art has preserved traces of a foreign presence and influence on culture. Three and a half centuries of Ottoman rule brought the Serbs many troubles, but the First World War, which killed about a third of the country's population, turned out to be the most terrible blow. Having become a kingdom from the end of the 19th century, Serbia remained until the beginning of World War II, and in 1945 it was Sovietized and became part of the Federal People's Republic of Yugoslavia (later SFRY), first as the People's Republic of Serbia, and then, since 1963, as Socialist. However, the collapse of the USSR brought about the collapse of the entire European socialist camp, and nationalism, which raised its head in the former Soviet republics, did not pass Yugoslavia. Serbia's acquisition of independent statehood, for the time being still socialist, again cost a lot of blood. The bombing of NATO (2000) put an end to socialism in the country. Now Serbia is again a republic.

But the main thing is not the territory or the political system, but people. The history of prominent Serbs is almost unknown in Russia: from the media, Russians know about the unbroken "Balkan conflicts" or, in a milder version, "contradictions," and as a rule, it all ends. Meanwhile, any political event responds to human fate, whether it be an ordinary citizen or a leader of a higher rank. Who are the Karageorgievichs? What can I say about Nikolai Genrikhovich Gartvig, Russian after the beginning of the First World War, or about Fedor Evdokimovich Makhin?..

The destinies of people in a philosophical context must be considered both as a field of interethnic dialogue, and as its implementation, and as a result: this is a human phenomenon. By the will of the common Slavic fates connected with Russia by tight ties, Serbia reveals its historical secrets to modern Russian people.

Keywords: the history of Serbia of the 20th century, the Karageorgievich dynasty, the Obrenovich dynasty, Ustashi, N. G. Gartwig, the Black Hand organization.

РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ — ПОСЛЕДСТВИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ: СПАСЕНИЕ, СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, ОСМЫСЛЕНИЕ

Арсений Дмитриевич Куманьков
НИУ ВШЭ, старший преподаватель. E-mail: senykum@gmail.com (1, 5)

Даниил Антонович Морозов
НИУ ВШЭ, студент. E-mail: damorozov1997@gmail.com (2)

Анна Вадимовна Насырова
МГУ имени М.В. Ломоносова, аспирант. E-mail: anna.bakhrushina@gmail.com (3)

Татьяна Станиславовна Алексанова
НИУ ВШЭ, студентка. E-mail: E-mail: t.alex.soul@gmail.com (4)

Статья посвящается памяти Бобана Чурича — нашего доброго друга, коллеги и учителя, экстраординарного профессора филологического факультета Белградского университета.

Первая мировая война, революция, Гражданская война — вехи истории, и, осмысливая их, современный исследователь видит огромные панорамы, на которых разворачивалась судьба России в начале XX в. Стоит ли воспроизводить длинную цепочку исторических событий, приведшую русскую эмиграцию в Сербию?.. В первую очередь нас интересует поиск причинно-следственных связей. Точкой отсчета станет факт присутствия русских эмигрантов в Сербии, а не то, как именно они попали в этот гостеприимный край. Так мы обретем возможность не только исторического, но и историософского, культурного понимания «последствий Гражданской войны в России» для эмигрантов и для Сербии.

Яркие примеры взаимного влияния обеих стран можно обнаружить в небольшой статье Алексея Борисовича Арсеньева «У излучины Дуная. Русская колония в Нови-Саде» (Арсеньев, 2010: 148–151), с которой он познакомил участников летней школы «Русская эмиграция в Сербии. Портреты и судьбы» (25–31 августа 2019 г.). Множество интересных деталей русско-сербского взаимодействия Арсеньев отразил в лекции, прочитанной в Матице сербской — старейшем сербском литературно-научном сообществе, основанном в 1826 г.

Тему присутствия русских эмигрантов, оказавшихся в Сербии после Гражданской войны, мы решили раскрыть через три ключевых понятия, каждому из которых посвящен небольшой фрагмент текста: *спасение русской культуры, ее*

сохранение и осмысление Гражданской войны. Мы полагаем, что именно так можно точнее всего передать способ осмысления самими эмигрантами своего места в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев (КСХС) и той миссии поддержания жизни русской культуры, которая, как им виделось, лежит на них.

Ключевые слова: Гражданская война, эмиграция, Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев (КСХС), П. Н. Врангель, И. А. Ильин, П. Б. Струве, В. И. Бельский, деятели русской культуры в изгнании.

DOI 10.17323/2658-5413-2020-3-1-47-64

1. Точка отсчета

Государства Балканского полуострова стали одним из основных районов, куда направлялись эмигранты, бывшие подданные Российской империи, в 1917–1920 гг. При этом беженцы прибывали сюда не единовременно: в исследовательской литературе принято устоявшееся обозначение этого процесса как трех волн русских, которые накатились на Балканы.

Первая (15–20 тысяч человек) отправилась из Одессы в апреле 1919 г. после эвакуации сил интервентов. Масса людей через Румынию переместилась в Болгарию и КСХС.

Вторая волна эмиграции поднялась зимой — весной 1920 г. Ее источниками стали опять-таки Одесса и Черноморское побережье Кавказа. Этот этап отмечен рядом трагических событий. Так, часть российских граждан, отправившаяся в феврале из Одессы в Румынию, не была пропущена через границу. Огонь, открытый румынскими пограничниками, и атаки Красной армии рассеяли толпы, появились жертвы. Трагедией закончилась и эвакуация из Новороссийска 26–27 марта 1920 г. Стремительное наступление армии большевиков породило отнюдь не безосновательную панику в городе, и места на судах, отправлявшихся в порты Румынии, Болгарии и Турции, хватило лишь для трети желающих эвакуироваться. Всего же во вторую волну от 35 до 45 тысяч человек покинули Россию.

Наконец, третий этап эмиграции на Балканы связан с окончанием белой борьбы на юге России. 11 ноября 1920 г. генерал-лейтенант барон Петр Николаевич Врангель (1878–1928), носивший титул Правителя и Главнокомандующего Вооруженными силами на Юге России, издал приказ, в котором были такие слова:

> «Русские люди! Оставшаяся одна в борьбе с насильниками, Русская армия ведет неравный бой, защищая последний клочок Русской земли, где существует право и правда. В сознании лежащей на мне ответственности, я обязан заблаговременно предвидеть все случайности. По моему приказанию уже приступлено к эвакуации

и посадке на суда в портах Крыма всех, кто разделял с Армией ее крестный путь, семей военнослужащих, чинов гражданского ведомства с их семьями и отдельных лиц, которым могла бы грозить опасность в случае прихода врага» (цит. по: Левитов, 1974).

До 16 октября из портов Крыма отбыло чуть менее 150 тысяч человек. Большая часть из них отправилась в Константинополь. В конце 1920 г. до 70 тысяч офицеров и чинов русской армии были размещены в трех центрах: лагерях около городов Галлиполи и Чаталджи, а также на острове Лемнос. Началось печально известное Галлиполийское сидение, вызванное попытками Франции и Великобритании разоружить русскую армию генерала Врангеля и ликвидировать ее как боевую единицу. В марте 1921 г. бывшие союзники по Антанте прекратили финансирование русской армии, но уже 13 апреля были достигнуты принципиальные соглашения с сербским правительством о принятии почти 20 тысяч человек. В результате к 1922 г. в КСХС оказалось порядка 44 тысяч бывших подданных Российской империи (см. подробнее: Йованович, 2006: 83–172; Йованович, 1996: 27–45).

Литература

Йованович М. (1996) Россия в изгнании. Границы, масштабы и основные проблемы исследования. // Русская эмиграция в Югославии. М.: Индрик. С. 27–45.

Йованович М. (2006) Русская эмиграция на Балканах: 1920–1940. М.: Русский путь.

Левитов М. Н. (1974) Материалы для истории Корниловского ударного полка // Paris: Societe Dimprimerie Periodiques et Dedition. Электронный ресурс [код доступа]: http://volunteerarmy.ru/put-v-emigraciyu.html (дата обращения: 27 февраля 2020).

2. Спасение

Историческая личность в осмыслении русских философов: казус Врангеля

В Летней школе — 2019 фигура Петра Николаевича Врангеля стала одной из ключевых. Несмотря на реставрацию, нам все же удалось посетить церковь Святой Троицы в Белграде — символичное место для истории русской эмиграции. Именно там в 1929 г. был торжественно перезахоронен прах Врангеля. В Сремски-Карловци — небольшом городе, чья история неразрывно связана с темой нашего проекта (там располагался штаб Главнокомандующего русской армией), — А. Б. Арсеньев подвел нас к его памятнику, начав с этого экскурсию. Почему понятие «спасение» ассоциируется именно с личностью Врангеля?

В первую очередь это спасение русской армии, которое совершил Врангель на заключительных этапах Гражданской войны, будучи носителем титула Правителя и Главнокомандующего Вооруженными силами на Юге России. Крымскую

эвакуацию стоит назвать лишь началом — исходом русского воинства. Впереди его ожидало Галлиполийское сидение и ряд других событий. В рамках Летней школы данному сюжету большое внимание уделил один из руководителей проекта А. Д. Куманьков — в докладе «Русские волны на Дунае: белая эмиграция в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев».

Свои скитания русская армия, находившаяся после стольких испытаний в состоянии полной боевой готовности, завершила в балканских государствах. В Сербии центром сосредоточения русских сил стали те самые Сремски-Карловци. Находясь там, Врангель состоял в активной переписке с философом И. А. Ильиным. В письме от 27 апреля 1923 г. спаситель русской армии выражает надежду: «<…> недалек тот радостный час, когда ныне находящаяся на чужбине Русская армия вернется на Родину и будет принята Россией как духовно близкое и бесконечно родное» (Врангель, 1923). Надежда на возвращение и продолжение борьбы — лейтмотив, присущий выступлениям не только главнокомандующего, однако он буквально горел этой идеей. Возможно, надежда была источником, питавшим силы русской армии и позволившим ей пережить все сложности своеобразного «путешествия», начавшегося с крымской эвакуации и закончившегося в Сремски-Карловци. Там же 1 сентября 1924 г. по инициативе Врангеля был создан Русский общевоинский союз (РОВС).

Личность Петра Николаевича Врангеля играет большую роль и для сербов, в чем мы убедились в ходе встречи с режиссером документальных фильмов о русской эмиграции Бошко Милославлевичем. Милославлевич показал фрагмент из нового фильма о В. В. Шульгине, рассказал и о предыдущем успешном творческом опыте — картине «Его благородие Барон Врангель», которую мы посмотрели по возвращении. Итак, спасение русской армии и ее дислокация в Сербии — заслуга и подвиг Врангеля.

Однако хотелось бы раскрыть и другой смысл слова «спасение».

25 апреля 1928 г. Петр Николаевич Врангель скончался в Брюсселе. Это событие открыло символическую перспективу, в которой возникают новые обертоны. В предисловии к «Философии права» Гегель писал: «<…> сова Минервы начинает свой полет лишь с наступлением сумерек» (Гегель, 1990: 56). Так и смерть Врангеля стала тем «сумеречным» событием, которое дало толчок философской рефлексии о его личности.

Наиболее ярко это прослеживается на примере двух небольших статей (их сложно назвать некрологами) — И. А. Ильина (Ильин, 1928: 2)[1] и П. Б. Струве (Струве, 1928: 1). Обе статьи опубликованы в 35-м номере еженедельной газеты

[1] Далее цитируется по этому изданию. Важно отметить, что статья Ильина впоследствии была опубликована в собрании сочинений (Ильин, 2001: 212), там же можно найти другой важный текст — речь «Памяти героя», произнесенную 22 мая в Берлине (Там же: 202–210). — *Прим. ред.*

«Россия», выходившей в Париже под редакцией Струве (от 5 мая 1928 г.). Один из оригиналов газетного выпуска хранится в «Доме русского зарубежья им. А. Солженицына», сотрудники которого предоставили нам доступ к архивному документу.

Текст Ильина получил название «Русскому рыцарю». Словосочетание требует отдельного внимания. Ильин отказывается верить в происшедшее и глубоко переживает потерю товарища, используя множество метафор и сравнений. Он ставит риторические вопросы: «Поняли ли мы, что спасение России требует великой ширины и великой гибкости, и что эта спасительная ширина и гибкость требует именно его рыцарственной идейности и принципиальности?» (Ильин, 1928: 2). Профессор Белградского университета Бобан Чурич в личной беседе обратил внимание на одно парадоксальное обстоятельство: Ильин рисует образ православного рыцаря, хотя православие и традиция рыцарства никак не совместимы. Сербский исследователь указал на еще более интересный аспект: «православным рыцарем» называли не только Врангеля, но и Александра I Карагеоргиевича (во втором случае подданные). Стоит отметить, что Врангель и Александр I активно сотрудничали в 1920-х гг.

Так что же заложено в образе рыцаря?

Прежде чем отвечать, вернемся к работе Ильина и отметим, что Врангель для него — «гениальный человек, данный России Провидением» (Там же). Историософские мотивы прослеживаются и в ранее приведенной цитате с риторическими вопросами о спасении. Мыслить современника в таком ключе было свойственно представителям русской эмиграции; это позволила понять лекция «“Совсем чужие друг другу…”: как русская эмиграция осознавала себя» доцента кафедры философии Балтийского федерального университета им. И. Канта Владаса Повилайтиса. Он был одним из лекторов Летней школы и вторым руководителем нашего проекта. В поле его исследовательских интересов находится философия истории русского зарубежья. В лекции он привел известную пословицу «русский человек задним умом крепок», которую можно прямо соотнести с трагическим вопрошанием Ильина.

Повилайтис отметил, что русские мыслители в эмиграции были крайне самокритичны в попытках ответить на главный вопрос: «Как случилось *это*?». Ильин упрекает не только себя, но и других русских эмигрантов, которые не поняли, что спасение России заключалось в личности, посланной Провидением: «Горе тем, кто и теперь не почувствовал этого и не понял!» (Там же). Обращаясь к тем, кто до сих пор «не понял», Ильин формулирует тезис, с которым коррелирует основная установка Повилайтиса: «И если много будет таких среди нас, тогда ход истории выразит и довершит суд Божий над русским зарубежьем» (Там же). Итак, под «спасением» в рамках нашего исследования понимается сохранение не только русской армии, совершенное Врангелем, но и самой России — «России духовной», чья судьба прямо связана с конкретной исторической личностью.

5 мая 1928 г. Петр Бернгардович Струве опубликовал небольшую статью под названием «Генерал П. Н. Врангель». С нее в номере начинается раздел под названием «Вечная память». Крайне важно, что мыслитель непосредственно сотрудничал с Врангелем на заключительных этапах Гражданской войны и даже входил в состав его правительства. В отличие от Ильина, Струве заостряет внимание не на историческом Провидении, проявившемся в личности, а на характеристике самого Врангеля в качестве политического лидера. По его мнению, Врангель обладал даром «гипнотизма власти» (Струве, 1928: 1) при том обстоятельстве, что у него не было классового чувства и он не придерживался никакой конкретной политической доктрины. Интересно, что, согласно Струве, «гений властвования» отчетливо проявился в телесном облике — он имел в виду «исключительный рост покойного» (Там же). Струве отмечает, что у Врангеля было глубинное понимание общественного мнения — в нем он видит еще одно свидетельство гениальности.

Перед нами парадокс: Врангель — гений властвования, но никакой политической заинтересованности у него не было. В одной из статей Арсеньев приводит воспоминания Василия Витальевича Шульгина: «Он говорил, между прочим, что есть только два интересных занятия: война и охота» (Арсеньев, 2003: 101). В № 35 газеты «Россия» среди множества откликов на смерть Врангеля помещена и статья Шульгина под названием «Дух Врангеля». В ней он развивает тему «варяжества» покойного барона, так как «его предки пришли в Россию из страны Норманов» (Шульгин, 1928: 2). Далее Шульгин отмечает, что у «варягов сильно развито чувство долга». На другой ключевой сюжет в тексте Шульгина также следует обратить внимание: «Он ушел от нас, но получив иное, “*высшее назначение*”». Но “*Врангели*”, *по мнению Шульгина*, как платоновская, *вневременная* идея прошли через всю русскую историю (Там же).

Струве резко выступает против всех, кто говорил о «бонапартизме» Врангеля, проявляющемся в жажде властвования. Напротив, по мнению русского философа, в условиях Гражданской войны и в силу природных дарований Врангель делал то, что должно — был воином, настоящим *рыцарем* и спасал Россию. Следование долгу и чести становится ключевой темой. Все действия Врангеля определяются внутренним императивом долга.

«Разве мы не обречены на поражение?» — можно представить, сколько раз подобным вопросом задавались покинувшие Крым русские эмигранты. Стоит лишь вспомнить Галлиполийское сидение и сам акт спасения русской армии — было ли это возможно без мощного этического стержня и чувства долга, на которые обратила наше внимание статья Струве?

Итак, Врангель — рыцарь. С этим образом принято связывать следование долгу, внутренний императив и важную тему подвига, исполненного *несмо-*

тря ни на что. Так же, как и Ильин, Струве не верит, что физически сильный и одаренный человек мог скоропостижно скончаться. Здесь происходит важнейшая метаморфоза в осмыслении личности Врангеля, она выразилась в следующих словах Струве: «Но эта жизнь не только не прошла даром, она, законченная как земное поприще физического лица, будет жить и действовать как *духовная сила*, как драгоценное наследие, как *неумирающая* традиция, как нерушимый завет, как ярчайший урок Белой борьбы и русского патриотизма» (Струве, 1928: 1). Врангель, спасший русскую армию, превращается в *бессмертный* символ спасения «России духовной».

Из слов Струве можно сделать еще один важный вывод: борьба не закончилась, а точнее, *временная* война закончилась поражением, и теперь начинается борьба *в вечности*. Подвиг Врангеля выводится на принципиально новый уровень и закрепляется русскими мыслителями *в вечности*. «Россия духовная» не занимает более конкретной территории на карте, но у нее есть место в «сердцах» ее спасителей, которые находят физическое пристанище, к примеру, в Сербии и уже оттуда продолжают борьбу, делясь с этим гостеприимным краем содержанием хранимого — самым главным, самым родным.

Уже в 1953 г. Ильин опубликовал небольшую статью под названием «Светлой памяти генерала П. Н. Врангеля», в которой писал: «Но за эти двадцать пять лет наше знамя, принятое из рук покойного Главнокомандующего, не было ни свернуто, ни брошено, ни предано» (Ильин, 1993: 165). Он видит в личности Врангеля хранителя национальной традиции, актуальной для России как прошлого, так и будущего. Философ дает парадоксальное название, которое приводит размышление о «спасении» к завершению: «Это есть традиция русского национального рыцарства». Напомню, что само словосочетание «русский рыцарь» исторически кажется проблематичным, однако философ делает этот парадокс точкой отсчета. Далее Ильин развивает учение о том, кто есть «рыцарственный человек» и как рыцарственный дух проявлялся в истории России. Безусловно, Врангель для него — ярчайший носитель такого духа: «Этому духу служил покойный Главнокомандующий, и Россия уже включила его в пантеон своих национальных героев» (Там же: 167).

Так Ильин завершил статью. Мы видим, что после смерти Врангеля его личность в осмыслении философов приобрела, как писал Шульгин, «высшее назначение». Платоновская идея «Врангелей» — символ вневременной борьбы, особого духа, чувства долга за судьбу России, за спасение «России духовной».

Литература

Арсеньев А. Б. (2003) «Русские люди всколыхнули наше местечко»: как принимали изгнанников в Сремских Карловцах // Родина. № 10. С. 98–102.

Арсеньев А. Б. (2010) У излучины Дуная. Русская колония в Нови-Саде // Родина. № 11. С. 148–151.

Гегель Г. В. Ф. (1990) Философия права: пер. с нем. / ред. и сост. Д. А. Керимов и В. С. Нерсесянц. М.: Мысль.

Врангель П. Н. (1923) [Письмо И. А. Ильину 27 апреля 1923 г.] // Из переписки И. А. Ильина с П. Н. Врангелем // Электронный ресурс [код доступа]: http://rovs.atropos.spb.ru/index.php?view=publication&mode=text&id=190 (дата обращения 10 января 2020).

Ильин И. А. (1993) Собрание сочинений: В 10 т. Т. 2. Кн. 2 / Сост. и коммент. Ю. Т. Лисицы. М.: Русская книга.

Ильин И. А. (2001) Собрание сочинений. [Доп. Т. 6]: Статьи. Лекции. Выступления. Рецензии (1906–1954) / Сост. и коммент. Ю. Т. Лисицы. М.: Русская книга.

Струве П. Б. (1928) Генерал П. Н. Врангель: [некролог] // Россия. № 35. 5 мая. С. 1.

Шульгин В. В. (1928) Дух Врангеля // Россия. № 35. 5 мая. С. 2.

3. Дело сохранения и созидания русской культуры как преодоление последствий Гражданской войны

По подсчетам исследователей, более 42 тысяч русских прибыли на территорию КСХС (с 1929 г. — Королевство Югославия) после революции и Гражданской войны в России (Йованович, 2006: 119). Большинство беженцев, прибывших до эвакуации полков из Галлиполи в 1920 г., имели образование и входили в круги русской интеллигенции (Арсеньев, 1996: 46–99).

Королевство СХС гостеприимно приняло изгнанников и эмигрантов. Король Александр I Карагеоргиевич, воспитанник Пажеского корпуса в Петербурге при российском Императорском дворе, вел русофильскую политику, способствовавшую устройству жизни русских эмигрантов. Их с охотой принимали на государственную службу, из казны были выделены средства на поддержку русских культурных инициатив — от создания Русского научного института в Белграде до многочисленных издательских проектов (Там же).

Русский научный институт в Белграде, созданный после аналогичных организаций в Берлине и Праге, стал важным зарубежным культурным центром и просуществовал дольше других. По приглашению института П. Б. Струве в 1930 г. стал издавать новую газету — «Россия и славянство» — вместо редактируемой им некогда парижской «Возрождение». Издание выходило во Франции, но Струве редактировал его из Белграда. В издании публиковались И. А. Бунин, И. А. Ильин, Ф. Ф. Зелинский, П. А. Кулаковский, Г. А. Острогорский, В. В. Набоков (под псевдонимом В. Сирин), Е. В. Спекторский, А. В. Флоровский, С. Л. Франк. Были опу-

бликованы четыре исследовательские работы самого Струве. Посмертно вышла статья Н. С. Трубецкого (Чурич, 2013).

Особую роль в построении русско-сербских культурных связей играли организованные русскими обществами посещения Сербии русскими учеными, находившимися в эмиграции, для прочтения публичных лекций и ведения научных дискуссий. С одной стороны, это способствовало интеграции русского сообщества в сербскую научную среду, с другой — укреплению связей сербской науки с европейскими научными институтами, которые представляли приглашенные русские ученые (Йованович, 1996: 42–45). В 1920-е гг. Сербию посетили Н. О. Лосский, И. И. Лапшин, С. Л. Франк, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, И. Северянин, В. В. Зеньковский и многие другие выдающиеся деятели культуры русского зарубежья (Арсеньев, 1996).

По большому счету академические организации и творческие коллективы создавались для сохранения русской науки и культуры для будущей России. Русская эмиграция сознавала себя носителем подлинной русской культуры, необходимость сохранять, поддерживать и развивать которую была продиктована чувством Родины, «увезенной с собой».

Важным аспектом деятельности обществ и научных организаций было образование русской молодежи в эмигрантской среде, поддержание преемственности научных школ и традиций, сохранение целостности русского сообщества в эмиграции. По подсчетам, приведенным А. Б. Арсеньевым, на территории Югославии в разное время была зарегистрирована 1001 русская эмигрантская организация, почти все прекратили существование к 1941 г. Среди них, помимо научных и культурных, значились многочисленные благотворительные, военные и казачьи, политические организации, профессиональные союзы, а также церковные общины. Многие организации видели целью своей деятельности образование для молодых как способ транслировать и сохранять ценности русской культуры, поэтому большое внимание уделялось устройству преподавания гуманитарных и естественнонаучных дисциплин в русских школах, чтению курсов и публичных лекций, организации концертов и тематических встреч, изданию литературы на русском языке. В общем в Королевстве СХС выходило около 220 периодических изданий, созданных русскими для русских (Арсеньев, 1996).

В публицистике русской эмиграции в Сербии можно встретить призывы к сохранению национальной гордости русского народа, рассуждения о долге оставаться русским и сохранять преданность Отечеству. Опасения перед размыванием идентичности, потерей почвы — сквозной мотив многих эмигрантских текстов. Профессор Г. В. Пио-Ульский в докладе «Русская эмиграция и ее значение в культурной жизни других народов», изданном при поддержке Союза русских инженеров в Югославии в 1939 г., писал, обращаясь к молодежи: «Гордитесь, что

вы — русские, гордитесь этой чудной культурной страной и не берите пример с тех наших соотечественников-эмигрантов, которые, усвоив хорошо местный язык, стараются забыть, что они — русские. Эти люди не достойны своего Отечества. Кличка "русский" — кличка почетная, и к ней с вполне оправданным уважением должны относиться не только славянские народы, но и иноземцы…» (Пио-Ульский, 1939: 59). Игорь Северянин, уже будучи в эмиграции, писал: «Родиться Русским — слишком мало: им надо быть, им надо стать!»

Воспитание молодежи и поддержание связи эмигрантской культуры с дореволюционной российской осознавались интеллигенцией русской эмиграции как миссия. Благодаря деятельности культурных организаций в Сербии были созданы и получили развитие целые школы: исполнительского искусства, театрального мастерства, гражданской инженерии и архитектуры, медицины. Многочисленные общества, организации и союзы, служившие делу просвещения, создавались зачастую по образцу организаций имперской России. Таким было, например, Русское музыкальное общество в Белграде.

Русское музыкальное общество продолжило традиции одноименного, действовавшего в дореволюционной России при поддержке императорской фамилии и правительства и имевшего отделения во многих губернских городах, а также Общества музыкальных собраний в Санкт-Петербурге. Белградское общество организовывало концерты камерной музыки, публичные лекции, встречи. Например, из Праги благодаря радению учредителей был приглашен к чтению лекций философ И. И. Лапшин, страстный почитатель русской музыки. Он прочел двенадцать лекций «Силуэты русских композиторов». В Белграде позднее печатались статьи Лапшина по эстетике русской литературы.

Один из основателей и вдохновителей Русского музыкального общества в Белграде, В. И. Бельский, прибыл в Сербию с семьей в 1920-х. Бельский известен как либреттист поздних опер Н. А. Римского-Корсакова: «Сказки о царе Салтане», «Золотого Петушка», «Сказания о невидимом граде Китеже и деве Февронии», а также как один из соавторов либретто к опере «Садко». Бельский был, пожалуй, одним из ближайших конфидентов Римского-Корсакова с 1880-х гг., с начала их плодотворного сотрудничества, вплоть до смерти композитора в 1908 г. Знаменитые современники характеризовали Бельского как тонкого фольклориста, философа, человека разнообразных талантов, знатока русской словесности. В Белграде Бельский стал одним из соучредителей и впоследствии председателем Русского музыкального общества, целью которого было поддержание и распространение русской музыкальной культуры. В письмах сыну композитора Михаилу Николаевичу Римскому-Корсакову, оставшемуся в СССР, Бельский сетовал: «Русская колония, вообще относительно малочисленная, содержит совсем мало любителей настоящей музыки, но тем не менее Русское музыкальное об-

щество конечно устроит что-нибудь в камерных размерах. Может быть, удастся заполучить в Белград Н.Н. Черепнина: тогда дадим и симфонический концерт» (12 июля 1938 г.) (Рахманова, 2016: 158–159).

Музыкальное общество систематически привлекало внимание к русской музыкальной культуре в Сербии и на Балканах. По письмам Бельского ясно, что, хотя музыкальная культура русской эмиграции в Сербии межвоенного периода не сопоставима с петербургской дореволюционной, Сербия с вниманием относится к русскому музыкальному наследию, что следует, например, из имевшего общенациональный масштаб празднования столетия со дня рождения П. И. Чайковского. 8 июня 1940 г. Бельский писал: «Как и всюду, в Белграде усердно празднуется столетие рождения Чайковского, причем на одном радио было уже 16 концертов. Но программы безнадежно толкутся на одном месте. Мое Музыкальное Общество дало камерный концерт, который, кроме фортепианной сонаты, дал более чем 30 романсов, большинство которых было здешней публике незнакомо» (Там же: 163–164).

Бельский сознавал себя популяризатором русской культуры и продолжателем традиции, но в то же время и частью сербского народа. В ноябре 1934 г., после смерти короля Александра I Карагеоргиевича, он сообщал М. Н. Римскому-Корсакову: «Страна *наша* (курсив мой. — *А. Н.*), как Вы знаете, сейчас в глубокой печали, и вся общественная жизнь, жизнь искусства приостановилась. Приостановилась и затеянная Н. Н. Слатиным постановка “Снегурочки” русскими силами…» (Там же: 139–140).

Король Александр, которого русские эмигранты заслуженно считали благодетелем, облегчая жизнь изгнанников, обеспечил возможность для воссоздания русской культуры в ее духовной полноте. В плане сохранения идентичности идея И. Г. Фихте о том, что самобытный живой развивающийся язык формирует нацию (Фихте, 2009: 117–119, 124-125), выразилась в формировании самосознания русской эмиграции как целого благодаря действиям югославского правительства, позволившим русским работать, учиться и преподавать на родном языке. Ни в одном регионе Запада русские эмигранты не были приняты столь радушно, как на Балканах. В упомянутом выше докладе профессор Г. Н. Пио-Ульский отмечал: «Благородное положение по отношению к русской эмиграции заняла Югославия. Она, несмотря на сравнительно тяжелое финансовое положение страны после Великой войны, оказала русским людям широкое гостеприимство. К приходу русской эмиграции Югославия нуждалась в интеллигентных работниках высокой культуры, и она их нашла в лице русских специалистов, принесших в страну свой опыт, свои знания и любовь к труду» (Пио-Ульский, 1939: 16). Возможно, нигде в Европе не установились столь плотные связи русской культуры с культурой местной, нигде культура русской эмиграции не имела такого влияния. Во многом благодаря этому стала возможна насыщенная научная и культур-

ная жизнь диаспоры. Условно можно было бы представить мотивацию культурной и научной деятельности русской общины как обусловленную, с одной стороны, политически — для пользы будущей России, и с другой, психологически — преодоление травмы потери Родины через созидание ее культуры и продление старой духовной жизни в новых реалиях.

Преодоление кризиса политического поражения стало возможным для русских изгнанников как диаспоры через сохранение культурной идентичности, подразумевающей прочные связи с русской дореволюционной культурой, и через создание новой социальной идентичности — русской эмиграции, Зарубежной России. Разделение России на большевистскую, советскую, и старорежимную, эмигрантскую, до сих пор приводит к поляризации исследований русской культуры XX столетия, где оба полюса русской жизни представлены отдельно, хотя изначально они существовали с оглядкой друг на друга. Как бы там ни было, в сознании эмигрантов русская культура в эмиграции стала центром национальной жизни. Благодаря усилиям эмиграции культура, наука, хоть и перемещенные на чужие территории, развивались на национальной почве, наследуя традициям академической науки дореволюционной России. Формула «мы увезли Россию с собой» справедлива для русской эмиграции, поскольку идея свободного и творческого созидания культуры стала идеей спасения нации.

Литература

Арсеньев А. Б. (1996) Русская диаспора в Югославии. I. Культурные организации русской интеллигенции в Югославии. II. Русская интеллигенция в Воеводине // Русская эмиграция в Югославии. М.: Индрик. С. 46–99.

Йованович М. (1996) Россия в изгнании. Границы, масштабы и основные проблемы исследования. // Русская эмиграция в Югославии. М.: Индрик. С. 27–45.

Йованович М. (2006) Русская эмиграция на Балканах: 1920–1940. М.: Русский путь.

Пио-Ульский Г. Н. (1939) Русская эмиграция и ее значение в культурной жизни других народов. Белград.

Рахманова М.П. (2016) Письма В. И. Бельского к Андрею Николаевичу и Михаилу Николаевичу Римским-Корсаковым // Искусство музыки: теория и история. № 15.

Римский-Корсаков Н. А. (2004) Переписка с В. В. Ястребцевым и В. И. Бельским / сост. Л. Г. Барсова. СПб.: Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова.

Финдрейзен Н. Ф. (1909) Очерк деятельности С.-Петербургского отделения императорского Русского музыкального общества (1859–1909). СПб.: Типография Главного Управления Уделов.

Фихте И. Г. (2009) Речи к немецкой нации / пер. с нем. А. А. Иваненко. СПб. Наука.

Чурич Б. (2013) «Записки Русского научного института в Белграде» // Русское зарубежье и славянский мир: Сб. трудов. Белград: Славистическое общество Сербии. С. 303–317.

4. Осмысление Гражданской войны П. Б. Струве. Право побежденных

Для многих философов-эмигрантов, горящих своими идеями, с победой большевиков в Гражданской войне борьба не окончилась. Одним из стойких бойцов стал Петр Бернгардович Струве, непосредственный участник белого движения. Как отмечает его близкий друг Семен Франк, Струве был первым, кто ясно осознавал себя русским патриотом и вел патриотическую проповедь (Франк, 1997: 488). Именно поэтому, оказавшись вдали от родины, Струве еще активнее стремился восстановить Россию, освободить ее от вредоносного большевизма. В статье «Исторический смысл русской революции и национальные задачи», входящей в сборник «Из глубины», Струве дал однозначную оценку событиям: «Русская революция оказалась национальным банкротством и мировым позором» (Струве, 2009: 848). Его голос будто окреп после поражения в войне, он не опустил знамен, но лишь поменял арену боевых действий на публицистическое поле и действовал словом. Струве видел необходимость в возрождении России. Задача эта стояла теперь не только перед политическими деятелями, но перед всем литературным, публицистическим миром.

В эмиграции Струве активно занимался публицистической деятельностью. Прежде всего, он возобновил работу «Русской мысли», стал редактором газеты «Возрождение», после чего в разные годы имел отношение к разным публицистическим изданиям, в которых звучал голос проигравших, но непобежденных.

Если бы мы задали философу вопрос: «Белые проиграли?», ответ Струве был бы резко отрицательным. В 1920 г. Струве уверенно стоял на своей позиции, заявляя сознательно, что борьба с большевизмом не просто не прекратится, а станет еще громче и приобретет всесторонний характер. Через несколько лет после окончания Гражданской войны родился «Дневник политика», в котором Струве развивал идеи консервативного либерализма. Осмысление событий, происшедших в любимой России в первой четверти XX в., Струве считал первостепенной задачей: он поставил ее перед собой и ни разу с пути не свернул. В обращении к прошлому он видел возможность разобраться с настоящим: ошибки не должны быть повторены, и единственный способ освободиться от власти большевиков — изучить и переосмыслить опыт как собственный, так и вражеский (Вандалковская, 2004: 9).

Кому это под силу, если не публицисту? Вера Струве в неизбежное Возрождение России, его преданное отношение к своей стране оказались заразительны. В эмиграции политик и философ начал новую войну, культурную. Ее масштаб позволяет назвать его одним из самых плодовитых и влиятельных деятелей русского зарубежья. Берлин, Прага, Париж, София, Белград — эти города были центрами эмигрантской России того времени. По окончании войны каждая заметка

и статья русского философа были посвящены критике идей большевизма, рассуждениям о революции и истоках гибели прежней России, анализу последствий происшедшей катастрофы.

В эмиграции Струве продолжал отстаивать идею либерального консерватизма, его не покидала надежда на светлое будущее России, очищенной от «красной» болезни. Как и до эмиграции, Струве полагал, что возвышению Великой России препятствовала как интеллигенция, так и сам народ. Отщепенство извращенно воспитанной интеллигенции оказалось разрушительной силой, положило начало быстро разрастающейся катастрофе того времени (Струве, 2009: 851). «Только если русский народ будет охвачен духом истинной государственности и будет отстаивать ее смело в борьбе со всеми ее противниками, где бы они ни укрывались, — только тогда, на основе живых традиций прошлого и драгоценных приобретений живущих и грядущих поколений, будет создана — Великая Россия» (Струве, 1997: 63), — писал он задолго до Гражданской войны.

Философ полностью отдавал жизнь идее возрождения России, озвучивал свою мысль ежедневно, выпуская политические статьи в газетах, откликаясь на каждый шорох, доносившийся из России. Как отмечает Владимир Кантор, тотальное углубление Струве в политику лишало его «культурной прозорливости» (Кантор, 2012: 176), он уходил из сферы культурного в сферу политического, позабыв о своем призыве к всесторонней борьбе, сделав акцент на политике. Нельзя сказать, что это было ошибкой. Струве стал не просто публицистом, он был талантливым политиком, а патриотическое чувство одухотворяло каждое написанное им слово. Полностью охваченный идеей возрождения России и борьбы с большевизмом, Струве будто забыл о своем философском таланте: он ограничивался политической публицистикой, что существенно затрудняет процесс реконструкции его философских идей.

По мнению исследователей, фигура Петра Бернгардовича Струве остается ключевой для истории России и русского зарубежья первой половины XX в., «одной из вершин русской социально-философской мысли» (Жукова, Кантор, 2012: 10). Публицистическая форма, избранная Струве для передачи размышлений о Гражданской войне, ее предпосылках и последствиях, обладала особой мощью благодаря «живому слову», которое так восхищало Семена Франка (Франк, 1997: 493).

Таким образом, Струве не согласился бы с формулировкой, которую мы выбрали в качестве подзаголовка: белые не были побеждены в Гражданской войне, они проиграли, но не сдались. Переместив борьбу на другое поле, Струве оставался бойцом, верным служителем России, настоящим патриотом, готовым сражаться до последнего слова.

Литература

Жукова О. А., Кантор В. К. (2012). Вступительная статья: Мужество быть. К философской характеристике П. Б. Струве // Петр Бернгардович Струве / под ред. О. А. Жуковой и В. К. Кантора. М.: РОССПЭН.

Кантор В.К. (2010) Петр Струве: Великая Россия, или Утопия, так и не ставшая реальностью // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. Т. 11. № 4. С. 19–40.

Струве П. Б. (2004) Дневник политика (1925–1935). М.: Русский путь.

Струве П. Б. (1997) Patriotica: Политика, культура, религия, социализм. М.: Республика.

5. Заключение

Государства Балкан стали одним из наиболее значимых центров притяжения русских эмигрантов во время Гражданской войны. В 1919–1920 гг. туда отправились сотни тысяч людей с юга России. Их судьбы складывались по-разному. Но многие оказались вовлечены в сложный процесс преодоления последствий российской катастрофы. Спасение гражданских лиц и армии, сохранение культуры и осмысление происшедшего — вот первостепенные задачи, вставшие перед эмиграцией. Оказавшись в зарубежье, русские люди не перестали считать себя частью России. Наоборот, они приняли на себя обязательства перед ней. Мыслители и организации, о которых шла речь в нашей статье, — П. И. Врангель, Русское музыкальное общество, П. Б. Струве — были не единственными участниками этих процессов, однако на их примере можно показать задачи, стоявшие перед русскими эмигрантами, и объем усилий, требовавшийся для их выполнения.

RUSSIAN EMIGRATION — A CONSEQUENCE OF THE CIVIL WAR: SALVATION, PRESERVATION OF CULTURE AND COMPREHENSION

Arsenij Kuman'kov,
HSE University, Senior Lecturer. E-mail: senykum@gmail.com (2)

Daniil Morozov,
HSE University, student. E-mail: damorozov1997@gmail.com (3)

Anna Nasyrova,
Lomonosov Moscow State University, Postgraduate.
E-mail: anna.bakhrushina@gmail.com (4)

Tat'jana Aleksanova,
HSE University, student. E-mail: t.alex.soul@gmail.com (5)

The First World War, Revolution and Civil War are historical milestones. Comprehending them, a contemporary researcher sees huge panoramas of the fate of Russia unfolding in the beginning of the 20th century. Is it worth reproducing the long chain of historical events that led the Russian emigration to Serbia? We are interested primarily in searchшing for causal relationships. The starting point will be the presence of Russian emigrants in Serbia — not how exactly they got into this hospitable region. In this way we will get the opportunity not only of a historical, but also of a historiosophical, cultural comprehension of the "consequences of the Civil War in Russia" for emigrants and for Serbia.

Vivid examples of the mutual influence of both sides can be found in a short article by Aleksej Borisovich Arsenyev "At the bend of the Danube. The Russian colony in Novi Sad". He introduced the participants to this work during the summer school "Russian Emigration in Serbia: Portraits and Fates" (August 25–31, 2019). Arsenyev reflected a lot of interesting details of the Russian-Serbian interaction in the lecture read in Matica Serbian, the oldest Serbian literary and scientific community, founded in 1826.

We decided to reveal the topic of the presence of Russian emigrants who came to Serbia after the Civil War through three key concepts, each of them is dedicated to a small fragment of the text: the salvation of Russian culture, its preservation and comprehension of the Civil War. We believe that this is the most accurate way to convey how the emigrants understood their place in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (KSHS) and the mission of sustaining the life of Russian culture, which, as they comprehend it, lies with them.

Key words: Civil War, emigration, the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (KSHS), P. N. Vrangel', I. A. Il'in, P. B. Struve, V. I. Bel'skij, personalities of Russian culture in exile.

References

Arsen'ev A. B. (1996) Russkaja diaspora v Jugoslavii. I. Kul'turnye organizacii russkoj intelligencii v Jugoslavii. II. Russkaja intelligencija v Voevodine [Russian Diaspora in Yugoslavia. I. Cultural Organizations of the Russian Intelligentsia in Yugoslavia. II. Russian Intelligentsia in Vojvodina]. *Russkaja Jemigracija v Jugoslavii [Russian Emigration in Yugoslavia]*, Moscow: Indrik. Pp. 46–99 (In Russian).

Arsen'ev A. B. (2003) «Russkie ljudi vskolyhnuli nashe mestechko»: kak prinimali izgnannikov v Sremskih Karlovcah ["Russian People Stirred up our Place": how they Treated Exiles in Sremsky Karlovtsy]. *Rodina. Rossijskij istoricheskij zhurnal [Homeland. Russian historical journal]*, 2003, no10, pp. 98–102 (In Russian).

Arsen'ev A. B. (2010) U izluchiny Dunaja. Russkaja kolonija v Novi-Sade [At the Bend of the Danube. Russian Colony in Novi Sad], *Rodina. Rossijskij istoricheskij zhurnal [Homeland. Russian Historical Journal]*, 2010, no11, pp. 148–151 (In Russian).

Churich B. (2013) «Zapiski Russkogo nauchnogo instituta v Belgrade» ["Notes of the Russian Scientific Institute in Belgrade"], *Russkoe zarubezh'e i slavjanskij mir: Sb. trudov [Russian Abroad and the Slavic World: Proceedings]*. Belgrade: Slavisticheskoe obshhestvo Serbii. Pp. 303–317 (In Russian).

Fihte I. G. (2009) Rechi k nemeckoj nacii [Speech to the German nation] (transl. by A. A. Ivanenko), St. Petersburg: Nauka (In Russian).

Findrejzen N. F. (1909) Ocherk dejatel'nosti S.-Peterburgskogo otdelenija imperatorskogo Russkogo muzykal'nogo obshhestva (1859–1909) [Essay on the Activities of the St. Petersburg Branch of the Imperial Russian Musical Society (1859–1909)]. St. Petersburg: Tipografija Glavnogo Upravlenija Udelov (In Russian).

Hegel G. W. F. (1990) Filosofija prava [Philosophy of Law] (transl. by M. I. Levina, B. G. Stolpner), Moscow: Mysl' (In Russian).

Il'in I. A. (1928) Russkomu rycarju [Russian Knight]. *Rossija*, Paris,1928, no 35, 5 may, p. 2 (In Russian).

Il'in I. A. (1993) Svetloj pamjati generala P. N. Vrangelja [In the Memory of General P.N. Wrangel], Sobranie sochinenij [Collected Works], 10 Vols, Vol. 2, T. 2. Moscow: Russkaja kniga (In Russian).

Il'in I. A. (2001) Sobranie sochinenij [Collected Works], Add. Vol. 6: Stat'i. Lekcii. Vystuplenija. Recenzii [Articles. Lectures. Performances. Reviews] (1906–1954). Moscow: Russkaja kniga (In Russian).

Jovanovich M. (1996) Rossija v izgnanii. Granicy, masshtaby i osnovnye problemy issledovanija [Russia in Exile. The Boundaries, Scope and Main Problems of the Study], *Russkaja jemigracija v Jugoslavii [Russian Emigration in Yugoslavia]*. Moscow: Indrik. Pp. 27–45 (In Russian).

Jovanovich M. (2006) Russkaja jemigracija na Balkanah: 1920–1940 [Russian Emigration in the Balkans: 1920–1940]. Moscow: Russkij put' (In Russian).

Kantor V. K. (2010) Petr Struve: Velikaja Rossija, ili Utopija, tak i ne stavshaja real'nost'ju [Peter Struve: Great Russia, or Utopia, which Never Became Reality], *Vestnik Russkoj hristianskoj gumanitarnoj akademii [Bulletin of the Russian Christian Humanitarian Academy]*, Vol.11, no 4, pp. 19–40 (In Russian).

Levitov M. N. (1974) Materialy dlja istorii Kornilovskogo udarnogo polka [Materials for the History of the Kornilov Shock Regiment], Paris: Societe Dimprimerie Periodiques et Dedition [Paris: Periodical Printing and Publishing Company]. Available at: http://volunteerarmy.ru/put-v-emigraciyu.html (accessed 27 February 2020) (In Russian).

Pio-Ul'skij G. N. (1939) Russkaja jemigracija i ee znachenie v kul'turnoj zhizni drugih narodov [Russian Emigration and its Significance in the Cultural Life of Other Peoples]. Belgrade (In Russian).

Rahmanova M. P. (publ.) (2016) Pis'ma V.I. Bel'skogo k Andreju Nikolaevichu i Mihailu Nikolaevichu Rimskim-Korsakovym [Letters of V.I. Belsky to Andrei Nikolaevich and Mikhail Nikolaevich Rimsky-Korsakov], *Iskusstvo muzyki: teorija i istorija [The Art of Music: Theory and History]*, no 15 (In Russian).

Rimskij-Korsakov N. A. (2004) Perepiska s V. V. Jastrebcevym i V. I. Bel'skim [Correspondence with V.V. Yastrebtsev and V.I. Belsky]. St. Petersburg: Sankt-Peterburgskaja gosudarstvennaja konservatorija im. N. A. Rimskogo-Korsakova (In Russian).

Shul'gin V. V. (1928) Duh Vrangelja [Wrangel Spirit] *Rossija*, Paris,1928, no 35, 5 may, p. 2 (In Russian).

Struve P. B. (1928) General P. N. Vrangel': [nekrolog] [General P.N. Wrangel: (Obituary)], *Rossija*, Paris,1928, no 35, 5 may, p. 1 (In Russian).

Struve P. B. (2004) Dnevnik politika (1925–1935) [Politician Diary (1925–1935)]. Moscow: Russkij put' (In Russian).

Struve P. B. (1997) Patriotica: Politika, kul'tura, religija, socializm [Patriotica: Politics, Culture, Religion, Socialism]. Moscow: Respublika (In Russian).

Vrangel' P. N. (1923) Pis'mo I. A. Il'inu 27 aprelja 1923 g. [Letter to I.A. Ilyin April 27, 1923]. Iz perepiski I. A. Il'ina s P. N. Vrangelem [From the Correspondence of I.A. Ilyin with P. N. Wrangel]. Available at: http://rovs.atropos.spb.ru/index.php?view=publication&mode=text&id=190 (accessed 10 February 2020) (In Russian).

Zhukova O. A., Kantor V. K. (2012). Vstupitel'naja stat'ja: Muzhestvo byt'. K filosofskoj harakteristike P. B. Struve [Introductory Article: The Courage to be. To the Philosophical Characteristic of P. B. Struve]. *Petr Berngardovich Struve [Peter Bernhardovich Struve]*. Moscow: ROSSPJeN (In Russian).

МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ «РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В СЕРБИИ. ПОРТРЕТЫ И СУДЬБЫ»: «ПРАВОСЛАВИЕ: СОХРАНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ»

Даниил Тимофеевич Бабошин
МГУ им. М. В. Ломоносова, студент. E-mail: baboshin2014@yandex.ru (1)

Анна Федоровна Макарова
МГУ имени М. В. Ломоносова, аспирант. E-mail: anna.fed.mak@gmail.com (2)

Екатерина Владимировна Подобуева
НИУ ВШЭ, студент. E-mail: katrin-arabesk@yandex.ru (3)

Кирилл Алексеевич Мартемьянов
НИУ ВШЭ, студент. E-mail: martemyanov1996@bk.ru (4)

Полина Александровна Блинникова
НИУ ВШЭ, студент. E-mail: polinablinnikova@mail.ru (5)

Мария Валентиновна Мироненко
НИУ ВШЭ, студент (6)

По итогам работы Летней школы участники представили два групповых проекта: «Русская эмиграция — последствие Гражданской войны» и «Православие: сохранение национальной и культурной идентичности русской эмиграции». Задачей участников круглого стола по второй теме стало изучение судеб шести русских эмигрантов, внесших значительный вклад в культуру Сербии.

Ключевые слова: П. А. Кулаковский, Г. С. Петров, Е. В. Спекторский, Н. О. Лосский, Е. В. Аничков, В. В. Зеньковский.

DOI 10.17323/2658-5413-2020-3-1-65-89



Платон Андреевич Кулаковский (1848–1913) — ученый-славист, писатель, общественный деятель, брат известного филолога Юлиана Кулаковского

1. Научная и общественная деятельность П. А. Кулаковского в Сербии

В дневнике П. А. Кулаковский признавался: «Я писал лишь горькую и больную правду о Сербии, писал с болью сердца и любовью к этому народу…» (цит. по: Шемякин, 2014: 108)[1]. Противоречивое отношение русского ученого-слависта объясняется тем сложным для обеих стран временем, в которое он стремился поддерживать культурные, общественные и научные связи двух народов.

В 1878 г. по просьбе Алимпие Василе́вича, министра просвещения и церковных дел в сербском правительстве, Кулаковский — тогда еще преподаватель IV Московской гимназии и выпускник Московского университета — занял основанную в Великой школе (с 1905 г. Белградский университет — крупнейший в Сербии) кафедру русского языка и литературы. Тут же по приезде он начал записывать в дневник впечатления от пребывания в Белграде, ежегодно представлял отчеты в МИД Российской империи, работал сербским корреспондентом для таких периодических изданий, как «Московские ведомости» и «Русский вестник» (издатель и редактор М. Н. Катков), «Новое время» (А. С. Суворин), «Русь» (И. С. Аксаков) и «Журнал министерства народного просвещения» (Е. М. Феоктистов). Столь различные по своей природе материалы (личные записи и письма друзьям, не предназначенные для чтения сторонними лицами, официальные отчеты и газетные статьи) — крайне богатый источник для полноценного знакомства как с положением Сербии в те годы, так и со взглядами самого московского профессора. Остается лишь удивляться, почему еще не было предпринято попытки всестороннего исследования его деятельности.

Преподавательская работа Кулаковского начинается прочтением вступительной лекции «Краткий очерк развития русского литературного языка». В ней профессор говорит о том, что для него честь положить начало преподаванию русского языка в Великой школе свободной Сербии и что он сделает все, что

[1] В цитируемом источнике опубликованы дневник П. А. Кулаковского, «Неопубликованная статья о партийной жизни в Сербии» и письма к разным лицам. — *Прим. ред.*

в его силах, чтобы принести максимальную пользу сербской молодежи. В лекции Кулаковский дает общий обзор развития русской словесности с древнейших времен. Чуть позже лекция была переведена самим ученым на сербский язык и выпущена в Белграде отдельной брошюрой (Данченко, 1989: 77).

Педагогический метод Кулаковского не ограничивался чтением лекций. Вместе со студентами он переводил на сербский язык произведения русской литературы, в частности повесть А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Подобная деятельность отвечала объективной потребности развития сербской культуры, а именно знакомству сербских студентов и ученых с достижениями русской литературы и науки.

Но не все было просто. В дневнике Кулаковский писал, что для успешного распространения русского языка в Сербии «нужна кропотливая, систематическая, трудная, черновая работа» (цит. по: Шемякин, 2014: 78–79). А условия, в которых ему приходилось так усердно работать, были нелегкими. В частности, не имелось необходимых учебников и книг на русском языке. Для студентов профессору пришлось самостоятельно подготовить небольшую хрестоматию «Руска читанка». В ней он поместил отрывки из лучших произведений русской литературы. Приведем слова самого Кулаковского из письма Аксакову от 2 февраля 1879 г.: «Теперь уже печатается русская “Хрестоматия”, составленная мною, которая при здешней дешевизне печати будет стоить не более 1 динара, т.е. франка, а книга будет листов в 8 печатных. Учащаяся молодежь сербская — очень бедна, да и вообще дети в сербской семье не пользуются уходом и заботой старших… Такая самостоятельность юноши, кажется, здесь в нравах. Следовательно, книга, стоящая два или три франка, во всяком случае будет слишком дорога, между тем как здесь свою они будут иметь за один франк» (цит. по: Шемякин, 2014: 121).

Громадных усилий стоило Кулаковскому и открытие русской библиотеки в Белграде. Студенты то и дело обращались к профессору с просьбами о выписке русских книг и журналов. Несмотря на все хлопоты, обращения в Петербургское славянское благотворительное общество, письма к влиятельным друзьям открыть отдельную библиотеку не получилось. Но Кулаковский все равно не отказался от своих планов и решил создать книжное отделение при белградской читальне, что нашло поддержку у Петербургского славянского общества. Вскоре из Петербурга в белградскую читальню были присланы 67 экземпляров книг 42 названий (Данченко, 1989: 80). Кроме того, были посланы в дар более 300 русских книг для студенческой и профессорской библиотек Великой школы.

Будучи исключительно талантливым и требовательным педагогом, Кулаковский стремился, чтобы его студенты не только говорили и писали по-русски, но еще и полюбили русскую культуру и литературу. В. И. Ламанскому 18 марта 1881 г. он писал: «Мои студенты охотно учатся русскому языку, лекции по исто-

рии новой русской литературы слушаются очень внимательно, многие студенты занимаются переводами с русского для печати, и их студенческий журнал "Побратимство" пополняется по преимуществу переводами с русского… Нет сомнения, что влияние нашей литературы и науки увеличивается, а молодежь мечтает, окончивши курс, ехать в Россию для изучения истории, языка и литературы славянской» (Шемякин, 2014: 176). Кстати, многих сербских студентов Кулаковский снабжал рекомендациями для поступления в российские университеты.

Однако Кулаковский не ограничивал себя лишь педагогической деятельностью. С первых дней пребывания в сербской столице он установил обширные связи среди сербской интеллигенции и политических деятелей. Московский профессор активно участвовал в бурной общественной жизни страны, совсем недавно обретшей независимость.

В октябре 1880 г. к власти в Сербии вместо русофилов-либералов пришли австрофилы-напредняки (сторонники Сербской прогрессивной партии, одной из наиболее важных политических сил Сербии до Первой мировой войны), поддерживаемые князем Миланом Обреновичем. Начинается постепенное, но явное охлаждение в отношениях с Россией и сближение с австро-венгерским правительством. Под угрозу попадают не только дипломатические связи между двумя странами, но и русский язык в Сербии, да и сама сербская культура, что было замечено Кулаковским в письме Аксакову от 12 февраля 1879 г.: «Книги, идущие из Сербии в Австрию для продажи, тоже обложены податью… Это должно возвысить цену сербских книг в Австрии, уменьшить их сбыт в славянских областях Австрии… Мысль австрийских правителей понятна — они боятся влияния сербов Княжества на австрийских сербов, особенно в Боснии и Герцеговине, где теперь скупаются ловкими руками земли у спахиев: босняки сделаются австрийской райей, как словаки» (Шемякин, 2014: 120).

Важно сказать хотя бы несколько слов о политических воззрениях Кулаковского. Будучи умеренным консерватором, он еще в юношестве испытал влияние славянофильства, в частности Аксакова. Однако в отличие от многих славянофилов он никогда не идеализировал славянские народы и всегда относился с изрядной долей скепсиса к так называемому славянолюбию. Не скрывая симпатий к сербскому народу и близко принимая к сердцу политические ошибки, допускаемые властью, он стремился сообщать о происходящих в стране событиях объективно. В письме к В. В. Макушеву от 6 июля 1882 г. он писал: «…грустную картину являет собой Сербия. Нет сомнения, что здравый смысл и инстинкт умного сербского народа спасет страну, но дело едва ли обойдется без революции и крови — уже слишком много зла посеяно в этой земле европействующей интеллигенцией, холопствующей перед красивыми словами либерализма, лишенного содержания. Мне искренно и глубоко жаль Сербии и этого народа» (Там же: 186). И ведь как в воду глядел —

уже в октябре 1883 г. в Сербском королевстве вспыхнуло Тимокское восстание, которое позже жестоко подавили правительственные войска.

Одной из причин политической неразберихи, которую отразил на страницах дневника и газетных статей Кулаковский, были беспощадные и подчас бессмысленные распри новорожденных сербских партий. Жесткий антагонизм, доходивший порой до явных зверств и подлых интриг, был свойствен политической жизни независимой Сербии тех лет. Партии в борьбе между собой не считались со средствами, а их участники варились в собственном соку и были отгорожены от оппонентов непроницаемыми предрассудками и ненавистью (Шемякин, 2013). Самое страшное — такие отношения из политики начали переходить в повседневную жизнь, что и зафиксировал Кулаковский: «Здесь теперь господствует политика. Все ей покорено». Даже «в гимназиях нет дисциплины, учащаяся молодежь не ходит на уроки, а бегает на скупщину и, сидя в кафанах, читает газеты» (Шемякин, 2014: 145).

Рассказывая в неопубликованной статье о разделении сербской элиты на две партии (либералов и консерваторов), Кулаковский отмечал: «Эти названия в сущности не дают надлежащей характеристики этим партиям, ибо обе имеют своих партизанов и в простом народе, и сербский либерал готов говорить о необходимости строгого режима, а сербский консерватор — защищать новые свободные учреждения» (Там же: 111). Но даже не эта путаница возмущала Кулаковского. По его мнению, партийные склоки были «помехой для развития Сербии».

Другой помехой была австрофильская направленность политической элиты Сербии, противоречащая надеждам сербского народа на сближение с Россией. Несправедливые торговые договоры, строительство железной дороги французской компанией, связанной с правительством Австро-Венгрии, внешнеполитическая зависимость от императора Франца Иосифа — все это подвергалось резкому осуждению русского ученого, которое он не стеснялся высказывать высокопоставленным государственным чиновникам.

Ошибки российской дипломатии, ее излишнюю осторожность московский профессор тоже бичевал нещадно: «Вы спросите, что делают наши дипломаты? Они пишут депеши, что считается величайшей мудростью… Плана у нас нет, цели у нас не узнаны, не определены: в этом беда. Австрия берет нахальством и дерзостью, России помогает лишь народная вера в нее, скажу прямо, вера, которой мы, пожалуй, не достойны» (Там же: 168).

В 1882 г. закончилась вторая и последняя командировка Кулаковского в Сербию. По ее итогам он был награжден орденом Станислава II степени. Высоко оценивали его деятельность и в Сербии. Но замену ему на кафедре так и не нашли. После его отъезда преподавание русского языка и литературы в Великой школе было прекращено более чем на десять лет. Однако именно благодаря Кулаковско-

му сербская молодежь осознала важность изучения русской литературы и науки. А сам ученый давал следующую оценку своей работе: «Я думаю, что я успел по крайней мере посеять семена, которые начнут вырастать скоро. В последнее время еще больше замечал рост этих семян» (Там же: 187).

Литература

Данченко С. И. (1989) Русско-сербские общественные связи. 70–80-е годы XIX в. М.: Наука.

Данченко С. И. (2014) К вопросу о публицистической деятельности П. А. Кулаковского // Славяне и Россия. № 1. С. 184–186.

Шемякин А. Л. (2013) Московский профессор о независимой Сербии // Родина. № 12. С. 47–52.

Шемякин А. Л. (сост.) (2014) Русские о Сербии и сербах. Том II (архивные свидетельства). М.: Индрик.

2. Г. С. Петров — русский проповедник в Сербии

Второй герой нашего обзорного исследования, непосредственно связанный с православием (как мы видим по облачению на фото), — Григорий Спиридонович Петров. Он родился 26 января 1866 г. в Ямбурге (ныне Кингисепп) и был незнатного происхождения: Максим Горький, хорошо знавший Петрова, писал о его детских годах так: «сын кабатчика или буфетчика, и в детстве ничего, кроме матерщины, не слыхал, ничего, кроме пьяных, не видел» (цит. по: Балухатый, 1937: 27).

Свое образование Петров начал в Нарвской гимназии, потом, переехав в Петербург, окончил здесь сначала духовную семинарию, а вслед за этим, в 1891 г. — духовную академию. Став священником, он избрал преподавательское поприще, его лекции звучали в Михайловском артиллерийском училище, Пажеском корпусе, Александровском лицее, Политехническом институте, нескольких петербургских гимназиях. Молодой талантливый священник постепенно стал популярным столичным проповедником.

Личность Григория Петрова особо оценена философом В. В. Розановым, который писал в статье «Народные чтения в Петербурге»: «Образованный, просвещенный, и притом европейским просвещением, а не одною академическою схоластикой, он имел мужество убрать из своих тем, из своих оборотов речи все “интеллигентное”, все сколько-нибудь затруднительное для понимания простецов <...> священник Петров — любимейший в Петербурге проповедник, любимый и черным народом, и собирающий огромную образованную, даже частью ученую и литературную толпу <...> Быть христианином — для священника Петрова и значит, как бы идя посреди улицы народной, направо и налево кидать мешочки с добром» (Розанов, 1995: 303–304). На одной из лекций Петрова по-

бывал даже министр финансов России граф С. Ю. Витте: «Это, — писал он, — положительно одна из самых лучших лекций, которую я когда-нибудь в жизни слушал» (Витте, 1960: 82).

Другое воспоминание В. В. Розанова свидетельствует о популярности не только самого священника, но и его книг: «Один мой родственник, приезжавший из провинции, сказал мне: “Я устал возить на родину тюки его книг: так велико и непрерывно требование”. Можно без преувеличения сказать, что вовсе не Толстой и Максим Горький одни царят на книжном рынке, но и священник Петров — любимейший в Петербурге проповедник, любимый и черным народом...» (Розанов, 1995: 304).



Ок. 1905 г. Свящ. Григорий Петров.
Родина, 2002, №2.

Григорий Спиридонович Петров (1866–1925) — священник Русской православной церкви (лишен сана в 1908 г.), проповедник, общественный деятель, публицист. Участник «Братства ревнителей церковного обновления», сотрудник газет «Русское слово», «Правда Божия», депутат 2-й Государственной думы по списку Конституционно-демократической партии. С 1920 г. вел общественную деятельность в эмиграции в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев, а также в Болгарии (Третьем болгарском царстве)

В 1898 г. вышла книга Петрова «Евангелие как основа жизни», снискавшая большую славу (в России была переиздана 20 раз и переведена на многие языки). С этого сочинения, якобы имевшего «протестантский дух», начался конфликт священника с официальной церковью, приведший в конце концов к лишению его сана в 1908 г.

Петров вел и активную общественно-политическую деятельность: был редактором газеты «Правда Божия», в 1907 г. был избран депутатом 2-й Государственной думы по списку Конституционно-демократической партии.

В 1907 г. за критическое письмо митрополиту Антонию запрещен в служении и направлен на послушание в Черменецкий монастырь. В 1908 г. лишен сана, из-за чего не мог жить в Санкт-Петербурге, и ездил с лекциями по стране. С 1908 г. Петров жил в Финляндии, потом в Крыму, много ездил по России с лекциями и проповедями, параллельно активно печатаясь в «Русском слове». Петров эмигрировал в конце 1920 г., когда белые

войска покидали Крым. На пароходе он доплыл до Константинополя, потом попал в лагерь беженцев в Галлиполи, а затем — в Триест. Из Триеста Петров был приглашен правительством Югославии в Белград, где и начался интересующий нас период его жизни и творчества — югославская эмиграция.

В открытке, отправленной Петровым жене в Нарву, читаем: «Зинуля, около 1-го января 1921 г. приехал в Белград нищим, без денег, без белья, в рваных сапогах. 26 янв. 1921 читал по-русски 1-ую лекцию во 2 гимназии. Добыл 300 динар и с того пошел в люди» (Витухновская, 2004: 14). С этого начался новый виток жизни Григория Петрова: теперь он адресовал свои лекции, статьи, книги сербам, болгарам и другим народам принявшего его региона.

Конечно, в эмиграции Петров не мог не размышлять о причинах Октябрьской революции, о победе большевиков, и его мысли развивались в одном ключе с отечественными религиозными философами — например, с Н. А. Бердяевым: Петров считал большевизм следствием болезни души народа, в статье «Корни болезни» назвал его «злокачественной сыпью» (цит. по: Витухновская, 2004: 15) — а как известно, сыпь лишь сигнализирует о серьезном сбое в организме и о необходимости глубокого лечения. Бердяев же в статье «Религиозные основы большевизма» писал, что «большевизм есть русское, национальное явление, это — наша национальная болезнь» (Бердяев, 2007: 598). Даже будучи отчужден от исторической жизни Родины, Петров никогда не покидал ее духовно, посвящая статьи (уже на сербском языке) российской проблематике.

Григорий Петров прожил в эмиграции немногим более четырех лет, которые провел в многочисленных поездках по Югославии (за это время от прочел около полутора тысяч (!) лекций — сначала на русском, потом на сербском языке). Залы, где читались лекции Петрова, по свидетельствам современников, всегда были переполнены. Кроме того, Петров вел активную публицистическую деятельность — в сербских архивах и библиотеках хранятся его многочисленные статьи на сербском языке, среди них — «Руска уметност», «Душа рускога народа», «Црни Мојсије», «Почетак мудрости», «Човек и живот» и мн. др.

Особое внимание стоит обратить на книгу Григория Петрова «Зидари живота» («Созидатели жизни»), которая и сегодня имеет большую популярность — например, в Турции, где в 1920–1930-е гг. она была поистине культовой и одной из самых читаемых. Петров написал ее в 1923 г., а в 1925-м она была переведена на болгарский язык под названием «В страната на белите лилии» («В стране белых лилий»), и именно это название закрепилось в переводах на другие языки. Популярность Григория Петрова вновь росла: Дино Божков, болгарский друг Григория Петрова, вспоминал, что в 1926 г. в стране была создана культурно-общественная группа «Григорий Петров», в уставе которой значилось, что своей задачей она считает распространение и воплощение идей Петрова (в первую оче-

редь, вероятно, идеи созидания жизни, описанные в книге о Финляндии). Книга «В стране белых лилий» переиздавалась в Болгарии 14 раз; в Турции же она была переиздана как минимум 16 раз. В предисловии к одному из изданий говорится, что «В стране белых лилий» — наиболее читаемая в Турции книга на новотурецком языке (Витухновская, 2004: 33). Как сообщила исследователь творчества Петрова М. Г. Витухновская, книга «В стране белых лилий» вновь переиздана в Турции в 2019 г.

Петров описывал «мифическую» Финляндию, модель ее политического, экономического, общественного устройства, процесс создания финнами благополучной страны «на камнях и болотах». В книге немало вымысла, работающего на основную идею Петрова: прославить самозабвенный труд чистых сердцем граждан во благо Родины, показать, что даже в тяжелых климатических, геополитических условиях дух созидания может сотворить чудо и изменить облик страны. Финляндия послужила лишь примером, поводом для вдохновенной мечты Григория Петрова о национальном возрождении и устройстве жизни народа.

Григорий Спиридонович Петров скончался 18 июня 1925 г. в клинике Maison de Sante, недалеко от Парижа, где у него обнаружили раковую опухоль. Прах Петрова был перевезен из Франции в Сербию, а позже вторично перевезен дочерью Мариной Григорьевной в Мюнхен, где и находится по сей день. Сердце проповедника Григория Петрова было обращено к тому народу, среди которого он оказывался и которому служил — русскому, сербскому, болгарскому. Его проповедь о созидании жизни остается важнейшей для всех стран; чаемое Петровым возрождение России как страны труда, учения, воспитания, полноты и устроенности жизни, очевидно, не произошло. Петров не увидел своеобразный советский опыт устроения страны — вполне вероятно, что, вслед за Бердяевым, он мог бы порадоваться за выход из неистовства революционной эпохи разрушений и низвержений; впрочем, мог и отвернуться от «ложного» возрождения. Как бы то ни было, наследие русского эмигранта в Сербии Григория Спиридоновича Петрова останется читаемым, а он — почитаемым.

Литература

Балухатый С. Д. (ред.) (1937) М. Горький и А. Чехов: Переписка, статьи и высказывания. М.: Академия наук СССР. Институт литературы; Л.: Издательство Академии наук СССР.

Бердяев Н. А. (2007) Падение священного русского царства. Публицистика 1914–1922. М.: Астрель.

Витте С. Ю. (1960) Воспоминания. Т. 1. М.: Соцэкгиз.

Витухновская М. Г. (2004) О Григории Петрове // *Петров Г. С.* Финляндия, страна белых лилий. СПб.: Европейский дом. С. 7–17.

Розанов В. В. (1995) Около церковных стен // *Розанов В. В.* Собрание сочинений. Т. 5. М.: Республика.

3. Е. В. Спекторский о русской культуре (белградский период творчества)

Рассмотрение темы белградского периода творчества Е. В. Спекторского необходимо начать с нескольких замечаний относительно деятельности философа до эмиграции. Став в 1913 г. профессором Университета св. Владимира в Киеве, в 1917-м он получил степень доктора в области государственного права в Московском университете, а уже через год, в 1918-м, стал ректором Киевского университета и главой Киевского философского общества. Таким образом, в Белград в 1920 г. Спекторский прибыл уже состоявшимся ученым в области права и социальной философии, что послужило гарантией успешного трудоустройства на новом месте. Образовавшемуся в 1918 г. Королевству Сербов, Хорватов и Словенцев были необходимы грамотные специалисты в области права, а также преподаватели для все более увеличивающегося числа студентов в КСХС (Михальченко, Ткаченко, 2009: 15).

Белградский период творчества Спекторского можно условно разделить на два этапа: с 1920 по 1924 и с 1928 по 1930 гг. Однако несмотря на то, что время пребывания Спекторского в Белграде ограничено двумя временными отрезками, его творческое взаимодействие с Сербией оказалось намного более долгим и значительным. Так, даже во время пребывания в Праге в 1924–1928 гг. некоторые произведения Спекторского печатались в Белграде (например, книга «Начала науки о государстве и обществе»). В 1934 г. он был избран членом-корреспондентом Сербской Королевской академии наук.

В 1920 г. Спекторский поступил на службу в Белградский университет в качестве «гонорарного профессора» на кафедру истории философии права (Там же). Однако он не только занимался преподавательской деятельностью, но и уделял внимание вопросам, связанным с русской культурой, в первую очередь посредством участия в различных общественных организациях русских эмигрантов: «Русская мятица», «Общество русских ученых» и «Русский научный институт». В нынешнем контексте нас главным образом интересует деятельность Спекторского в рамках двух последних организаций.

«Общество русских ученых» было образовано в апреле 1920 г., а уже через месяц Спекторский стал его председателем. Как отмечают С. И. Михальченко и Е. В. Ткаченко в статье, посвященной жизни Спекторского в эмиграции, хотя у данной организации не было сильных рычагов влияния, сам Спекторский «вскоре стал восприниматься как человек, могущий помочь в устройстве судеб преподавателей и студентов» (Там же: 16). «Общество русских ученых» стало важнейшей объединительной организацией для русских эмигрантов в Сербии и служило островком русской культуры за рубежом.

В 1924 г. Спекторский покинул Белград и переехал в Прагу, где в то время проходила «Русская акция», в ходе которой предоставлялась помощь русским эми-

грантам. Однако уже в 1928 г. ситуация в Праге ухудшилась: «Русская акция» стала сворачиваться, а студентов на русском юридическом факультете права, где преподавал Спекторский, становилось все меньше и меньше. И в этом же году Спекторский возвратился в Белград.



Евгений Васильевич Спекторский (1875–1851) — правовед, социальный философ, занимавший руководящие должности в различных университетах

Осмелимся предположить, что поворотом Спекторского к области изучения русской культуры стала публикация в 1925 г. его книги под названием «Христианство и культура», вызвавшей неоднозначную реакцию современников. Например, В. В. Зеньковский назвал ее «малоценной» (Зеньковский, 1999: 527), а Н. О. Лосский (Лосский, 1991: 387) и И. А. Ильин (Ильин, 1993: 292) высоко оценили. Именно после публикации «Христианства и культуры» из-под пера историка и философа права начинают выходить такие труды, как «Св. Владимир и русская культура», «Своеобразие крещения Руси», «Заветы Пушкина» и пр. Все вышеперечисленные тексты так или иначе связанны с Белградским периодом творчества Спекторского.

Кроме того, с возвращением в 1928 г. в Белград Спекторский начал принимать активное участие в создании «Русского научного института», который возглавлял до 1930 г. Деятельность института была направлена на изучение истории России, а также на разработку научных проблем с использованием русских традиций (Михальченко, Ткаченко, 2009: 18). Спекторский лично занимался приглашением И. А. Бунина в качестве лектора в институт, но, к сожалению, сотрудничество не состоялось (Бакунцев, Морозов, 2018: 298–315). В институте также издавался журнал «Записки», в котором публиковались русские ученые-эмигранты.

Интересно также отметить важнейший неопубликованный источник — «Воспоминания», которые представляются необходимыми для изучения творчества Спекторского, в том числе белградского периода. Данная рукопись долгое время считалась утерянной при бегстве Спекторского из Любляны. Однако текст сохранен учеником Спекторского В. Боначем (Михальченко, 2013: 245). Рукопись рассказывает о периоде жизни философа до 1930 г. К сожалению, текст отсутству-

ет в свободном доступе. Однако, обращаясь к некоторым косвенным источникам, мы можем ознакомиться с частичным содержанием мемуаров. Так, в статье С. И. Михальченко «“Воспоминания” Е. В. Спекторского о религиозной жизни южных славян 1920–1930-х годов» приводятся фрагменты, которые затрагивают трудности жизни русских эмигрантов за рубежом, в частности прослеживается проблематика столкновения двух культур: русской и югославской.

Таким образом, оба белградских периода для Спекторского были ознаменованы обращением его творчества к вопросам русской культуры, которые, что примечательно, в более ранних работах так остро и четко не прослеживаются. Причины, вероятно, кроются в живой необходимости преодоления разрыва с Родиной через обращение к тому, что непосредственно имеет с ней самую крепкую и сильную связь, — к культуре.

Литература

Бакунцев А. В., Морозов С. Н. (2018) И. А. Бунин и Е. В. Спекторский: переписка (1928–1933) // Studia Litterarum. Т. 3. № 4.

Зеньковский В. В. (1999) История русской философии. Т. II. М.; Ростов-на-Дону: Феникс.

Ильин И. А. (1993) Основы христианской культуры // *Ильин И. А.* Собр. соч. В 10 тт. М.: Русская книга. Т. 1.

Лосский Н. О. (1991) История русской философии. М.: Советский писатель.

Михальченко С. И. (2013) Неопубликованные «Воспоминания» Е. В. Спекторского как источник по истории русской эмиграции в Чехословакии середины 1920-х гг. // Актуальные проблемы источниковедения: материалы междунар. науч.-практ. конф. к 135-летию со дня рождения В. И. Пичеты. Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова.

Михальченко С. И., Ткаченко Е. В. (2009) Е. В. Спекторский в эмиграции // Славяноведение. № 1.

4. Сознание и тело в свете философской психологии Н. О. Лосского

Николай Онуфриевич Лосский входил в число тех «звезд» русской философии, которые оказались в эмиграции. Он покинул Россию в 1922 г. и поселился в Праге, тогдашней столице Чехословакии. Чехословацкое правительство выделило большую сумму на поддержку русских эмигрантов, и Лосский оказался одним из тех, кто этим воспользовался. И хотя он жил и преподавал в Праге следующие 20 лет жизни, до 1942 г., он довольно часто находился по несколько месяцев в других странах в качестве приглашенного профессора, не говоря уже о менее длительных поездках, связанных с конференциями, съездами ученых и чем-то подобным.

Осенью 1928 г. Лосский впервые (с начала эмиграции) посещает Белград, где в это время работал Съезд русских ученых-эмигрантов. Современный исследователь русской эмиграции Алексей Арсеньев отмечает, что подобные съезды до

Белграда проходили трижды, но только в Белграде съезд перешел от организационных обсуждений к собственно научным: было прочитано более 100 докладов. После съезда Лосский по приглашению Русского научного института остался в Белграде еще на четыре месяца, чтобы прочитать курс «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция». Кроме того, в этот период он возглавлял философское отделение института. Здесь Лосский общается с Е. В. Спекторским, П. Б. Струве и др. Статья «Психология человеческого “я” и психология человеческого тела» напечатана в последнем (17-м) выпуске журнала «Записки русского научного института в Белграде» в 1941 г.



Николай Онуфриевич Лосский (1870–1965) — русский религиозный философ, один из основоположников отечественной ветви интуитивизма

В качестве своеобразного эпиграфа к своему тексту я взял бы слова апостола Павла из Послания к римлянам, выражающие, если можно так сказать, психологическое наблюдение: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я то делаю, но живущий во мне грех» (Рим. 7:19, 20). В указанной статье Лосского как раз интересует напряжение между двумя полюсами внутренней жизни: с одной стороны, осознанной волей, которая накрепко связана с человеческим «я», и, с другой стороны, теми желаниями, побуждениями, которые, возникая без участия нашей воли, противостоят ей и, следовательно, нашему «я». Если первый полюс можно обозначить как «внутреннее “я”», имея в виду сознательную деятельность воли, то второй полюс можно назвать «телесностью», подразумевая под ней отчасти неконтролируемый (т. е. не вызываемый сознательной волей) процесс продуцирования желаний.

Для Лосского психология и психотерапия — это не разные науки, психотерапию он понимает довольно просто — как практическое применение принципов, выработанных на теоретическом базисе психологии. Однако в силу того, что, как мы увидим, концепция психологии Лосского невозможна без его же философской системы, можно говорить о философской психологии.

Цель Лосского — выработать методы общей психотерапии, основанные на его религиозно-философской системе персонализма. Поэтому следует вкратце напом-

нить об основных чертах этой системы. В основе персонализма, разрабатываемого Лосским лежит положение, что весь мир состоит из субстанциальных деятелей и все внешние (т. е. наблюдаемые) процессы — от движения неодушевленных вещей до действий человека — есть проявления этих деятелей. Чтобы понять необычность такого взгляда, можно сравнить его с кантианским воззрением на природу. В самом общем смысле, по Канту, природа есть совокупность явлений, подчиненная строгим законам. То есть условием возможности всякого движения, наблюдаемого во внешнем мире, являются безличные законы (Кант, 1994: 332–333). Для Лосского это не так. Главный принцип его персонализма гласит: если есть действие, есть и деятель как особое существо, чье стремление является определяющим условием действия.

Главная особенность этого учения состоит в том, что оно устраняет различие между органической и неорганической природой. То есть, к примеру, если есть падение камня, то ему предшествуют и его определяют «психоидные стремления каждой частицы камня к массе земли»; если имеет место отторжение от себя какого-либо неприятно пахнущего предмета, то оно есть внешнее проявление психического состояния, называемого отвращением. Сразу скажу, что понятие психоидного в сущности аналогично понятию психического с той разницей, что стремлениями психоидными, по Лосскому, обладают все формы бытия, еще не достигшие уровня личности. «С этой точки зрения, — пишет Лосский, — всякий материальный процесс — *психоматериальный*, или, во всяком случае, *психоидно-материальный*. Психический и психоидный процессы — не пассивная надстройка над материальными процессами, а существенное условие материальных процессов возможного бытия; они его направляют, т. е. определяют его направление, состав, смысл и цель» (Лосский, 1991: 294).

Для нашей темы особенно важна мысль Лосского о необходимости союза между субстанциальными деятелями на уровне существования одной личности в полноте ее реализации. Речь идет о союзе человеческого «я» и тела. Ибо без помощи тела личность, очевидно, не может проявлять себя в физическом мире, она отрезана от него. Как же Лосский понимает тело? Оно есть «совокупность субстанциальных деятелей, вступивших в союз с человеческим ‘‘я” и подчиненных ему», «система союзников нашего ‘‘я”». Речь, разумеется, идет о здоровом состоянии человека. То есть тело для Лосского — не картезианская протяженность, лишенная, в силу своей одномерности, внутренней жизни и подчиненная исключительно механическим законам. Это совокупность существ, имеющих иногда хоть и примитивные, но все же внутренние, психоидные стремления, следствиями которых являются телесные процессы.

По какому принципу Лосский разграничивает эти сферы человеческого существования? К проявлениям «я» можно отнести лишь те виды активности, в которых «я» осознает себя их явным источником. Это могут быть как исключительно

внутренние проявления в виде чувств, мыслей и т. д., так и внешние, т. е. осуществляемые посредством тела. Например, процесс выучивания стихотворения. Внутренние проявления моего «я» — это мои акты внимания, понимания, запоминания при стремлении выучить стихотворение. К внешним же проявлениям моего «я» относится, например, записывание выученного стихотворения.

Совсем иначе воспринимаются такие явления, как, к примеру, зубная или головная боль, жажда, усталость, голод. Не являясь проявлениями моего «я», они воспринимаются как «данные мне», исходящие из тела. К «данным мне» относятся также и определенные стремления, желания и в особенности то, что принято называть страстью. Страсть есть то, что способно полностью подчинять человеческое «я» и порождать поступки. Лосский приводит пример с пьяницей, который борется со своим желанием, смотря на стакан водки, а затем неожиданно для самого себя хватает и выпивает его.

Итак, мы поняли, что нормальное состояние душевной жизни обеспечивается единством человеческого существа, возможным благодаря тому, что множество низших деятелей, составляющих тело, подчиняются такому сравнительно высокому субстанциальному деятелю, как человеческое «я». Соответственно, ненормальные состояния душевной жизни возможны тогда, когда единство нарушается: тело начинает действовать автономно от воли и, следовательно, способно противодействовать ему. Такое «распадение» (телесности и воли) может выражаться в различных психопатологических случаях — от истерии до раздвоения личности.

Как мы видим, в центре психотерапии, как ее понимает Лосский, стоит вопрос: каким образом может осуществляться согласие между «я» (сознанием) и телом? Основное условие душевного и телесного здоровья, по Лосскому, заключается в том, чтобы «не враждовать со своим телом, но и не попадать в подчинение ему» (Лосский 1941: 287). Мы приняли положение, что тело есть совокупность существ, каждое из которых обладает хоть примитивной, но все же собственной волей. Опираясь на это положение, Лосский говорит о крайней непродуктивности такой тактики сознания, которая подразумевает категорические приказания телу. Наше тело совершенно естественно противится категорическим приказам, как им противимся мы сами, если нам кто-то приказывает. Поэтому принцип волевого усилия, в основе которого лежит насильственное стремление подчинить тело целям сознания, часто ведет не к достижению этих целей, а к обратному результату. Поэтому в случаях, когда разногласие между стремлениями «я» и тела ощущается непосредственно, Лосский предлагает обратиться к ресурсам такой внутренней способности, как воображение. Достижение согласия с телом должно происходить не столько посредством прямых приказаний воли, сколько через воображение, рисующее «конкретные увлекательные образы достоинств, которые мы хотим воплотить в своем поведении». «Чтобы не подстрекать тело к свое-

волию, лучше влиять на него не приказанием, а живым представлением о ценной цели: представление всякой объективной положительной ценности переживается субъективно как нечто сопутствуемое моими положительными чувствами, и эти чувства… особенно способны открывать другим существам замеченную нами ценность и пробуждать в них стремление к ней» (Лосский 1941: 291).

Православная этическая традиция присутствует в этой статье как бы между строк. Очевидно, что сама проблема овладения телом и порывами, исходящими от него, предельно важна для христианской аскетики. Лосский пытается показать крайнюю непродуктивность *игнорирования* телесных порывов и эффективность такой установки сознания, которая пытается как бы перенаправить, сублимировать этот порыв для исполнения неких «ценных» целей.

Проблеме ценности Лосский посвятил небольшую, но замечательную книгу «Ценность и бытие». Уверен, соединение положений статьи, о которой я рассказал, с содержанием этой книги (соединение даже предполагается, ибо проблема «ценных» целей, посредством которых происходит переориентировка телесного стремления, в рамках данной статьи не выяснена) может быть плодотворной.

Литература

Лосский Н. О. (1991) История русской философии. М.: Советский писатель.

Лосский Н. О. (1941) Психология человеческого «я» и психология человеческого тела // Записки Русского научного института в Белграде. Вып. 17. С. 265–293.

Кант И. (1994) Критика чистого разума / пер. с нем. Н. О. Лосского. Москва: Мысль.

5. Е. В. Аничков: взгляд на современную русскую поэзию

В начале XX в. в России произошел ряд коренных изменений, которые непосредственно затронули все сферы жизни общества тогда еще имперской России. Как известно, в период революции 1917 г., Гражданской войны и сразу после нее большое количество ученых, философов, писателей, военных и высокообразованных специалистов были вынуждены уехать из страны. Часть русских интеллектуалов была просто выслана на знаменитых «философских пароходах». Одним из вынужденных эмигрантов оказался и Евгений Васильевич Аничков — знаменитый российский филолог, историк литературы и критик. С 1918 г. он жил на территории современной Сербии. А в 1920 г. стал профессором Белградского университета. С октября 1955 г. являлся почетным членом и заместителем председателя Союза русских писателей и журналистов в Югославии. Одна из наиболее известных его работ, «Язычество и Древняя Русь», была написана и издана в 1914 г. еще в Петрограде. Корней Чуковский в «Обзоре литературы за 1911 год» отмечал: «…Аничков пишет всегда “стремглав”, будто

ринувшись в некую бездну, — но это-то в нем и похвально. Его статьи об Уайльде, о Золя, о Верлене кажутся вначале безоглядными какими-то импровизациями, и только потом, вчитавшись, увидишь, как все это обдумано, сколько здесь познаний и какой широчайший захват» (цит. по: Фокин, Князева, 2017).

В данной работе я хотела бы обратиться к труду Аничкова «Новая русская поэзия», написанному уже в период эмиграции и изданному в 1923 г. в Берлине. Можно сказать, что это взгляд со стороны, однако автор внутренне не отдаляется от России, считает себя частью русской культуры.



Евгений Васильевич Аничков — литератор, писатель, мемуарист, преподаватель. 1908 г.

В книге представлен достаточно подробный обзор всей современной прозы по направлениям и представителям. Первая глава посвящена Мережковскому, Минскому, Коневскому, Зинаиде Гиппиус и Александру Добролюбову. Эта глава озаглавлена «Новые веяния». Автор отмечает, что новые течения в искусстве поэзии всегда появляются таинственным путем, ведь «тут нет внешних зрительных особенностей, которые запечатлелись бы, а слуховые — смутны» (Аничков, 1923: 6). Этим определяется сложность работы с поэзией. В конце XIX в. в России было «не до поэзии», все внимание было приковано к Достоевскому. А в 1884 г. были закрыты «Отечественные записки». И в такой исторической ситуации появились два новых поэта: Мережковский и Минский. Они сознательно дистанцировались от предшествующих поэтических традиций, заявляя о себе как о новых поэтах. Аничков писал: «Новые веяния выросли в России из тоскливой пустоты душевной и нежелания заразиться трупным запахом, каким проникнута литература 80-х годов» (Там же: 10). Мережковский и Минский создали почву для появления поистине новых русских поэтов. Отдельно Аничков отмечал Ивана Коневского и Александра Добролюбова, поскольку они были лишены каких-либо литературных знакомств, верили в свои силы и шли собственным путем.

Новая поэзия отличается особой художественной атмосферой, необычным словоупотреблением и «небывало трудными образами». «Новые веяния» по-

степенно стали синонимичны символизму и декадентству. Символизм впоследствии развивался как практически, в стихотворениях «новых» поэтов, так и теоретически. Один из поэтов — Зинаида Гиппиус с ее «Протяжной песней»: это произведение, как считает Аничков, ознаменовало собой возрождение русского поэтического слова.

Так зародилась новая русская поэзия. Еще одна глава, на которой хотелось бы остановиться подробнее, называется «Родное». Она посвящена творчеству Александра Блока и Андрея Белого. Текст начинается очень важными, на мой взгляд, словами: «Так давно повелось в русской литературе, что сначала — чужое или общечеловеческое, западное, наносное, а после — родное» (Там же: 93). То же самое можно отнести и к новой русской поэзии. В начале становления она еще не выражала всю полноту русской души, и лишь в творчестве Блока и Белого можно увидеть то, что характерно только для русского человека — его «родное».

Для творчества Александра Блока, по мнению Аничкова, характерно появление «древнего», исконно русского. Например, в «Незнакомке» поэт описывает «прекрасную даму», и перед нами образ русской женщины, поскольку он пишет:

> И веют древними поверьями
> Ее упругие шелка.

Поверья эти, несомненно, принадлежат культуре Древней Руси. В этом произведении открывается неведомая, народная Россия, которая манит к себе, но все же остается недостижимой. А в творчестве Андрея Белого можно заметить смешение двух начал: «городского — интеллигентского, книжного, западного, и другого — деревенского — крестьянского, знакомого с детских лет» (Там же: 95). Оба — и Белый, и Блок — примкнули к революционной интеллигенции. Аничков называет их «пророками и певцами русской чисто интеллигентской революции» (Там же: 100). Он замечает, что родина для интеллигенции — это в первую очередь народ, а государственный патриотизм был чем-то стыдным, отсталым и в большинстве своем правительственным. Например, во время Русско-японской войны было принято замалчивать или даже отрицать государственный патриотизм, возобладало «пораженчество». Блок и Белый отвергали эту тенденцию, поэтому стали отверженными в литературном мире.

В последней главе, «Футуризм и годы революции», автор говорил о появлении футуризма в России и о его связи со сломом общественного уклада. Для этого художественного течения характерно разложение любых элементов выразительности на составные части. Нужно отметить, что футуризм ярче представлен в живописи, нежели в поэзии. Поэзия футуристов устремилась на ули-

цы, каждый его представитель себя переоценивал и считал «гением». Часть главы посвящена разбору творчества Маяковского. Аничков считает, что Маяковский «поддался соблазну и отдал свою музу на служение новой власти» (Там же: 135).

Автор не хотел принимать того, что произошло в России в 1917 г., и считал случившееся большой трагедией не только для нашей страны, но и для мира в целом. Большевизм, по его мнению, — показатель кризиса всей цивилизации.

В заключение хотелось бы отметить, что в работе «Новая русская поэзия» Евгений Васильевич Аничков показал путь становления той поэзии, которая только начала зарождаться в конце XIX в. Важно также отметить и ощущение причастности автора к русской культуре, в том числе к литературе. В работе не раз встречаются отсылки к творчеству российских классиков.

Можно сделать вывод, что автор не отделяет себя от России и эмоционально переживает случившуюся в нашей стране революционную драму, из-за которой был вынужден покинуть Родину. Он пытается понять, что привело к такому исходу событий и как литература отражала дух времени. Также стоит отметить, что для Аничкова, по крайней мере в этой работе, церковь не играет важной роли, большое внимание привлекает язычество, древние поверья. О православии он не говорит, скорее областью национальной идентичности для него являются культура и традиции Древней Руси. А закончить свою работу мне бы хотелось так же, как Аничков завершил свою, — стихотворением Есенина:

Погасло солнце. Тихо на лужке.
Пастух играет песню на рожке.
Уставясь лбами, слушает табун,
Что им поет вихрастый гамаюн.
А эхо резвое, скользнув по их губам,
Уносит думы их к неведомым лугам
Любя твой день и ночи темноту,
Тебе, о родина, сложил я песню ту.

Литература

Аничков Е. В. (1923) Новая русская поэзия. Берлин: И. П. Ладыжников.

Фокин П. Е., Князева С. П. (2017) Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. В 3-х томах. Т. 1 М.: Пальмира. Электронный ресурс [код доступа]: https://7lafa.com/book.php?id=167291&page=16 (дата обращения: 28 февраля 2020 г.).

6. В. В. Зеньковский как основатель Русского Христианского Студенческого Движения в эмиграции

Василий Васильевич Зеньковский (1881–1962) — значимая фигура в русской эмиграции. Он известен как активный религиозный деятель, богослов, культуролог, педагог и философ. Здесь будет приведен анализ небольшого фрагмента из его «Очерка внутренней моей биографии», а также оценка работы Зеньковского в качестве религиозного деятеля и одного из основателей Русского христианского студенческого движения в эмиграции его коллегами. Необходимо отметить, что движение начиналось с небольших объединений, и духовным наставником белградского кружка стал Василий Васильевич Зеньковский.

С самого детства будущий философ был связан с религией: он писал, что был «религиозным мальчиком», однако увлечение работами Д. И. Писарева привело к тому, что он отошел от веры. Увлечение психологией, определившее дальнейший путь Зеньковского, началось благодаря книге Х. Геффдинга «Очерк опытной психологии». Тогда он всерьез задумался над тем, чтобы стать врачом, но сперва решил погрузиться в естественные науки, поэтому поступил на естественный факультет Киевского университета. Позже Зеньковский перевелся на филологический факультет и по окончании обучения остался в университете для подготовки к профессуре. В то же время он преподавал «Введение в философию» и «Психологию детства» на Женских курсах, позднее занял пост директора Института дошкольного образования. Благодаря пылкому увлечению философией Вл. С. Соловьева Зеньковский смог вновь вернуться в Церковь, а написание религиозно-философских фельетонов сблизило его с С. Н. Булгаковым.

Зеньковский писал в «Очерке внутренней моей биографии» о том, что революция 1917 г. прервала его научные и литературные затеи и ему пришлось покинуть Россию в январе 1920 г. Философ признавался, что судьба складывалась тяжело. В Белграде его считали левым (что, по его мнению, не соответствовало действительности), а интриги коллег препятствовали его трудоустройству. Только благодаря содействию сербского патриарха Димитрия, указавшего на Зеньковского, ему удалось получить место профессора в Белградском университете сразу на двух факультетах: философском и богословском. Так начался долгий и интересный путь великого православного деятеля.

Белградский университет дал возможность не только получить образование русским студентам, но и устроиться на работу профессорам. Обстоятельства сложились таким образом, что период эмиграции совпал с началом деятельности православного богословского факультета, нуждавшегося в преподавателях. Одним из них стал Зеньковский. Работа в университете сблизила его с молодежью, в частности со студентом, выпустившимся из Белградского уни-

верситета, — Николаем Николаевичем Афанасьевым. Они поддерживали теплые отношения на протяжении долгого времени: Зеньковский позже пригласил его на должность в Религиозно-педагогическом кабинете в Париже. Примечательно, что могила Николая Николаевича Афанасьева находится недалеко от могилы Василия Васильевича Зеньковского на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.



Василий Васильевич Зеньковский

Итогом пребывания Зеньковского в Сербии стало написание двух книг: «Психология детства» и по-сербски «Русские мыслители и Европа». Весной 1923 г. Василий Васильевич Зеньковский получил приглашение на Общеэмигрантский педагогический съезд в качестве председателя. После съезда было организовано Педагогическое бюро по делам зарубежной русской школы. Пришло приглашение от Высшего педагогического института в Праге, поэтому Зеньковский принял решение переехать. Однако отъезд не повлиял на работу Движения: в 1923 г. состоялся съезд русских религиозных кружков молодежи из различных стран, в которых находились эмигранты. Событие стало отправной точкой возникновения одного из крупнейших религиозных движений среди русских эмигрантов, важность которого переоценить практически невозможно. На протяжение многих лет движение занималось изданием журнала «Вестник РХД», распространявшегося на территории не только Европы, но и в США. Один из номеров посвящен уходу Зеньковского, в котором ученые, религиозные деятели, философы высоко оценивали его работу. Несмотря на раскол Движения в 1935 г. оно продолжало существовать и после Второй мировой войны.

Сближение с молодежью Зеньковский считал одним из главнейших событий пребывания в Сербии. Следствием его оказалось основание Русского студенческого христианского движения. Издатель И. В. Морозов указывал, что именно Зеньковский был основателем, вдохновителем и руководителем этого движения. Но философ Л. А. Зандер писал, что называть его создателем — неверно, поскольку движение возникло стихийно, само собой на местах. Дело в том,

что молодые эмигранты стремились объединяться, потому что хотели обрести единство для преодоления трудностей — тяжести изгнания, скудного материального состояния, эмоционального потрясения после революции, Гражданской войны и эмиграции. Они нуждались в духовном пути и фундаменте, который позволил бы увидеть перспективу будущего.

Зандер отмечал: несмотря на то, что Зеньковского нельзя назвать основателем РСХД, он внес огромный вклад в его развитие, благодаря чему движение получило общеэмигрантский размах. Его заслуга заключалась в том, что ему удалось найти общий язык с молодежью и установить некоторую «идеологию», правила, структуру, которая служила прочным фундаментом для развития. Зандер вспоминал, что в частном разговоре отец Сергий Булгаков сказал, что на собраниях Движения появлялось то, что можно назвать духом объединения людей, ищущих правды. Зеньковский позволял Движению оставаться живым образованием, не заковывал его в жесткие рамки иерархии и структуры. Он не навязывал своего мнения, а искал общего пути: если он влиял на движение, то и движение влияло на него.

Создание движения невероятно вдохновляло Зеньковского, о чем упоминали авторы в выпуске «Вестника РХД» за 1962 г., многие статьи которого посвящены уходу философа. Зеньковский считал, что его задача — учить молодежь ощущать единство. Эта формула звучит как ответ на политическое потрясение, заставившее Зеньковского, как и многих других мыслителей, покинуть Родину. Выкрики демократических лозунгов, открытое голосование привели к тому, что люди перестали вслушиваться в «лучшие мысли».

MATERIALS ON THE ROUND TABLE OF INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL "RUSSIAN EMIGRATION IN SERBIA. PORTRAITS AND DESTINIES" ORTHODOXY: PRESERVING OF THE NATIONAL AND CULTURAL IDENTITY OF RUSSIAN EMIGRATION

Daniil Baboshin
Moscow State University named by M. V. Lomonosov, student.
E-mail: baboshin2014@yandex.ru (1)

Anna Makarova
Moscow State University named by M.V. Lomonosov, postgraduate student.
E-mail: anna.fed.mak@gmail.com (2)

Ekaterina Podobuyeva
Higher School of Economics National Research University, student.
E-mail: katrin-arabesk@yandex.ru (3)

Kirill Martemyanov
Higher School of Economics National Research University, student.
E-mail: martemyanov1996@bk.ru (4)

Polina Blinnikova
Higher School of Economics National Research University, student.
E-mail: polinablinnikova@mail.ru (5)

Maria Mironenko
Higher School of Economics National Research University, student (6)

Following the work of the Summer School two group projects were presented by its participants: "Russian Emigration — Consequence of the Civil War" and "Orthodoxy: Preserving the National and Cultural Identity of Russian Emigration." The task for participants of round table on the second topic was to explore the fates of six Russian emigrants contributed significantly to the culture of Serbia.

Keywords: P. A. Kulakovsky, G. S. Petrov, E. V. Spectorsky, N. O. Lossky, E. V. Anichkov, V. V. Zenkovsky.

References

Anichkov E. V. (1923) Novaja russkaja pojezija [New Russian Poetry]. Berlin: I. P. Ladyzhnikov (In Russian).

Baluhatyj S. D. (edit.) (1937) M. Gor'kij i A. Chehov: Perepiska, stat'i i vyskazyvanija [M. Gorky and A. Chekhov: Correspondence, Articles and Statements]. Moscow: Akademija nauk SSSR. Institut literatury; L.: Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR (In Russian).

Bakuncev A. V., Morozov S. N. (2018) I. A. Bunin i E. V. Spektorskiĭ: perepiska (1928–1933) [Ivan Bunin and Evgeny Spektorsky: Correspondence (1928–1933)], *Studia Litterarum*, 2018, Vol. 3, no 4, pp. 298–315 (In Russian). DOI: 10.22455/2500-4247-2018-3-4-298-315.

Berdjaev N. A. (2007) Padenie svjashhennogo russkogo carstva. Publicistika 1914–1922 [The Fall of the Sacred Russian Kingdom. Journalism 1914–1922]. Moscow: Astrel' (In Russian).

Danchenko S. I. (2014) K voprosu o publicisticheskoj dejatel'nosti P. A. Kulakovskogo [To the Question of the Journalistic Activity of P. A. Kulakovsky], *Slavjane i Rossija* [Slavs and Russia], no 1, pp. 184–186 (In Russian).

Danchenko S. I. (1989) Russko-serbskie obshhestvennye svjazi. 70–80-e gody XIX v. [Russian-Serbian Public Relations. 70–80s of the XIX Century]. Moscow: Nauka (In Russian).

Fokin P. E., Knjazeva S. P. (2017) Serebrjanyj vek. Portretnaja galereja kul'turnyh geroev rubezha XIX–XX vekov. V 3-h tomah. T. 1 [Silver Age. Portrait gallery of cultural heroes of the turn of the XIX–XX centuries], 3 Vols, Vol. 1. Available at: https://7lafa.com/book.php?id=167291&page=16 (accessed 28 February 2020) (In Russian).

Kant I. (1994) Kritika chistogo razuma [Criticism of Pure Reason] (transl. by N. O. Losskij). Moscow: Mysl' (In Russian).

Losskij N. O. (1991) Istorija russkoj filosofii [History of Russian Philosophy]. Moscow: Sovetskij pisatel' (In Russian).

Losskij N. O. (1941) Psihologija chelovecheskogo «ja» i psihologija chelovecheskogo tela [Psychology of the human "I" and the psychology of the human body], *Zapiski Russkogo nauchnogo instituta v Belgrade [Notes of the Russian Scientific Institute in Belgrade]*, Iss. 17, pp. 265–293 (In Russian).

Mihal'chenko S. I. (2013) Neopublikovannye «Vospominanija» E. V. Spektorskogo kak istochnik po istorii russkoj jemigracii v Chehoslovakii serediny 1920-h gg. [Unpublished "Memoirs" of E. V. Spektorsky as a source on the history of Russian emigration in Czechoslovakia in the mid-1920s.], *Aktual'nye problemy istochnikovedenija: materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konf. k 135-letiju so dnja rozhdenija V. I. Pichety [Actual problems of source study: international materials. scientific-practical conf. on the occasion of the 135th birthday of V. I. Picheta]*, Vitebsk: VGU imeni P. M. Masherova, pp. 242–245 (In Russian).

Mihal'chenko S. I., Tkachenko E. V. (2009) E. V. Spektorskij v jemigracii [E. V. Spektersky in exile], Slavjanovedenie [Slavic studies], no 1, pp. 14–24 (In Russian).

Rozanov V. V. (1995) Narodnye chtenija v Peterburge [Readings in St. Petersburg], *Sobranie sochinenij. Okolo cerkovnyh sten [Collected works. Near church walls]*, Moscow: Respublika, pp. 303–308 (In Russian).

Shemjakin A. L. (2013) Moskovskij professor o nezavisimoj Serbii. Platon Andreevich Kulakovskij v Belgrade (1878–1882) [Moscow professor of independent Serbia. Platon Andreevich Kulakovsky in Belgrade (1878–1882)], *Rodina [Homeland]*, no 12, pp. 47–52 (In Russian).

Shemjakin A. L. (compl.) (2014) Russkie o Serbii i serbah. Tom II (arhivnye svidetel'stva) [Russians about Serbia and Serbs. Volume II (archival evidence)], Moscow: Indrik (In Russian).

Vitte S. Ju. (1960) Vospominanija [Memories], 3 Vols, Vol. 1. Moscow: Socjekgiz (In Russian).

Vituhnovskaja M. G. (2004) O Grigorii Petrove [About Grigory Petrov], Petrov G. S. Finljandija, strana belyh lilij [Petrov G.S. Finland, Country of White Lilies]. St. Petersburg: Evropejskij dom. Pp. 7–17 (In Russian).

Zen'kovskij V. V. (1999) Istorija russkoj filosofii [History of Russian Philosophy], 2 Vols, Vol. 2. Moscow: AST; Rostov-na-Donu: Feniks (In Russian).

ФИЛОСОФИЯ И ЛИТЕРАТУРА

Филипп Грбич
Писатель (Сербия)
E-mail: filip.grbic@gmail.com

Говоря о взаимоотношениях философии и литературы, необходимо прежде всего проанализировать интереснейшие черты национального характера сербов, для которых философия есть нечто скорее из области негативного душевного опыта, которым не стоит делиться с окружающими, чем свободной жизни разума. Зато сербы искони были и сейчас остаются народом поэтов. В России это не так, здесь писатели всегда предавались абстрактным размышлениям, что придавало их произведениям дополнительную глубину.

Ключевые слова: философия, литература, Момчило Баягич, менталитет, античная философская традиция, Гераклит, Платон, Сократ.

DOI 10.17323/2658-5413-2020-3-1-90-95

Когда Марина Сергеевна Киселева пригласила меня принять участие в программе Летней школы в Сербии, она великодушно дала мне возможность самостоятельно выбрать тему и формат изложения, которые меня устраивают. Она обещала, что мы не будем заниматься ничем другим, как философствованием. Учитывая, что каждый раз, философствуя, я по-детски теряю голову от радости, хочу прежде всего поблагодарить Марину Сергеевну и Владимира Карловича Кантора за эту возможность.

Мы договорились, что будем говорить о взаимодействии философии и литературы. Я хочу вкратце изложить собственный опыт, приобретенный в ходе изучения данной области. Философствование всегда возможно только в форме разговора, но это, конечно, не означает, что каждый разговор можно считать философским.

Кстати, в сербском языке в обиходе имя существительное «философия» и глагол «философствовать» приобрели исключительно негативное, опальное значение. Человек, у которого есть проблема, жизненная или профессиональная, излагая ее во всей сложности, немедленно сталкивается с возражениями типа «не философствуй» или «брось ты эту философию». Недоверие по отношению к разуму, рефлексии, теоретическому мышлению здесь включено в повседневный язык. Наш известный поп-певец Момчило Баягич в одной из песенок, конечно, неосознанно, скицирует происхождение сербского нефилософского менталите-

та. Он поет: «Эту страну создавали воины и поэты». И действительно, история Сербии может вдохновлять невероятными воинскими подвигами, так же как и сербские поэты могут очаровывать слушателя мелодией и глубиной произведений, но вряд ли найдутся зрелые, смелые и оригинальные в области идей произведения сербских философов. Горе тому, кто философствует в стране воинов и поэтов.

Но вернемся к теме. Философия и литература — две великие словесные культуры нашей цивилизации. Возникает вопрос, является ли философия особым родом литературы. Общеизвестно, что литература, точнее, поэзия, предшествует философии, она исторически древнее. Разве первые исследователи природы, которые на берегах Древней Ионии занимались философией еще до того, как возникло это слово, не излагали свои мысли в произведениях, имевших в основном форму поэм? Остается фактом, что первая европейская строго дедуктивная метафизическая система, разработанная Парменидом, составлена в стихотворной форме — в гекзаметрах. Конечно, есть исключения. Гераклит со своими криптическими, недосягаемыми для понимания прозаическими фрагментами, наверное, самое важное среди них. Дело дополнительно осложняется подъемом софистики в V в. до н. э., когда начинается эпоха преподавателей, риторов, ораторов и публичных выступлений. В отличие от поэтов, которые произносят свои стихи, софисты начали говорить речи и соревноваться между собой. Литература получила еще один жанр — ораторский.

Платон первым постарался определить принципиальную разницу между поэзией, риторикой и философией. Поэты творят во власти божественного вдохновения, но ничего не знают о том, о чем поют. Софисты говорят убедительно и красноречиво, будучи во власти сребролюбия и честолюбия, но они также ничего не знают о предмете своих рассуждений. Философы не поют и не говорят речи, они разговаривают: одни задают вопросы, другие на них отвечают. Нет взаимного соревнования (соперничества) и трений, они руководствуются только жаждой познания.

Этот общий и довольно грубый исторический экскурс необходим для подхода к поставленному в самом начале вопросу о первенстве между философией и литературой и их возможном единстве. По Платону, который в 25 лет сжег свои трагедии, написанные в юности, после того как присутствовал при разговоре с Сократом, философия и поэзия — два разных начинания: одному принадлежит знание с вдохновением, а другому вдохновение без знания. Правда, теоретическая вражда, питаемая к поэзии, не мешала Платону писать диалоги, по жанру — драматические тексты, в которых наряду с понятийными средствами он использовал и образные сопоставления, и метафоры, и сюжеты мифов. Вопреки категорически выраженной позиции в диалоге «Софист» Платон как автор три-

дцати сохранившихся диалогов не считал, что *повествование* мешает философу в попытке объявить истину о действительности. Обращается ли Платон к *прозе* тогда, когда чисто понятийными средствами не может донести истины, которые для него важны?

Проводить строгую границу между философией и литературой — неблагодарное занятие, в особенности для российской интеллигенции. Русские писатели традиционно являются смелыми философами-визионерами. Нет сомнения, что русская литература имела огромное влияние на западную философию. Ницше в «Сумерках идолов» признавался, что Достоевский — единственный психолог, у которого он мог чему-то научиться. Менее известно, что у Мартина Хайдеггера на рабочем столе стояли две фотографии: Паскаля и Достоевского. Одним из первых решений Хайдеггера как руководителя кафедры философии во Фрейбургском университете была закупка нового издания собрания сочинений Достоевского. Сохранилось его письмо к жене, в котором он говорит, что Достоевский раскрыл ему смысл родины, лугов и полей. Каждый, кто читал Хайдегера, знает, какое большое значение имеют родина, луга и поля для образа мысли этого немецкого философа.

Я склонен думать, что философы и писатели стоят перед одним и тем же заданием — раскрыть действительность как она есть. И те и другие в этом деле должны преодолевать сопротивление языка. Грубо говоря, философы к познанию добираются при помощи понятий, а писатели — при помощи повествования. То, что рассказ иногда может раскрыть, и то, что понятия не могут, отлично понимал Хайдеггер, один из самых кропотливых и дисциплинированных современных философов. В его знаменитой книге «Бытие и время» изложение редко опирается на литературные основы. Однако, говоря о том, что в обществе, включая самых близких людей, принято скрывать от человека близость его смерти, Хайдеггер выражает признательность графу Льву Толстому за то, что в повести «Смерть Ивана Ильича» он этот феномен раскрыл. Мы знаем, что речь идет о литературном произведении, в котором главный герой был духовно мертв и ожил, только когда смертельно заболел, и прозрел, осознав свою конечность. Опора на прозу Толстого делает хайдеггеровский анализ убедительнее.

У Хайдеггера можно найти множество примеров, подкрепляющих «партнерство» между философией и литературой. Я приведу только один. В лекциях 1927 г., опубликованных под названием «Основные проблемы феноменологии», Хайдеггер привел цитату в объеме нескольких страниц из «Записок Мальте Лауридса Бригге» Райнера Марии Рильке. В произведении герой повествует, как смотрел на стену разрушенного дома, констатируя, что «бедную жизнь этих комнат нельзя было затоптать». По Хайдеггеру, в рильковском описании этой стены и живучей жизни, которая за нее держится, раскрывается наш, специфически

человеческий, *мир*. Благодаря прозе мы видим смерть и мир в их полноте. А это не маленькие вещи. Для Хайдеггера Толстой, Рильке (что уж и говорить о Гёльдерлине!) — иногда более важные собеседники, чем Кант, Дильтей и другие «чистые» философы.

Философия и литература, следовательно, пронизывали друг друга в Античности и продолжают пронизывать друг друга в современной философии. Границы между ними нестабильные, колеблющиеся. В случае некоторых важных произведений даже нет уверенности, идет ли речь о художественном или философском произведении. Такие произведения, как «Заратустра» Ницше или «Повторение» Кьеркегора, — это философия или литература? На белградской кафедре философии доценты спешили убедить нас, студентов, что речь идет о «поющей литературе» (даже беллетристике), несущественной для философии, которую они неосознанно превращают в служанку современной технической науки.

Теперь, наметив сходство и различие между философией и литературой, можем ли мы, как делают многие, сказать, что человек одинаково плодотворно может заниматься сочинением философских очерков, романов, поэм и драматических произведений? Так сказать, в соответствии с настроением и личными предпочтениями? Кажется привлекательным, но я искренне отвечу: у меня не получается. В своих романах я пишу о людях, неспособных жить в соответствии с собственными идеалами. Чем привлекательнее идеалы, тем неспособнее мои герои. Такой подход читательская публика и критика в моем случае встретили положительно. Мои несостоявшиеся философы получили престижные литературные премии. В этом я вижу много иронии. Лучшие прозаические произведения посвящены *неудавшимся* жизням. Например, герои Достоевского — несостоявшиеся дворяне и несостоявшиеся студенты (русская литература вообще полна неудачников). У Мишеля Уэльбека это — неудавшиеся ученые и несостоявшиеся чиновники. Герои Шекспира — правители и принцы-неудачники. Современный норвежский писатель Кнаусгор недавно более чем на трех тысячах страниц показал нам жизнь несостоявшегося писателя. А сколько в литературе неудачных браков... Если бы люди на самом деле были разумными и терпеливыми существами, живущими в добром согласии с обстоятельствами собственной жизни, — литературе нечем было бы заниматься, авторы остались бы без сюжетов, сочиняли бы исключительно гимны Богу. Эпиктет говорил ученикам, что персонажи трагедий все без исключения шуты и слепые.

Сопротивление судьбе с философской точки зрения — необъяснимо глупый поступок. Но проза продолжит разрастаться, пока есть разрыв и напряженность между действительностью и внутренним представлением, созданным человеком о действительности. Что бы люди ни делали в раю, романы они точно писать не будут.

Волей-неволей человек воспринимает облик того, о чем пишет. Тот, кто исследует неудавшиеся жизни, и сам становится неудавшимся. Постоянно у меня в уме звучит антитеза, о которой в книге «О назначении человека» писал Николай Бердяев. В этом произведении он противопоставляет этику *творчества* этике *самосовершенствования*. Творческая личность, художник оставляет без внимания свое внутреннее существо, чтобы довести до совершенства свое произведение. Бердяев, как и многие философы эпохи романтизма, обожествляет фигуру художника. Творцу позволяется духовное и моральное опустошение, поскольку он осуществляет самые глубокие указания природы. С другой стороны, этика самосовершенствования делает человека бесплодным. Номинально христианин, Бердяев в этой книге заметно ближе к Ницше, чем к святому Павлу.

Для человека, который оказался философом по природному устройству, а не только по профессии или должности, написать роман — своего рода авантюра. Ведь для него философия не только теоретическая дисциплина, каталог интересных взглядов на человека, мир и Бога. Между образом мышления и образом жизни в философии существует недостаточно исследованная взаимозависимость. Цицерон использовал выражение *cultura animi,* в переводе «культивирование души». Античность оставила нам богатое и недооцененное наследие «культуры самости». Благодаря Пьеру Адо и Мишелю Фуко в последнее время общественность все больше интересуется этой важной областью. Подъем рациональной теологии на Западе ниспроверг требование к самосовершенствованию индивида и ввел вместо этого субъект, для которого его собственная структура субъективности достаточна для познания всего, даже существования Бога. Уже не ставятся никакие предтеоретические требования типа достижения добродетели, откровения или преображения души. Западная схоластика нечаянно проложила дорогу современной науке.

Сегодня считается, что для успеха в философии достаточен академический тренинг, сводящийся к овладению умением аргументировать. Выбираете проблемную область, получаете некоторый небольшой участок в университетском владении, ментор дает вам кучу литературы, обучает вас способу составления библиографической записи и... — я что-то упустил? Осталось, что добавить?.. Вас уже приглашают на научные конференции. Если вы будете настойчивы и, по возможности, циничны, вам предстоит успешная карьера. Для меня такая ситуация в университете оказалась противной, увела в литературу. Таким образом неудавшийся философ стал писателем. Может быть, если мы опять встретимся, вы увидите несостоявшегося писателя, который вернулся в философию. Кто знает.

PHILOSOPHY AND LITERATURE

Philip Grbeach
E-mail: filip.grbic@gmail.com

Talking about the relationship between philosophy and literature, first of all it is necessary to analyze the most interesting features of the national character of the Serbs, for whom philosophy is more of an area of negative spiritual experience that should not be shared with others than a free life of reason. However, the Serbs were originally and still remain the people of poets. In Russia, this is not so; here, writers have always indulged in abstract thoughts, which has given their works additional depth.

Keywords: philosophy, literature, Momchilo Bayagich, mentality, ancient philosophical tradition, Heraclitus, Plato, Socrates.

МЫСЛИ ДЛЯ БЕСПОКОЙНОГО КОНТИНЕНТА: НЕКОТОРЫЕ РОССИЙСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НА ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Филип Буббайер
Сотрудник Тринити-колледжа в Кембридже (1982–1986),
магистр по изучению российских регионов
в Джорджтаунском университете, Вашингтон,
округ Колумбия (1986–1988), доктор философии в Департаменте
правительства Лондонской школы экономики (1989–1992),
сотрудник Вестминстерского университета,
Кентского университета (с 1995).
Кентский университет, Кентербери, Кент, Англия, CT2 7NZ.
E-mail: p.c.boobbyer@kent.ac.uk

Современный кризис европейских ценностей и фундаментальный вопрос «Что значит быть человеком?» — проблемные сюжеты, которые автор предлагает осмыслить путем обращения к российскому интеллектуальному наследию. Что могут сказать российские мыслители, отвечая на общечеловеческие вопросы? В исследовании автор обращается к творчеству А. И. Солженицына, акцентируя внимание на его идеях личной моральной ответственности каждого индивида перед обществом и необходимости говорить правду, несмотря на советский официоз. «Моральная ответственность» стала настоящим диссидентским нарративом, который автор противопоставляет этике режима и безразличию советского населения. В статье обсуждаются и идеи таких мыслителей, как С. Л. Франк и Ф. М. Достоевский, в контексте поиска новых подходов в осмыслении «человеческого» вообще. В данном контексте рассматривается и русское монашество. По мнению автора, именно русская философия способна помочь Западу в переосмыслении его религиозного наследия и понимании природы человека (так же как и самой России). В заключение он отмечает острую необходимость в религиозном, христианском гуманизме, способном стать соединяющим основанием для общечеловеческого взаимодействия.

Ключевые слова: современные русские мыслители, русские диссиденты, имидж России, либеральный консерватизм, русское монашество, неспокойный дух, христианский гуманизм, моральная ответственность, сознание.

DOI 10.17323/2658-5413-2020-3-1-96-105

Europe's current challenges are as much about ideology and culture as politics and economics. The founders of the European project, and its current representatives, in different ways have promoted the idea that the European vision should be about values. But increasingly people are divided about what those values should be. One of the underlying questions is: What does it mean to be human? Opinion in the West today is a strange mix of contradictory tendencies. It combines, on the one hand, the idea that human behaviour is best explained in terms of people's economic or biological drives, with, on the other, the view that everything is invented or in flux, and thus that there is no real core to our humanity at all. There is a restless spirit in Europe, arising from an uncertainty about what the continent stands for. In this context, the export of Europe's values to the rest of the world can in practice simply mean the passing on of its divisions.

In discussing some of these issues, this article draws on inspiration from Russia. This is, perhaps, a surprise. After all, Russia's current image in the world is poor when it comes to human rights, law and ethics—and not without reason. It is also associated, in the Western mind at least, with the promotion of 'fake news' and the manipulation of information. But there is much more to Russia than violence and lies. Indeed, there is a rich current of thinking about human character and personality which is worthy of attention and appreciation. So, in these difficult times, when the world is throwing up so much for us to worry about, let us turn for a moment to what certain Russian thinkers have had to say about the nature of our common humanity.

Russia's tradition of fake news flourished in the communist era. But a robust culture of opposition to it also emerged in the 1960s and 1970s. Arguably the most eloquent defender of truth-telling was the novelist, Alexander Solzhenitsyn (1918–2008). Solzhenitsyn had been confined in the labour camps at the end of the Stalin period. But in the decades following his release he made a number of telling statements on the subject of 'truth'. One of these was the speech he wrote on receiving the Nobel Prize for Literature in 1970, 'One Word of Truth'. At the conclusion of this, he declared: 'The simple step of a simple ordinary man is not to support the lie. Let the lie come into the world, but not through me.' (Solzhenitsyn, 1970: 27). A few years later, he put out a programmatic statement entitled, 'Live Not by Lies' (1974), echoing the same theme — which was released into samizdat just prior to his being exiled to the West. Here he challenged people to stop being deceitful; in his mind, non-participation in often subtle practices of lying and dishonest compromise was crucial for personal and social liberation (Solzhenitsyn, 2009: 556–560). One of the reasons for the success of his writings — for they were influential both in the USSR and Eastern Europe — was that they gave people a picture of how they could begin to speak out against oppression; anyone could start somewhere. The underlying message was straightforward: each individual had a responsibility for society, which could not be passed on to others; there was a moral core to human nature.

Solzhenitsyn's ethics grew out of some spiritual experiences he had in the camps, which later found expression in his book, *The Gulag Archipelago* (1973–1974). Here, in a well-known passage, he criticized the idea that morality could be reduced to class or nation, arguing that it was rooted in personal moral choice: 'It was granted me to carry away from my prison years on my bent back, this essential experience: *how* a human being becomes evil and *how* good. <...> Gradually it was disclosed to me that the line separating good and evil passes not through states, nor between classes, nor between political parties either — but right through every human heart — and through all human hearts. This line shifts. Inside us, it oscillates with the years. And even within hearts overwhelmed by evil, one small bridgehead of good is retained. And even in the best of all hearts, there remains <...> an un-uprooted small corner of evil.' Once again, we see here an emphasis on the human being as having a moral nature. It should also be noted that Solzhenitsyn believed that it was only through suffering that he had arrived at this kind of self-knowledge. '*Bless you, prison*, for having been my life,' he declared (Solzhenitsyn, 1975: 615–616). Not all of his contemporaries agreed!

Another example of this moral discourse came in the aftermath of the Soviet invasion of Czechoslovakia, when seven activists went out onto Moscow's Red Square to protest. At the subsequent trial, one of the demonstrators, Larisa Bogoraz, stated: 'Staying silent would have meant lying. <...> Had I not done this, I would have considered myself responsible for these actions of the government.' (Gorbanevskaya, 1972: 220). Another Russian dissident, Vladimir Bukovsky — who spent twelve years in prisons before his exile to the West in 1976 — made a similar point in his memoirs. In his mind, refusing to submit to the lies promoted by the regime enabled people to overcome divisions in their own personalities; it presupposed a 'small corner of freedom' in each individual, a 'consciousness of personal responsibility'. (Bukovsky, 1978: 191). Another symptom of this belief in moral responsibility was the widespread use of the term 'conscience' in late Soviet Russia. For some, conscience was regarded as a key component of human personality. For example, Stalin's daughter, Svetlana Alliluyeva — a somewhat troubled person who lived much of her adult life abroad — once wrote: 'All I have is my conscience. And my conscience tells me that before pointing out the mote in my neighbour's eye I must first see the beam in my own. <...> We are all responsible for everything that happened.' (Alliluyeva, 1967: 245).

The Soviet regime was always ambivalent about the nature of morality. After setting its face against traditional Christian values, it found itself promoting an ethic combining moralism and relativism. The moral system it created was ungrounded and unstable. The Bolsheviks preached a 'proletarian morality', which was very strict when the reputation of the state was involved: under Stalin, public confession for political misdemeanours was a regular tool of social control; and people had to be constantly alert to changes in the political discourse to ensure they did not step out of line. Yet the morality was also relativistic; the regime created a narrative that allowed people to

distance themselves from their actions and blame circumstances for any wrongdoing they committed. The memoirist, Nadezhda Mandelstam, traced this back to the 1920s; at that time, she said, people came to consider the idea of moral resistance 'old-fashioned': 'One could not, it was argued, hold out against the inevitable.' (Mandelstam, 1976: 191). Another approach was to explain wrong-doing as a kind of mistake. One reform-minded literary critic, Yuri Karyakin, who became prominent during the 1980s, made this point when he said: 'One of the spiritual crimes of communism was that it wholly replaced the concepts of "sin" and "vice" with the concepts of "mistakes" and "deficiencies"' (Boobbyer, 1993: 357). It was in this context that the dissident narrative about personal moral responsibility was so powerful; it challenged the ethics of the regime and the moral passivity of the population.

The thought of the Russian dissidents did not come from nowhere. One book informing the ideas of Solzhenitsyn and some of his peers was the famous volume *Landmarks* (1909). This was a collection of essays fiercely critical of the revolutionary intelligentsia. In a general sense, it accused the revolutionary movement of being dangerously impatient, of failing to realise that political change could only be successful if it was rooted in a broader cultural or ethical change of mind. Contributors included the religious philosophers Nikolai Berdyaev and Sergei Bulgakov. Another — who features in this article — was the philosopher Semyon Frank (1877–1950). Jewish by background, Frank converted to Orthodoxy in 1912. He was deported from Soviet Russia in late 1922 (as was Berdyaev), after which he lived successively in Germany, France and Britain. In emigration he produced a series of philosophical texts combining neo-Platonic, Christian and existential themes. His essay in *Landmarks,* 'The Ethic of Nihilism,' was a warning against the sectarian character of the revolutionary tradition (Frank, 1977: 155–184).

Throughout his writings, Frank stressed the importance of balance. This was reflected in his political outlook, which he defined as 'liberal conservatism'. He was wary of certain forms of Anglo-Saxon liberalism, believing they lacked a coherent view of human nature. In his social philosophy, he stressed the interconnectedness of persons in a way that echoed the writings of the Jewish theologian Martin Buber. He opposed the idea that human beings should be considered autonomous entities isolated from one another; he thought it was only through awareness of others that self-awareness could emerge. Relationships were grounded in what he described as 'dual-unities': 'The essential feature of the 'I-Thou' relation consists precisely in the fact that, in spite of a strictly maintained, never disappearing separateness, the relation is dominated by a certain genuinely inner unity. This is essentially a dual-unity. <...> The 'I-Thou' relation as 'I-Thou' being is revealed as a primordial form of being.' He also stressed the connection between individuals and collectives: no 'I' could exist alone, without emerging from and at the same time forming a 'We' (Frank, 1983: 143, 148). The soul, he once said elsewhere, was a 'peculiar kind of infinity'; he thought that in some spiritual way all human beings were connected with each other

and part of a larger unity (Frank, 1965: 24). Frank thus sought to avoid the traps of either individualism or collectivism, by stressing the interconnection of people.

Frank also believed that human beings had a vocation in the world. In emigration, addressing a generation of young Russians who had lost touch with their homeland, he encouraged people to think of their lives as having purpose and meaning: 'From our early years our souls are troubled by dreams of goodness and truth, of the spiritual significance and meaning of our lives, and these dreams compel us to think we have been born not 'for nothing', that we are called to realize something great and decisive in the world and thus to actualize ourselves as well.' (Frank, 2010: 1). To this audience, he emphasized that although the world appeared chaotic and meaninglessness, the very ability to see this was indicative of the reality of some higher system of meaning. He stated that to declare life meaningless contained an internal logical contradiction: 'It contradicts a simple self-evident fact: the fact that *we understand and rationally affirm this meaninglessness*. The fact that we understand and rationally affirm it means that not everything in the world is meaningless: there at least exists meaningful knowledge. <...> If the world and life were a total chaos of blind, meaningless forces, there could not exist in them a being who would be conscious of this and could express it.' (Ibid.: 51). Frank thus declared that human life had a larger meaning and purpose; each person had a vocation to fulfil in the world.

There are plenty of other insights in Frank's thought that have a resonance today. During the dark days of the Second World War — when he himself was forced into hiding in the Isère region of France (because of his Jewish ancestry) — he wrote that the true victor in the war would be the person who first started to forgive. It was a telling example of how, in his mind, elements of Christian teaching could be relevant to public life. In this he pointed to the link between politics and spirituality. He also tried to combine idealism and realism; he was always hostile to parties with abstract, utopian agendas. In the 1940s, he called for an inspired, Christian form of realism, which had something in common with the emerging school of Christian realism associated with the US theologian Reinhold Niebuhr. He also encouraged Christian believers to seek alliances with secular parties or tendencies, especially where there was a common moral commitment. In this sense, he stressed the importance of unity and warned against excessive sectarianism (Boobbyer, 2016: 45, 51–52, 55, 57). In our polarized world, this certainly seems relevant. Interestingly, one of the strengths of the Soviet dissident movement was that it was able to bring people together around certain common moral commitments, even when they had significant political differences; for example, it brought together activists of both religious and secular persuasions in defense of human rights.

As his life advanced, Frank became increasingly drawn to mystical spirituality. This is another area where Russia has a heritage relevant to our times. For the purposes of this article, a figure who represents this well is the monk Theophan the Recluse (1815–1894). Theophan played an important role in the revival of Russian monasticism in the

19th century. This was partly through his involvement in the translation into Russian of an anthology of the writings of the Church Fathers known as the *Philokalia*. He was also associated with the so-called 'Jesus Prayer', a short devotional prayer popularized in the late 19th century by a book called *The Way of a Pilgrim*. This text tells the story of a man inspired by St Paul's injunction that people should pray continuously. In response to this, he repeatedly addresses Christ with the words: 'Lord Jesus Christ, have mercy on me.' (French, trans.: 1986: 10). The intention of the prayer was to enable people to ground their mental activity in 'the heart'; the aim was to facilitate a movement of the heart towards God arising not just from the mind but from the whole person. Theophan's own statements on prayer reflected this aspiration. Prayer, he said, was to be an activity of 'the mind in the heart': 'The principal thing is to stand before the Lord with the mind in the heart' (Kadloubovsky, Palmer, trans., 1966: 80, 100). This emphasis on the 'heart', which was shared by other Russian churchmen and thinkers, echoed the writings of some of the Desert Fathers whose thinking had helped to shape the Eastern Orthodox mind (Mickelson, 2017: 108). It is a reminder that the Orthodox tradition is very much part of Europe, and leaves an imprint in many areas of modern thought.

Here it is worth noting an area of common interest between Russian monasticism and Russian dissent. Soviet dissidents and Russian monks were alike in seeking for ways of facilitating deeper levels of personal integration. Yet there were differences of emphasis. People like Solzhenitsyn, Bogoraz and Bukovsky thought moral action and truth-telling were means through which people could overcome splits in their personalities; personal wholeness was the result of people taking responsibility for society and making the right moral choices. Theophan's approach was more focussed on the interior life; he thought wholeness and integration required some kind of inner, spiritual endeavor.

Why are silence, contemplation and prayer important? It is because they act as a corrective to a Western rationalism that tends to over-stress the capacity of the mind to unlock all of the world's secrets — a mindset that has been central to the Western outlook since Descartes, and which leads to a kind of gnostic tendency. This is surely one of the causes of our restlessness: on its own, the mind is not grounded anywhere; it never finishes its work. The current cult of mindfulness is a reaction to a one-sided rationalism. This is not to downplay reason, but to stress that for it to achieve its purposes it needs to act in harmony with the whole person. It seems obvious that a person's capacity to think clearly is often undermined by an ill-intentioned will. The message coming from Russian religious thought is that there is a spiritual dimension to human nature, which we need to take account of. The Russian philosopher Vladimir Solovyev (1853–1900) was particularly influential in spreading this notion; he used the term 'Godmanhood' or 'Divine humanity' to express the idea that there was a divine spark or potential in every person (Solovyov, 1995).

Unfortunately, the modern Western mind has lost confidence in its religious heritage, even while it is tolerant of spirituality in various forms. In this suspicion of religion there

is a fear that faith must inevitably stifle or restrict personality. But, if the human person has a spiritual nature, then our loss of faith may be one of the causes of our unquiet spirit. It seems that people are hungry for deeper forms of meaning, but lack signposts about where to find them. We need to rediscover that far from restricting personality, our religious heritage offers vital insights into the nature of personhood. Frank thought that Christianity was a religion of personality; indeed, he thought that the very idea of personality was a discovery of Christianity, tracing it back to St Augustine (Frank, 1946: 140). He was also familiar with Augustine's famous statement in *Confessions* that the human heart is restless until it rests in God (Frank, 2010: 58). His contemporary, the Orthodox priest Father Serafim Batyukov (1880–1942), tried to express the uniqueness of each person's identity and vocation in a metaphor about birds: 'Every bird has its own flight. An eagle flies in the clouds, while the nightingale sits on the branch, but each of them glorifies God.' (Василевская, 2001: 101).

An emphasis on the individual can surely be combined with a sense that humanity is a unity. It may indeed be that our current anxieties arise simply because our lives are too self-centered; taking responsibility for the world's needs could offer us a pathway to sanity. The importance of mutual responsibility, so much a feature of the dissident movement, was well-expressed by Fyodor Dostoevsky (1821–1881). Dostoevsky was a regular visitor to the influential monastery, Optina Pustyn, and some of the ideas of the Optina monks found expression in his work. Father Zosima, the spiritual hero of his novel *The Brothers Karamazov*, who was modelled on one of the Optina monks, declares: 'Each one of us is beyond all question responsible for all men and all things on earth, not only because of the general transgressions of the world, but each one individually for all men and every single man on this earth.' (Dostoevsky, 1958: 190). It is a powerful statement about the interconnectedness of the human family. Dostoevsky's ideas were sometimes contradictory; at times, he promoted an exaggerated form of nationalism, but here we see the more universal side of his thought. A similar breadth of perspective was also evident in a famous speech Dostoevsky gave about Alexander Pushkin in 1880 (Dostoevsky, 1960: 31-94). Clearly, Frank's thought also contained a universal element. Intriguingly, he once suggested that the essence of Christianity was only accessible to the 'collective experience of mankind' (Frank, 1946: 124) — a statement suggesting that humanity as a whole (past and present) has a kind of personality.

So Russia has something to offer the world, which is a challenge to fake news, violence, restless hurry and exaggerated rationalism. It has resources that could help its neighbours rather than frighten them — and which could provide the basis for a sounder politics of its own. These include ideas about how to tell the truth in difficult situations, and the importance of moral responsibility; insights into how individuals and communities are dependent on each other; reflections on human diversity and vocation; thoughts on the connection between spirituality and politics; encouragement to

forgive; and perspectives on prayer and personal integration. One of the reasons why the West survived the Cold War was that it was able to maintain some level of ideological unity. But its cohesiveness is being increasingly undermined by cultural divisions. What is needed is a kind of Christian humanism to bridge and integrate our sometimes contradictory aspirations. Frank himself, in *Landmarks*, called for a turn to religious humanism (Frank, 1977: 184). That challenge is still relevant.

Литература

Василевская В. Я. (2001) Катакомбы XX века. Воспоминания. М.: Фонд имени Александжра Меня.

Alliluyeva S. (1967) Twenty Letters to a Friend, trans. P. Johnson, London.

Boobbyer P. C. (2016) A Russian Version of Christian Realism: Spiritual Wisdom and Politics in the Thought of S. L. Frank (1877–1950), *The International History Review,* 38:1, pp. 45–65, DOI: 10.1080/07075332.2015.1005114.

Boobbyer P. C. (1993) The Moral Lessons of Soviet History: The Experience of Opposition to Evil, *Religion, State and Society*, Iss. 3–4, pp. 355–361. DOI: 10.1080/09637499308431609.

Bukovsky V. (1978) To Build a Castle, trans. M. Scammell, London.

Dostoevsky F. (1958) The Brothers Karamazov, Vol. 1, trans. D. Magarshack, London.

Dostoevsky F. (1960) 'Pushkin Speech', *The Dream of a Queer Fellow and The Pushkin Speech*, trans. S. Koteliansky and J. Middleton Murry, London.

Frank S. L. (1946) God with Us, trans. N. Duddington, London.

Frank S. L. (2010) The Meaning of Life, trans B. Jakim, Grand Rapids, MI.

Frank S. L. (1965), Reality and Man, trans. N. Duddington, London.

Frank S. L. (1977) The Ethic of Nihilism: A Characterization of the Russian Intelligentsia's Moral Outlook, *Landmarks: A Collection of Essays on the Russian Intelligentsia*, B. Shragin and A. Todd (eds), trans. M. Schwarz, New York.

Frank S. L. (1983) The Unknowable: An Ontological Introduction to the Philosophy of Religion, trans. B. Jakim, Athens, Ohio.

French R. M. (trans) (1986) The Way of a Pilgrim, London.

Gorbanevskaya N. (1972) Red Square at Noon, trans. A. Lieven, London.

Kadloubovsky E., Palmer E.M. (1966) Igumen Chariton of Valamo (comp.), The Art of Prayer: An Orthodox Anthology, trans. E. Kadloubovsky and E.M. Palmer, London.

Mandelstam N. (1976) Hope Abandoned, trans. M. Hayward, London.

Mickelson P. (2017) Beyond the Monastery Walls: The Ascetic Revolution in Russian Orthodox Thought 1814–1914, Madison, WI.

Solovyov V. (1995) Lectures on Divine Humanity, trans. B. Jakim, Hudson, NY.

Solzhenitsyn A. (2009) Live Not by Lies! *The Solzhenitsyn Reader: New and Essential Writings 1947–2005*, E. E. Erickson and D. J. Mahoney (ed.), Wilmington, DE.

Solzhenitsyn A. (1970), 'One Word of Truth': The Nobel Speech on Literature, London.

Solzhenitsyn A. (1975) The Gulag Archipelago, Vol 2, trans. T. P. Whitney, London.

THOUGHTS FOR A RESTLESS CONTINENT: SOME RUSSIAN PERSPECTIVES ON OUR COMMON HUMANITY

Philip Boobbyer
MA in Russian Areas Studies at Georgetown University, Washington DC (1986–88), PhD in the Department of Government at the London School of Economics (1989–1992). Appointments at the University of Westminster and the LSE, University of Kent (since 1995), Reader in Modern European History. University of Kent, Canterbury, Kent, England, CT2 7NZ.
E-mail: p.c.boobbyer@kent.ac.uk

What does it mean to be human? This is a question about which Europeans today are divided. In this article the author seeks to conceptualize this issue with reference to Russia's intellectual heritage. What do Russian thinkers say about the nature of our common humanity? The paper turns initially to the work of Alexander Solzhenitsyn, focusing on his ideas about moral responsibility and truth-telling. The author then discusses the moral thinking of some of the Russian dissidents, contrasting it with the ethics of the Soviet regime and the moral passivity of the population in the Soviet era. The paper goes on to explore the ideas of such thinkers as S. L. Frank and Fyodor Dostoevsky in the context of searching for new approaches to understanding our common humanity. Russian monasticism is also considered. According to the author, there are resources in Russian philosophy and spirituality which could enable the West to rediscover its religious heritage and understand human nature more deeply—as well as helping Russia itself. In conclusion, he calls for a religious, Christian humanism to help bring unity to our troubled world.

Keywords: Modern Russian thinkers, Russian dissidents, Russia's image, liberal conservatism, Russian monasticism, unquiet spirit, Christian humanism, moral responsibility, conscience.

References

Alliluyeva S. (1967) Twenty Letters to a Friend, trans. P. Johnson, London.

Boobbyer P. C. (2016) A Russian Version of Christian Realism: Spiritual Wisdom and Politics in the Thought of S. L. Frank (1877–1950), *The International History Review,* 38:1, pp. 45–65, DOI: 10.1080/07075332.2015.1005114.

Boobbyer P. C. (1993) The Moral Lessons of Soviet History: The Experience of Opposition to Evil, *Religion, State and Society*, Iss. 3–4, pp. 355–361. DOI: 10.1080/09637499308431609.

Bukovsky V. (1978) To Build a Castle, trans. M. Scammell, London.

Dostoevsky F. M. (1958) The Brothers Karamazov, Vol. 1, trans. D. Magarshack, London.

Dostoevsky F. M. (1960) 'Pushkin Speech', *The Dream of a Queer Fellow and The Pushkin Speech*, trans. S. Koteliansky and J. Middleton Murry, London.

Frank S. L. (1946) God with Us, trans. N. Duddington, London.

Frank S. L. (2010) The Meaning of Life, trans B. Jakim, Grand Rapids, MI.

Frank S. L. (1965), Reality and Man, trans. N. Duddington, London.

Frank S. L. (1977) The Ethic of Nihilism: A Characterization of the Russian Intelligentsia's Moral Outlook, *Landmarks: A Collection of Essays on the Russian Intelligentsia*, B. Shragin and A. Todd (eds), trans. M. Schwarz, New York.

Frank S. L. (1983) The Unknowable: An Ontological Introduction to the Philosophy of Religion, trans. B. Jakim, Athens, Ohio.

French R. M. (trans.) (1986) The Way of a Pilgrim, London.

Gorbanevskaya N. (1972) Red Square at Noon, trans. A. Lieven, London.

Kadloubovsky E., Palmer E. M. (1966) Igumen Chariton of Valamo (comp.), The Art of Prayer: An Orthodox Anthology, trans. E. Kadloubovsky and E.M. Palmer, London.

Mandelstam N. (1976) Hope Abandoned, trans. M. Hayward, London.

Mickelson P. (2017) Beyond the Monastery Walls: The Ascetic Revolution in Russian Orthodox Thought 1814–1914, Madison, WI.

Solovyov V. (1995) Lectures on Divine Humanity, trans. B. Jakim, Hudson, NY.

Solzhenitsyn A. (2009) Live Not by Lies! *The Solzhenitsyn Reader: New and Essential Writings 1947–2005*, E. E. Erickson and D. J. Mahoney (ed.), Wilmington, DE.

Solzhenitsyn A. (1970), 'One Word of Truth': The Nobel Speech on Literature, London.

Solzhenitsyn A. (1975) The Gulag Archipelago, Vol 2, trans. T. P. Whitney, London.

Vasilevskaja V. Ja. (2001) Katakomby XX veka. Vospominanija [Catacombs of the 20th century. Memories]. Moscow: Fond imeni Aleksandzhra Menja.

ОТ НЕПОСТИЖИМОГО К ПОЗНАНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ: ЗАМЕТКИ С. Л. ФРАНКА НА ПОЛЯХ КНИГИ Л. БИНСВАНГЕРА[1]

Татьяна Николаевна Резвых
Кандидат философских наук,
доцент кафедры новых технологий в гуманитарном обучении
Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного университета.
115184, Москва, Новокузнецкая улица, 23Б.
E-mail: hamster-70@mail.ru

Геннадий Евгеньевич Аляев
Доктор философских наук, профессор кафедры философии и педагогики
Национального технического университета «Днепровская политехника».
Украина, 49005, Днепр, пр. Дмитра Яворницкого, 19.
E-mail: gealyaev@gmail.com

Диалог русского философа Семена Людвиговича Франка (1877–1950) и швейцарского психиатра и психолога Людвига Бинсвангера (1881–1966) развернулся на страницах их переписки, а также получил своеобразное отражение в заметках Франка на полях книги Бинсвангера «Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins» («Основные формы и познание человеческого присутствия», 1942). Также показано, что и в самой упомянутой монографии отразилось существенное влияние идей русского философа на швейцарского психолога, хотя определенное расхождение между ними сохранилось. Особое внимание уделено месту М. Хайдеггера как своеобразного «контрагента» в этом диалоге, частью которого стали маргиналии Франка.

Ключевые слова: Семен Франк, Людвиг Бинсвангер, Мартин Хайдеггер, Непостижимое, дазайн-анализ, присутствие, непосредственное самобытие.

DOI 10.17323/2658-5413-2020-3-1-106-120

В начале лета 1942 г. в Цюрихе вышла основная работа известного швейцарского психиатра и психолога Людвига Бинсвангера «Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins» («Основные формы и познание человеческого при-

[1] Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-011-00918 А «Философский диалог России и Европы в эпистолярном наследии С. Л. Франка и Л. Бинсвангера: исследование, перевод, публикация» (организация финансирования — ПСТГУ).

сутствия»). Один экземпляр автор немедленно отправил в местечко Ле Лаванду на южном побережье Франции, находившемся тогда под контролем режима Виши. На книге — дарственная надпись: «Seinem Freund und Vorbild Simon Frank. Vom Verf<asser>. Juni 42» («Своему другу и образцу Семену Франку. От автора. Июнь 1942»)[1]. 28 июня С. Л. Франк сообщил о получении: «Дорогой друг, наконец-то — Ваша книга, а вместе с ней еще и такая приятная и почетная надпись! Уже сам внешний вид очень прекрасен — печать, бумага, переплет — и даже размер импонирует» (S. Frank an L. Binswanger 28.06.1942)[2]. Конечно, интересовал Франка в первую очередь не внешний вид. Еще в предыдущем письме он писал: «Я с бóльшим нетерпением ожидаю Вашу книгу, чем посылку Colis[3], потому что к голоду я уже привык и, напротив, имею большой аппетит к духовной пище, которую я с уверенностью ожидаю от Вашей книги» (S. Frank an L. Binswanger 19.06.1942). Судя по маргиналиям, книга была очень внимательно прочитана адресатом, и Франк не ошибся в ожидании изысканной духовной пищи. При этом сам текст Бинсвангера содержал многочисленные упоминания Франка и отсылки к его философии — иными словами, мы имеем здесь своеобразную перекличку двух авторов на страницах одной книги. Эта перекличка является важным дополнением к переписке двух мыслителей, которая представляет собой уникальный памятник русско-европейского диалога средины XX в.

Знакомство и начало переписки Бинсвангера и Франка в конце 1934 г. совпали по времени с замыслом Бинсвангера переработать свою давнюю обобщающую работу «Введение в проблемы общей психологии» («Einführung in die Probleme der allgemeinen Psychologie», 1922). В ней психология рассматривалась как наука о личности, синтезирующая естественно-научное *понятие* человека и связанное с ценностью и историей конкретно-индивидуальное его *понимание*. Поначалу Бинсвангер полагал, что нужно лишь переиздать «Введение», хотя уже знал, что будущая книга будет «отличаться от первого издания особенно шагом от Я к Мы» (L. Binswanger an S. Frank 28.11.1934). В итоге к 1941 г. был написан новый, семисотстраничный труд, который и вышел в 1942 г. Переписка с Франком, как и текст книги, и маргиналии Франка на его экземпляре, позволяет утверждать: за эти годы швейцарский психолог испытал сильное влияние личности

[1] Дарственный экземпляр книги сохранился в библиотеке С. Л. Франка и был передан нам для изучения его внуком — отцом Петром Скорером (Эксетер, Великобритания), за что мы выражаем ему сердечную благодарность.

[2] Здесь и далее цитаты из переписки Франка с Бинсвангером, хранящейся в архиве Тюбингенского университета (Universitätsarchiv Tübingen), даются в переводе с немецкого А. С. Цыганкова и В. В. Янцена; маргиналии Франка и цитаты из книги Бинсвангера — в переводе с немецкого Т. Н. Резвых; термины М. Хайдеггера и цитаты Хайдеггера у Бинсвангера (в том числе термин Dasein в названии книги) — в переводе В. В. Бибихина.

[3] «Le Colis Susse» — швейцарская благотворительная организация, через которую Бинсвангер пытался пересылать Франку продуктовые посылки.

и идей русского философа, хотя при этом их исходные философские позиции все-таки оставались различными.

В своем opus magnum Бинсвангер поставил задачу построения философской антропологии — учения о бытии человека в его основных формах. Книга «Основные формы…» появилась, по утверждению автора, прежде всего под впечатлением открытий «Бытия и времени» (Binswanger, 1942: 16). Хотя Хайдеггер фактически похоронил антропологию (наряду с теологией и психологией) как «забывшую» вопрос о бытии, для выполнения задачи обоснования своей антропологии Бинсвангер использует именно понятия его онтологии. В старых формах антропологии, может быть, и забыт вопрос о бытии, считает Бинсвангер, однако новая, «онтологическая антропология» вновь поставит и решит его. Используя «экзистенцию», «трансценденцию» и «присутствие» как синонимы, он выбирает в качестве основного термин «присутствие» (Dasein). Именно в нем, по мнению Бинсвангера, содержится указание на основную черту человеческого бытия — экстатичный характер, трансцендирование, спрашивание или разомкнутость (Erschlossenheit). «Выражение "*вот*" имеет в виду эту сущностную разомкнутость. Через нее это сущее (присутствие) в одном целом с бытием-вот мира есть "вот" для самого себя», — цитирует Бинсвангер Хайдеггера (Binswanger, 1942: 34; см.: Хайдеггер, 2003: 157). Сущностная способность трансцендирования и есть основная черта присутствия. Но если так, присутствие не может определяться как «всегда мое» (Jemeinigkeit) (Хайдеггер, 2003: 60–61).

Как выразился Бинсвангер в письме к Франку от 7 июля 1942 г., он считал «свою книгу "противовесом" к "раздуванию" единичного существования, которое мы наблюдаем в экзистенциальной философии и теологии» (L. Binswanger an S. Frank 7.07.1942). Способы отношения присутствия к себе самому и к миру, раскрытые Хайдеггером, суть только модусы *сингулярности* и *плюральности*, которые должны быть дополнены еще одним модусом присутствия — отношением к Другому, или *дуальностью*. Дазайн-аналитика Бинсвангера рассматривает основание человеческого бытия как принципиально *дуальное*, или *эротическое* (Binswanger, 1942: 639). Поэтому присутствие определяется Бинсвангером как «бытие друг с другом» (Miteinandersein) Меня и Тебя, «мыйность» (Wirheit), «встреча» (Begegnung) или «любовь». Дуальный модус является у Бинсвангера «основным антропологическим феноменом» присутствия, но Франк в одном из писем отмечал, что этот модус присутствия скорее должен был бы венчать «систему разомкнутости»: «Любовь в Вашем ("эротическом") смысле представляется мне скорее высшим цветением, чем корнем бытия» (S. Frank an L. Binswanger 12.07.1942).

Проблематика Другого была включена Бинсвангером еще в работу 1922 г., в которой он понимал психические болезни как нарушения коммуникации. Однако тогда открытость Другого виделась ему как данность в рамках особого ин-

тенционального акта или психического феномена. В «Основных формах…» Бинсвангер снова хочет непредвзято исследовать феномены человеческого бытия, как они являются, однако концепция интенциональности теперь кажется Бинсвангеру недостаточной. Он характеризует интенциональность, во-первых, как только созерцание (теорию), а во-вторых, как *одностороннюю* направленность на Другого.

Акцентирование Бинсвангером своей задачи как антропологического исследования было обусловлено стремлением дистанцироваться от *онтологии* и даже вообще от философии, связанной для автора с метафизикой, означавшей изначальное набрасывание определенного, заранее заданного «пра-феномена» человека, навязывание его мифического образа или идеи (Binswanger, 1942: 626). Тем не менее, несмотря на заявления, что философия, а еще больше теология только «затемняют» человеческое бытие, Бинсвангер привлекает для обоснования антропологии и Платона, и Плотина, и Августина, и немецких мистиков от Майстера Экхарта до Франца Баадера. Бытие любви описывается Бинсвангером как единство «трансценденции» и «откровения» бытия, лежащего за пределами «мира». И хотя Бинсвангер подчеркивает, что это «за пределами» есть только человеческое бытие, он все же опирается не только на дазайн-анализ Хайдеггера, но и на неоплатоническую и христианскую мистику.

Дуальный модус присутствия основан на возможности «познания присутствия» (Daseinerkenntnis). Присутствие в дуальном модусе не может предстоять мне предметно, а познается путем любви. Познание присутствия описывается Бинсвангером как воображение всеобщего Ты, или «Ты-вообще» (Du-überhaupt) в каждом конкретном Ты. Возникновение любви, превращение двух людей в любящих Бинсвангер описывает при помощи гетевского понятия «метаморфоза», или «изменения формы» (Gestaltwandel), найдя наиболее точный образ в стихотворении Гете «Die Metamorphose der Pflanzen» («Метаморфоза растений», 1798). Познание присутствия совпадает с возникновением, развитием любви и с самой любовью. Познание присутствия совпадает с «превращением» (Verwandlung) Я и Ты в любящих. Любовь всегда «воображает», т. е. видит в любимом высшее, идеальное, следовательно, видит присутствие как таковое. Любимый (или любимая) Ты совпадает для любящего с Абсолютом, тогда как для философского познания все конкретное развивается и вытекает из Абсолюта, является его моментом. Это бытие раскрывается как непостижимая тайна, как «знание незнания» (Wissen vom Nichtwissen) (Binswanger, 1942: 576). Бинсвангер не раз вспоминает плотиновский образ познания как экстатического восхождения души к Единому, при котором достигается тождество созерцающего, созерцаемого и созерцания, души и Единого.

Задача психологии — соединить познание любви с научным познанием, т. е. научно (при помощи понятий, суждений, умозаключений и теорий) представить

познание любви. Обоснование такой возможности Бинсвангер находит в теории познания Франка, детально показывающей, как предметное знание опирается на интуицию всеединства. Этому обоснованию посвящен первый параграф второй главы второй части «Основных форм…» — «К гносеологии психологического познания». Вслед за Франком, который разделял предметное и живое знание, Бинсвангер различает предметное, или рациональное познание (gegenständliche Erkenntnis) и познание присутствия (Daseinerkenntnis), или психологическое. Познание Другого «с какой-то точки зрения» — это принятие его не за того, кто он на самом деле есть, захватывание в качестве добычи, присвоение, использование. Такое познание неизбежно связано с «подручностью» (Zuhandenheit) вещей или людей. Предметное познание Бинсвангер описывает как познание расчлененных «определенностей» (Bestimmtheit). В нем бытие разделяется на субъект и объект, мышление и мыслимое, и оба становятся разновидностями «предметной действительности» (gegenständliche Wirklichkeit). Как и у Франка, у Бинсвангера оно становится возможным только на основе целостности, в качестве которой у Франка выступает «первооснова», сверхбытийственное непостижимое, а у Бинсвангера — дуальный модус бытия. Как и Франк, Бинсвангер мыслит это познание как взаимное откровение, взаимное изменение Меня и Тебя.

В воспоминаниях о Франке Бинсвангер назвал его одним из своих учителей в философии (Бинсвангер, 1954: 27). Они обменивались текстами с самого начала переписки. Особое впечатление на Бинсвангера произвела статья Франка «“Я” и “Мы” (К анализу соборности)» (Frank, 1929), где он обнаружил близкие ему «глубоко радостные прозрения о единстве “Я” и “Ты” в любящем “Мы”» (Бинсвангер, 1954: 25). Читал он и другие немецкие статьи Франка: «Русское мировоззрение», «Познание и бытие», «О метафизике души», «Абсолютное», «Кризис гуманизма», а осенью 1937 г. — французский перевод «Предмета знания» (Frank, 1937). Детально познакомившись с идеей различения предметного познания и интуиции всеединства, Бинсвангер сделал вывод, что русская философия преодолела Декарта и пришла к онтологизму еще до Н. Гартмана и М. Хайдеггера (Бинсвангер, 1954: 26). Читая «Предмет знания», Бинсвангер признавался в письме к Франку 22 сентября 1937 г.: «Ваша точка зрения мне не только очень близка, но совершенно особенно важна для второй части моей книги, поскольку противоположность между любящим и понятийным пониманием все-таки очень сходна, если не та же самая, как и между Вашим интуитивным пониманием всеединого и connaissance notionnelle» (L. Binswanger an S. Frank 22.09.1937[)].

Между тем сам Франк к марту 1937 г. закончил уже вторую немецкую версию «Непостижимого» («Unergründliche») (см.: S. Frank an L. Binswanger 13.03.1937). В попытках издать ее принимал участие и Бинсвангер, которому Франк посвятил книгу (подробнее об истории написания и попытках издания немецкого текста

«Непостижимого» см.: Цыганков, Оболевич, 2018: 301–307). Получив очередной отказ от австрийского издательства «Anton Pustet», 19 июля 1938 г. Франк писал: «Не спросив Вашего разрешения, я позволил себе попросить издателя выслать рукопись Вам. Надеюсь, что Вам не доставит неудобств, если она до лучших времен останется на хранении в каком-либо углу Вашего рабочего кабинета или бюро. Может быть, в какой-то момент Вы бросите взгляд на одну из глав. Тогда у меня будет по крайней мере один компетентный читатель» (S. Frank an L. Binswanger 19.07.1938). Уже через месяц Бинсвангер сообщал, что «дочитал книгу до конца, с большим восхищением ее построением и всем развитием основной мысли и с великой пользой для самого себя» (L. Binswanger an S. Frank 27.08.1938). К этому времени первая часть его собственной книги, посвященная онтологии, была уже в основном закончена, однако ко второй — гносеологической — он только собирался приступать. 27 октября 1938 г. он писал Франку: «Я сейчас дошел до четвертой и, вероятно, последней большой главы "О сущности психологического познания"[1], которую мне хотелось бы разработать как диалектическое единство любви и заботы, а значит, бесконечности и детерминированности, тотальности и конкретности и т. д. Именно Вы в состоянии оценить, что это совсем не легкая задача. И именно Вы хорошо поймете, если я скажу, что, с одной стороны, при этом моим крестным отцом будет Гегель, с другой же, Плотин и Семен Франк» (L. Binswanger an S. Frank 27.10.1938). Нет сомнений, что если на онтологию Бинсвангера повлияли более ранние работы Франка, то написание гносеологической части книги происходило под непосредственным впечатлением от «Unergründliche». В своей книге Бинсвангер не забыл отметить, что он «очень благодарен еще неопубликованному сочинению этого автора, озаглавленному "Непостижимое"» (Binswanger, 1942: 482).

В свою очередь, и Франк сразу же прочел посланные ему «Основные формы». 28 июня 1942 г. он писал другу: «От тщеславия, которого достает и философам, я сперва пролистал страницы, где Вы меня упоминаете. Когда Вы на странице 571 в одном предложении обращаетесь к философу Семену Франку, то я полностью — в отличие от Семена Франка — солидарен с Вами. Потому как, слава Богу, я не являюсь немецким строителем системы, которому препятствует его достоинство тайного советника признать что-либо, направленное против его системы или школы. Моей системе (в "Connaissance et l'être"[2]) уже почти 30 лет и, естественно, она уже частично преодолена: я многому научился и — говоря коротко — перешел от точки зрения Веданты к христианско-персоналистической» (S. Frank an L. Binswanger 28.06.1942). Франк имеет в виду слова Бинсвангера:

[1] В итоге она разрослась во вторую часть книги под названием «Vom Wesen der Daseinserkenntnis», состоящую из двух глав.

[2] Имеется в виду французский перевод книги Франка «Предмет знания» (1915), вышедший в 1937 г.

«От Абсолютного как металогического, т. е. лежащего позади всякой логической возможности определенности, следовательно, от чисто мета*логического* основания познания, что должно быть сказано *в противоположность* Семену Франку, не ведет никакой путь к Ты; ибо Ты *есть* только как любимая или любимый, как жена, сын, дочь, отец, мать, как — равный — друг или "превосходящий" гений» (Binswanger, 1942: 571). Бинсвангер не признает «непостижимого» как особой реальности и считает, что только присутствие (в дуальной форме «мыйности») может быть той непостижимой тайной, на почве которой рождается предметное (научное) познание. «Эротический» характер дуального модуса бытия означает, что Бинсвангер под любовью понимает земную любовь.

Заметки Франка на полях opus magnum Бинсвангера отражают критическое отношение русского философа к Хайдеггеру. Если для Бинсвангера понятие присутствия действительно выражает экстатичность человеческого бытия, то в понимании Франка Dasein — это «бытие человека как оно предстоит и есть для него самого», а поэтому у Хайдеггера, как он считает, «идея человека как существа трансцендирующего, выходящего за свои пределы — из христианства — отвергается» (Франк, 2017: 136). Восклицательным знаком на полях «Основных форм…» Франк отметил место, где Бинсвангер говорит, что присутствие в качестве любви — это бытие за пределами мира, некое «Сверх», «трансцендирующая разомкнутость» (Binswanger, 1942: 100).

Франк предпочел бы, чтобы Бинсвангер вовсе не пользовался хайдеггеровской терминологией: «Для прояснения интуиции любви Вы прорываетесь — и заставляете читателя прорываться вместе с Вами — через темные заросли хайдеггеровской ориентации и его терминологии, созданной им с большой смелостью и точностью из его ситуации — чуждости, изолированности, сомнения, — которая, однако, как мне кажется, несколько подчиняет Ваше воззрение. Я бы предпочел говорить с Вами о сущности любви без обременительного посредничества Хайдеггера» (S. Frank an L. Binswanger 28.06.1942). Поэтому Франк ставит вопросительный знак в том месте, где Бинсвангер утверждает, что Хайдеггер своей «заботой» впервые поставил во главу угла не созерцание, а действие. Об этом же в письме от 12 июля 1942 г.: «…хайдеггеровское толкование, к которому Вы примыкаете и согласно которому "теория" есть не что иное, как осадок заботы, занятие с "имеющимся под рукой" (mit "Zuhandenem"), звучит для меня подозрительно "прагматично" и "эволюционистски"» (S. Frank an L. Binswanger 12.07.1942).

Место «заботы» в аналитике Бинсвангера двойственно. Присутствие в качестве «мыйности» или «встречи» обладает особой структурой временности, ее время временится иначе, чем время «заботы». Забота есть «вперед-себя» (Sichvorweg), постоянное искание чего-то, стремление и хлопоты о чем-то, присутствие в заботе раскрывается как конечное, временное. Если любовь ведет себя как забота,

т. е. заботится о своем будущем, она «копает свою собственную могилу» (Binswanger, 1942: 96). Любящее бытие не обусловлено никакой ситуацией, никакими обстоятельствами. «Любовь находится в мире и сохраняется в мире (озабочения (Besorgen))» (Binswanger, 1942: 70), но не относится к миру. С другой стороны, это не значит, что любовь «витает в облаках» «над миром»; она пребывает и за пределами мира, и в мире, помнит о мире и освящает его собой. Любовь насквозь пронизывает заботу для того, чтобы сохраниться в собственном качестве (Binswanger, 1942: 266–267). Бинсвангер отвергает не саму «заботу», а лишь превращение любви в заботу, выведение присутствия из вечности любящей встречи в конечные формы заботы, при котором длительность и полнота любви распадаются на конкретные ситуации, а бытие Мы — на «самость-люди» (Man-selbst) и «самость-я» (Ich-selbst). Одним словом, забота у Бинсвангера существует на почве любви, а любовь нередко осуществляется через заботу; забота связана с временным, конечным «бытием-в-мире», любовь — с вечным бытием за пределами мира. Близкое понимание заботы мы находим в «Непостижимом», где Франк характеризует «земное время» как «изменчивость, возникновение и уничтожение, зыбкость и неустойчивость — *“поток”* времени. Этому соответствует вечное *внутреннее* состояние этого рода бытия — “беспокойство”, “забота”, “хлопотливость”» (Франк, 1990: 538). Забота относится к временному, греховному миру. Поэтому и отмечает Франк «nota bene» против слов Бинсвангера: «На основании онтологического взаимного указания разомкнутости, забегания, экзистенциально сущностной способности быть целым, совести, вины и смерти смог Хайдеггер объяснить “присутствие в качестве заботы”, или просто “заботу”, в которой одинаково изначально скрыты смерть и вина» (Binswanger, 1942: 238). Франк солидарен с Бинсвангером и в том, что «любовь никак нельзя понимать или полностью выводить из страха», напротив, «страх нужно понимать из выброшенности (Zurückgeworfensein) присутствия из любящей бытийной достоверности и бытийной связанности в нужду и героизм экзистенции» (Binswanger, 1942: 640).

Пометки Франка обнаруживают перекличку с Бинсвангером в отношении к таким экзистенциалам, как «страх» (Angst) и «жуткое» (Unheimliche), понимаемым Хайдеггером как исходные феномены бытия-в-мире. Так, «жуть» у Хайдеггера — это присутствие, которое ориентируется на «толки», выкорчевано из бытия, отсечено от корней. Бинсвангер остроумно противопоставляет unheimliche («зловещий», «жуткий») и heimliche («скрытый», «сокровенный», «тайный»), и Франк отмечает слова Бинсвангера, что в противоположность присутствию как заботе присутствие в качестве любви имеет своим основанием не зловещее (unheimliche) Ничто: напротив, его основание нужно понимать как «заветную сокрытость» (heimliche Geborgenheit), «защищающую родину» (schützende Heimat). Термином «родина» Бинсвангер обозначает «сверхпространственность любви»:

«Любящие находятся *дома повсюду и нигде*, т. е. что любящее бытие-друг-с-другом "*не связано ни с каким* (определенным) *местом* (в мире озабочения)". Пространство, которое они здесь *себе* взаимно производят, есть их *родина*» (Binswanger, 1942: 72). Бинсвангеровский образ «родины» перекликается с франковской мыслью, что не мир есть «родина души», что «непосредственное самобытие узнает в "ты" успокоительную, отрадную ему реальность *сходного, сродного, родного* ему — некую свою *родину*, т. е. реальность вне себя самого, внутренне ему тождественную» (Франк, 1990: 417, 366).

Против слов Бинсвангера «С точки зрения любви, экзистенция, в смысле Ясперса или Хайдеггера, вторична и никогда не есть самоцель» (Binswanger, 1942: 194) Франк делает пометку: «Здесь Хайдеггер уже преодолен». И ниже подчеркивает слова: «Любовь — не философия, и ее "место" — не философия экзистенции или экзистенциальная философия» (Binswanger, 1942: 596). Франк отмечает словами «против Хайдеггера!» и то место, где Бинсвангер определяет психологическое знание не только как выход за пределы дискурсивного знания, но и как знание, в котором я «над конечностью бытия присутствия в качестве моего не "теряю из вида" вечность и тотальность бытия» (Ibid.).

В результате чтения Франк так оценивает достижения Бинсвангера: «Вы совершили духовный подвиг, чтобы освободить человека от его духовной судороги или из его одиночного заключения, на что он был осужден идеализмом, а также Гартманом и Хайдеггером. Любовь, "мы-бытие", "родина" как подлинная основа человеческого существования — и подлинное познание — увидеть все это есть освобождающий акт, за которым я чувствую именно Вашу личность и подлинную, то есть коренящуюся в личности, истину» (S. Frank an L. Binswanger 12.07.1942). В этом же письме Франк обобщает свое отношение к Хайдеггеру, подкрепленное чтением книги Бинсвангера: «Короче говоря, Хайдеггер — духовный тупик; обойти его можно одним способом — повернуться к нему спиной и при этом поискать свободный путь. Его "основание" (Grund) вообще никакое не основание, на котором можно было бы стоять: оно что-то вроде скалы, в которую можно вцепиться на краю пропасти (des Abgrunds), глядя в нее. Я всегда спрашиваю: почему страх — а не доверие? Почему страх должен быть "онтологически" фундированным состоянием, а доверие — уже какой-то проклятой "теологией"? Все равно как если бы на войне и при опасности паника была нормальным состоянием! Ведь для людей куда естественней стоять на твердой почве, а не висеть над пропастью и биться в страхе. Подлинная основа есть то, что шире моего собственного существования (Existenz); подлинной основой является только "родина", почва "мы-бытие" и тому подобное; любая изолированность, любой трагизм имеют место уже в пределах этого первичного основания и поэтому выход из них только один» (S. Frank an L. Binswanger 12.07.1942).

Преодоление Хайдеггера для Франка возможно только при апелляции к духовному бытию и Богу как «глубинной первооснове» бытия человека. Поэтому Франк скрупулезно фиксирует близкие себе, «метафизические» тенденции у Бинсвангера. Так, присутствие у Бинсвангера даже по отношению к себе самому может рассматриваться как «в мире», и это есть его отношение к собственному миру. Это рассмотрение себя с какой-то точки зрения, соответствующее дискурсивному (понятийному) познанию, т. е. познанию себя как объекта. Здесь индивид рассматривается как часть мира (природного, исторического, духовного), подавленная миром или борющаяся с ним. Но имеется и собственный способ самобытия, который Хайдеггер обозначил как «экзистенцию», а Бинсвангер определяет как «бытие к основанию» (Sein zum Grunde) (Binswanger, 1942: 451). В этом месте стоит отметка Франка: «Верно!». Присутствие в этом модусе определяется Бинсвангером как «Я есмь» (Ich bin), действительное самобытие (Selbstsein). Освобожденное от мира и ролей в нем, оно спрашивает о своем первоначале, судьбе, страдании, смерти, т. е. о самом себе. Вслед за П. Хеберлином и Франком Бинсвангер описывает это состояние как тайну: «Это основание может лежать только в бытии вообще, если угодно, в “реальности”, причем здесь должно объяснить, что эта “реальность” не может смешиваться с предметной действительностью, но что она, только она есть подлинная *тайна* (Хеберлин), *непостижимое* (Unergründliche), если применить термин Семена Франка» (Binswanger, 1942: 452). «Бытие к основанию» Бинсвангера, действительно, стоит близко к франковскому понятию «непосредственного самобытия» (unmittelbares Selbstsein) как самооткровения Непостижимого.

Бинсвангер близок Л. Фейербаху в стремлении перевернуть отношения теологии и антропологии и показать, что первая возможна только на основании последней, что вытекает из его установки на человеческое бытие. С другой стороны, Бинсвангер не раз отмечает заслуги теологии в понимании человека. Поэтому в письмах Франк стремится убедить Бинсвангера, что его протест против теологии оправдан лишь применительно к западной традиции: «И если западная теология рассматривает человека преимущественно как “тварь” и “грешника” (после Августина и прежде всего Лютера и Кальвина), то религиозное мышление Восточной церкви, напротив, видит в человеке “чадо Божие”, существо, укрытое в Боге, сущее с Богом и благодаря Ему, что выливается в великолепную идею “theosis”, обожения». Франк ссылается при этом на трактат Григория Нисского «О сущности человека», «Добротолюбие», гимны и размышления Симеона Нового Богослова, учения византийских «исихастов» и русских «старцев», у которых «находишь ту же антропологическую мудрость, что и у Достоевского» (S. Frank an L. Binswanger 12.07.1942). Франк хочет убедить Бинсвангера, что тот и не подозревает, насколько его «воображение», «превращение» (Verwandlung),

«преображение» (Gestaltwandel) близки православному учению об обожении. В разделе «Основных форм…», где рассматривается «принятие-за-нечто» (Nehmen-bei-Etwas) — форма бытия-в-мире в своем самостоятельном, безлюбовном существовании, связанная с совместно-мирным использованием людей как подручных инструментов, вещей, — Бинсвангер пишет: «Бытие помимо в-качестве-чего (*Als*-was) "имеется" для каждого человека только в любви и дружбе, в безграничном, т. е. "лишенном значения", любящем бытии *друг с другом*, но не в общественном бытии, не в бытии-напротив (Gegenübersein)» (Binswanger, 1942: 325), Франк замечает: «а также в духовном бытии!».

Пометы Франка на полях книги раскрывают нам Бинсвангера не только как ученого-психиатра, искавшего пути к лечению душевых болезней, но и как мистика. Бинсвангер нередко использует образы мистического богословия, которые встречаются и у Франка. Так, Франк подчеркивает слова Бинсвангера, что присутствие есть дар (Gabe, Geschenk) или благодать (Gnade) (Binswanger, 1942: 153); отмечает характеристики присутствия как бытия, открытого бесконечному (Offensein) (Binswanger, 1942: 164), как встречи (Begegnung) (Binswanger, 1942: 176). Франк подчеркивает слова Бинсвангера, что знание любви есть «абсолютное молчание» (Binswanger, 1942: 190), перекликающиеся с франковской метафизикой самооткровения непостижимого как молчания (Франк, 1990: 450). Отмечая слова Бинсвангера, что присутствие в качестве любви одарено, оснащено «полнотой», что самовозрастание любви — в самоодаренности присутствия полнотой присутствия (Binswanger, 1942: 154), Франк добавляет на полях: «Полнота жизни также в общении с Богом». Когда Бинсвангер пишет, что эта «полнота присутствия» означает «твердое стояние в бытии посреди сущего», «стояние в реальности» (Binswanger, 1942: 154), Франк добавляет: «Хорошо! Не экзистенция!». Такую же ремарку «Хорошо!» вызвало обозначение полноты как «избытка присутствия» (Binswanger, 1942: 155). Для обозначения Непостижимого по существу Франк сам нередко использовал этот плотиновский образ (см.: Франк, 1990: 223, 244, 279). Франк отмечает словом «Хорошо!» бинсвангеровскую мысль, что бытие человека протекает и во временности бытия к смерти, и в вечности любви (Binswanger, 1942: 425, 639). Точно так же он отмечает мистическое понимание «вечного мгновения любви» как собственного, настоящего бытия человека (Binswanger, 1942: 611, 639). Отметка «правильно и в высшей степени важно!» касается места, где Бинсвангер заявляет о солидарности с «онтологизмом» (Ontologismus — термин, явно взятый у Франка): «Для нас познание в соответствии с русским онтологизмом, с Шелером, Н. Гартманом, Хайдеггером, хотя их взгляды в деталях расходятся, есть определенное *бытийное* отношение (Шелер), или лучше сказать, определенный "бытийный род бытия-в-мире" (Хайдеггер) *и* — как *мы* должны подчеркнуть — бытия-вверх-за-пределы-мира. Поскольку мы

понимаем (человеческое) бытие не только из его бытия-в-мире (конечность), но также из его бытия-вверх-за-пределы-мира (бесконечность), нам нужно вообще понимание сущности познания "передвинуть", т. е. распространить до бесконечного и углубить до вечного» (Binswanger, 1942: 504).

Русская философия, находясь в эмиграции, почти не нашла отклика в немецкой мысли. Потому так ценен факт влияния Франка на основоположника дазайн-анализа в психологии и психиатрии Л. Бинсвангера, что нашло несомненное отражение как в их переписке, так и в тексте основополагающего произведения швейцарского психолога «Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins». Западные исследователи творчества Бинсвангера этот факт не замечают, зато много пишут о влиянии на него М. Хайдеггера. Между тем Бинсвангер, восприняв идеи «Предмета знания» и «Непостижимого», безусловно, подошел очень близко к Франку в понимании «познания присутствия» в его отличии от предметного, понятийного познания. В свою очередь, заинтересованное чтение Франком книги Бинсвангера, впечатления от которой отразились в его маргиналиях, а также в письмах, вновь убеждало русского философа в том, что для понимания человека в его отношении к Абсолютному нет необходимости пользоваться терминологией «Бытия и времени». Однако Бинсвангер не пошел за Франком, восклицавшим при чтении Хайдеггера: «если бы Dasein было абсолютн<ым> бытием, а не человеческим!» (Франк, 2017: 138), — потому что, во-первых, не хотел подавать ни малейшего повода для «ложного истолкования» своего Daseinsanalyse «в духе христианской антропологии» (L. Binswanger an S. Frank 1.02.1937[)], а во-вторых, в самом хайдеггеровском присутствии усматривал — в отличие от Франка — момент трансцендирования, разомкнутости. Тем не менее у Франка оказалось достаточно поводов заметить на полях бинсвангеровской книги — «gut!».

Литература

Бинсвангер Л. (1954) Воспоминания о Семене Людвиговиче Франке // Сборник памяти Семена Людвиговича Франка / Под ред. прот. о. В. Зеньковского. Мюнхен: [Б.и.].

Цыганков А. С., Оболевич Т. (2018) «Германия уже стала для меня второй родиной»: жизненный и творческий путь С. Л. Франка в переписке с Ф. Хайлером и et circum // Историко-философский ежегодник. Т. 33. М.: ИФ РАН. С. 293–313. DOI 10.21267/AQUILO.2018.33.21040.

Франк С. Л. (1990) Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии // *Франк С. Л.* Сочинения. М.: Правда. С. 181–559.

Франк С. Л. (2017) <Конспект книги М. Хайдеггера «Бытие и время»> / Публ. и коммент. Г. Е. Аляева и Т. Н. Резвых // Исследования по истории русской мысли [13]: Ежегодник за 2016–2017 год / Под ред. М. А. Колерова. М.: Модест Колеров. С. 135–143.

Хайдеггер М. (2003) Бытие и время / Пер. с нем. В. В. Бибихина. Харьков: Фолио.

Binswanger L. (1942) Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins. Zürich: Max Niehans.

Frank S. (1929) «Ich» und «Wir» (Zur Analyse der Gemeinschaft) // Der Russische Gedanke. International Zeitschrift fuer russische Philosophie, Literaturwissenschaft und Kultur. Bonn. 1 Heft. S. 49–62.

Frank S. (1937) La connaissance et l'être / Trad. du russe par Kaffi, Oldenbourg et Fedotoff. Paris: Fernand Aubier.

Архивы

L. Binswanger an S. Frank 28.11.1934 // Universitätsarchiv Tübingen (далее — UAT). 443/7, 1.

L. Binswanger an S. Frank 01.02.1937 // UAT. 443/7, 99.

S. Frank an L. Binswanger 13.03.1937 // UAT. 443/7, 103.

L. Binswanger an S. Frank 22.09.1937 // UAT. 443/7, 125.

S. Frank an L. Binswanger 19.07.1938 // UAT. 443/7, 156.

L. Binswanger an S. Frank 27.08.1938 // UAT. 443/7, 164.

L. Binswanger an S. Frank 27.10.1938 // UAT. 443/7, 168.

S. Frank an L. Binswanger 19.06.1942 // UAT. 443/7, 304.

S. Frank an L. Binswanger 28.06.1942 // UAT. 443/7, 305.

L. Binswanger an S. Frank 7.07.1942 // UAT. 443/7, 306.

S. Frank an L. Binswanger 12.07.1942 // UAT. 443/7, 308.

FROM THE UNFATHOMABLE TO REALIZATION OF HUMAN EXISTENCE: S. FRANK'S MARGINALIA IN THE L. BINSWANGER'S BOOK

Tatyana N. Rezvykh
CSc (PhD) in Philosophy, Associate Professor at the St.Tikhon's Ortodox University Faculty of Advanced Further Education.
Ulitsa Novokuznetskaya, 23Б, Moscow, 115184.
E-mail: hamster-70@mail.ru

Gennadii E. Aliaiev
DSc in Philosophy, Professor at the National Technical University "Dnipro Polytechnic" Faculty of Philosophy and Pedagogy.
Dmitry Yavornytskoho Ave., 19, Dnipro, 49005, Ukraine. E-mail: gealyaev@gmail.com

Correspondence between Russian philosopher Semyon Frank (1877–1950) and Swiss psychiatrist and psychologist Ludwig Binswanger (1881–1966) and its particular reflection in Frank's marginalia on Binswanger's book "Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins" ("Basic Forms and the Realization of Human "Being-in-the-World"", 1942) indicates a significant influence of Frank's philosophical ideas on Ludwig Binswanger as a psychologist, despite the general differences and divergences in their ideas. Being one of the most notable contemporaries of the correspondents, Martin Heidegger also gets into focus of particular attention as he often becomes a subject of the Frank's marginalia.

Keywords: Semyon Frank, Ludwig Binswanger, Martin Heidegger, Unfathomable, Daseinsanalysis, Human existence (Dasein), direct selfhood (unmittelbares Selbstsein).

References

Binswanger L. (1942) Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins. Zürich: Max Niehans. (In German).

Binsvanger L. (1954) Vospominaniya o Semene Lyudvigoviche Franke [Memories of Semyon Ludwigovich Frank]. *Sbornik pamyati Semena Lyudvigovicha Franka* [Collection of Memory of Semyon Ludwigovich Frank], Munich. Pp. 25–39. (In Russian).

Cygankov A. S., Obolevich T. (2018) «Germanija uzhe stala dlja menja vtoroj rodinoj»: zhiznennyj i tvorcheskij put' S. L. Franka v perepiske s F. Hajlerom i et circum ["Germany has already become my second homeland for me": the life and creativity of S.L. Frank in correspondence with F. Heiler et circum]. *Istoriko-filosofskii ezhegodnik*. Vol. 33. Moscow: IF RAN. P. 293–313. DOI 10.21267/AQUILO.2018.33.21040 (In Russian).

Frank S. (1929) «Ich» und «Wir» (Zur Analyse der Gemeinschaft) // Der Russische Gedanke. International Zeitschrift fuer russische Philosophie, Literaturwissenschaft und Kultur. Bonn. 1 Heft. P. 49–62. (In German).

Frank S. (1937) La connaissance et l'être / Trad. du russe par Kaffi, Oldenbourg et Fedotoff. Paris: Fernand Aubier. (In France).

Frank S. L. (1990) Nepostizhymoe. Ontologicheskoe vvedenie v filosofiyu religii [Incomprehensible. Ontological introduction to the philosophy of religion], *Sochineniia [Works]*. M. Pravda. P. 181–559. (In Russian).

Frank S. L. (2017) <Konspekt knigi M. Hajdeggera «Bytie i vremja»> [Summary of the book by M. Heidegger "Being and Time"]. Issledovaniya po istorii russkoi mysli [13]: Ezhegodnik za 2016–2017 god [Studies on the history of Russian thought [13]: Yearbook for 2016–2017]. Moscow, Modest Kolerov. P. 135–143. (In Russian).

Heidegger M. (2003) Bytie i vremya ["Being and Time"]. Kharkov, *Folio*. (In Russian).

Archives

L. Binswanger an S. Frank 28.11.1934. Universitätsarchiv Tübingen (UAT). 443/7, 1.

L. Binswanger an S. Frank 01.02.1937. UAT. 443/7, 99.

S. Frank an L. Binswanger 13.3.1937. UAT. 443/7, 103.

L. Binswanger an S. Frank 22.09.1937. UAT. 443/7, 125.

S. Frank an L. Binswanger 19.7.1938. UAT. 443/7, 156.

L. Binswanger an S. Frank 27.08.1938. UAT. 443/7, 164.

L. Binswanger an S. Frank 27.10.1938. UAT. 443/7, 168.

S. Frank an L. Binswanger 19.6.1942. UAT. 443/7, 304.

S. Frank an L. Binswanger 28.6.1942. UAT. 443/7, 305.

L. Binswanger an S. Frank 7.07.1942. UAT. 443/7, 306.

S. Frank an L. Binswanger 12.7.1942. UAT. 443/7, 308.

ЛЕНИН КАК ЗЕРКАЛО РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Владимир Прохорович Булдаков
Доктор исторических наук,
главный научный сотрудник Института российской истории РАН.
117292, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 19. E-mail: kuroneko@list.ru

В. И. Ленин не случайно назвал Л. Н. Толстого «зеркалом русской революции». В своем отрицании самодержавной России он ориентировался не только на марксистскую теорию, но и на моральное неприятие русской литературой застойной действительности. Отсюда обилие живых литературных образов, содержащихся даже в теоретических работах Ленина. В связи с этим и сам Ленин предстает своеобразным зеркалом по-прежнему не до конца понятой русской революции.

Ключевые слова: В. И. Ленин, Л. Н. Толстой, экономический материализм, марксизм, революция, утопии, русская литература.

DOI 10.17323/2658-5413-2020-3-1-121-137

В свое время в соответствующей статье (1908) В. И. Ленин назвал Льва Толстого «зеркалом русской революции». Это не совсем точно: некоторые современные авторы не без оснований считают, что в такой роли выступила вся русская литература XIX в. Действительно, метод критического реализма, а проще сказать, выраженная средствами словесного искусства моральная непримиримость с действительностью (за которой виделось «чудище обло»), исподволь внушал людям умеренным и внешне лояльным представление о «спасительности» революционных изменений.

Образ «зеркала» — отнюдь не изобретение Ленина. Для Стендаля, отстаивающего приоритет реалистичного воспроизведения действительности, «зеркалом, с которым идешь по большой дороге», был роман — произведение, которое в силу своей природы отражает не только «лазурь небосвода», но и «грязные лужи и ухабы». Романиста с его «зеркалом» нельзя обвинять в безнравственности. Скорее виноват «дорожный смотритель, который допускает, чтобы на дороге стояли лужи и скапливалась грязь». Образ, предложенный французским писателем, применительно к самодержавной России выглядит многозначительно.

Ныне историю русской революции безоговорочно связывают с фигурой Ленина. Действительно, всякий диспут о ней упорно фокусируется на личности ее «вождя», причем вроде бы единственного. Но это далеко не так: «красную смуту» затеял вовсе не Ленин (ни в дуэте с Троцким, ни без оного). Истинным творцом рево-

люции стали «массы», которые в начале XX в. начали повсеместно вырываться на простор истории, что привело к «восстанию масс» (термин Х. Ортега-и-Гассета). Как бы то ни было, фигура Ленина превратилось в маркер этого события. Вглядываясь в его личность, можно действительно разглядеть агрегированный образ силы, потрясший до основания тысячелетнее царство. Силы, которой ему порой удавалось воспользоваться. Но почему?

Для начала стоило бы предположить, что фигура Ленина, несмотря на его «европейскую» ученость, оказалась изоморфна внутреннему наполнению российского хаоса. За счет чего? Стоит предположить, что Ленин питался и подпитывался не столько теорией (которая, согласно Гете, все же «сера»), сколько обличительными образами, настойчиво поставляемыми русской литературой.

Нынче историки обычно описывают Ленина как политика, философы и экономисты — как мыслителя. Забывается, что в прошлом советские филологи сделали из него своего рода литературного критика. И для этого имелись основания: Ленин усердно поглощал не только художественную литературу, но и поэзию. Но что именно он впитывал в себя?

Литература, которую мы выбираем

Во второй половине XIX в. русское общество стало «читающим». Иначе и быть не могло: Россия поневоле выбиралась из крепостнического застоя, а самодержавие вкупе с православием не поставляли необходимой людям духовной пищи. Как результат, образы, доминирующие в литературе, предстали сонмищем дворянско-помещичьих «мертвых душ», как-то неуверенно разбавленным фигурами из народа — от толстовского Каратаева до горьковского Челкаша. Вместе с тем немногих инсургентов, нравственно возмущенных лиц, вроде пушкинского Дубровского, «законно» разоренного существующей системой, или тургеневского Рудина, отчаянно оглядывающегося на Запад, порождала как раз дворянская среда. На фоне засасывающего застоя они смотрелись безнадежно и даже жертвенно — ситуация «Палаты № 6». Кстати сказать, познакомившись с этим чеховским произведением, Ленин, по свидетельству близких, пришел в крайнее возбуждение. Было от чего! Однако намного чаще Ленин вспоминал чеховского «человека в футляре», который выступал типичным порождением авторитарного застоя с его характерной философией: «Как бы чего не вышло». Другим символом недееспособной системы, заимствованным на сей раз у И. А. Гончарова, стали Обломов и обломовщина.

Круг чтения Ленина был широк — начиная не только с Радищева, как принято считать, но и с Державина и Карамзина. Иной раз он вспоминал даже Дениса Давыдова. Но в целом, избегая эстетических предпочтений, этот читатель старался выстроить длинный ряд идеологически «нужных» литературных протестантов,

при этом словно сожалея, что все его — вольные и невольные — предтечи «не доросли» до Маркса. Однако в ленинских оценках звучали и ноты раздражения против слабостей «ленивого» российского ума.

В этом ряду Толстому принадлежит особое место. «…Какая глыба, а? Какой матерый человечище! Вот это, батенька, художник... — вразумлял он А. М. Горького. — И, знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было» (Горький, 2019: 308). Конечно, ленинское понимание Толстого было вульгарно-поучающим.

Толстой был для Ленина не просто великим художником, выступившим с тотальной критикой существующей системы. Он оставался «помещиком, юродствующим во Христе». Толстой — не только величайшее соединение ума и таланта: он воплощал собой глубинный общественный недуг, оставаясь «истасканным, истеричным хлюпиком, называемым русским интеллигентом» с его органической неспособностью к бескомпромиссной борьбе с общественным злом (Ленин, 1968а: 209).

На фоне юбилейных славословий в адрес морализирующего гения такие характеристики звучали не только бестактно, но и вызывающе. По мнению Ленина, потаенного смысла творчества Толстого «не понимали» из-за слабости исторического воображения интеллигенции. Да и что было взять с российского либерала, который «ни в толстовского бога не верит, ни толстовской критике существующего строя не сочувствует» (Там же). Оказывается, верная оценка учения и творчества Толстого возможна только с точки зрения единственного класса, способного разрубить весь узел российских противоречий, безнадежно опутавших даже великого писателя. Критикуя Толстого, Ленин пытался наставить российскую общественность на «единственно верный» путь. Позднее, уже после смерти Толстого, он по-своему «похоронил» его, уверяя, что толстовщина была «идеологией восточного строя, азиатского строя». Ему казалось, что «1905 год был началом конца “восточной” неподвижности» и «историческим концом толстовщины» (Ленин, 1973: 102, 103). Революционер не может не подогревать себя подобными самообольщениями.

Конечно, упорно цитировал Толстого не только Ленин. Подобно нравственному метроному эпохи, Толстой был востребован буквально всеми. Тем же пафосом была пронизана вся бесконечно морализирующая художественная литература. Но, в отличие от либералов и социалистов, Ленин находил в ней не просто всевозможных «врагов прогресса». Он упорно отыскивал в литературных образах «застойные» архетипы российской действительности. Всякий другой подход ему мешал. Отсюда неприятие Достоевского, в котором виделось толстовское осуждение неизбежной революции. Впрочем, отвергая «Братьев Карамазовых» и «Бесов», Ленин высоко оценивал «Записки из Мертвого дома». Очевидно, что

вся старая Россия представлялась ему именно «мертвым домом» (Бонч-Бруевич, 1968: 24). Конечно, Ленин не мог заметить, что в «Великом инквизиторе» по-своему прозвучала идея тотального неприятия существующей действительности: теоретик-прогрессист того времени не готов был поверить в «бесов исторического подполья» (хотя как практик мог незаметно для самого себя следовать их незримым «подсказкам»).

Разумеется, Ленин восторгался и ненавидел *воображаемого* Толстого. Примечательно, что П. Н. Милюков, будучи знаком с Толстым, как-то признался, что у него возникло убеждение, что ему его «никогда не понять» (Милюков, 1991: 115) — мозги моралиста попросту работали иначе, чем мозги прогрессиста. Ленин, напротив, решительно «понял» Толстого. Разумеется, по-своему.

Подборка литературных образов в ленинских произведениях, конечно, тенденциозна. Неслучайно о собственно литературных достоинствах любимых и нелюбимых авторов Ленин высказывался редко. Тем не менее при написании «Развития капитализма в России» он, наряду с многочисленными экономистами, предпринимателями, помещиками, земским статистиками, цитировал В. В. Вересаева, Н. Г. Чернышевского, В. Г. Короленко, Д. Н. Мамина-Сибиряка, Н. Е. Салтыкова-Щедрина. В общем, старался увидеть общественную жизнь глазами писателей. Даже в «Материализме и эмпириокритицизме» присутствуют образы из Н. В. Гоголя и И. С. Тургенева, не говоря уже об особо любимом Чернышевском.

Подмечено, что Ленин процитировал Салтыкова-Щедрина несколько сот раз, постоянно упоминались им едва ли не все гоголевские типажи. Среди последних больше всех «повезло» Манилову: он то мечтательный народник, то прекраснодушный либерал. Упоминалась также «маниловщина либеральная и маниловщина революционная» — последнее о социал-демократах, якобы готовых отказаться от насильственного свержения царизма. В конечном счете маниловщиной объявляется все, что мешало вызреванию истинных революционеров.

Конечно, не мог забыть Ленин и других гоголевских персонажей. Помещичий класс он соотносил и с «кадетом» Маниловым, и с «черносотенцем» Собакевичем. «Дворяне дали России Бирона и Аракчеевых, бесчисленное количество “пьяных офицеров, забияк, картежных игроков, героев ярмарок, псарей, драгунов, секунов, сералников” да прекраснодушных Маниловых», — цитировал Ленин Герцена, соглашаясь с ним, что из этого же сословия вышли «люди 14 декабря, фаланга героев, выкормленных, как Ромул и Рем, молоком дикого зверя…» (Ленин, 1968б: 255). Понятно, что самого себя он видел наиболее последовательным продолжателем дела декабристов. Другие претенденты на эту роль ему только мешали. Троцкого он сравнивал не только с Хлестаковым, но и с Ноздревым — не просто хвастуном, но и партийным раскольником. В 1917 г. роль Ноздрева исполнял министр Временного правительства эсер В. М. Чернов, выдвигавший

бесконечные «спасительные» законопроекты и краснобайствующий перед массами. Бесполезно прикидывать, насколько заслуженными были сравнения: Ленин стремился «разоблачить», точнее, дискредитировать политических противников любой ценой.

В общем, Ленин словно тщился разглядеть в беллетристике признаки грядущей «революционной ситуации». Отсюда навязчивое цитирование Н. А. Некрасова, которого, по словам Крупской, он «чуть не наизусть выучил» (Крупская, 1957: 217). Впрочем, Ленин находил в поэзии и еще кое-что: так, в стихах дворянина Тютчева его впечатляла поэтика великих потрясений. Но за что он полюбил Надсона? Почему в 1904 г. в качестве ключа к зашифрованному посланию Тверскому комитету РСДРП предлагал использовать его «Песни Мефистофеля» (Ленин, 1970: 426)? Конечно, это не было поддразнивающей игрой в демонизм. Вероятно, предложение Мефистофеля зажечь ядом печали «приторную чушь» надсоновских стихов вполне отвечало стилистике ленинских работ. Стоит также вспомнить, что Надсон призывал «не презирать толпу», а напротив, «слиться с ней» в момент, когда она окажется «болезненно-отзывчива».

Через литературу и поэзию Ленин словно впитывал энергию отрицания всего «отжившего». К этому добавлялась теория — причем «единственно верная», марксистская. По-своему помогал и свойственный времени утопизм. «Гений революции» рождался на стыке эмоционального и логического, реалистичного и фантазийного.

В конце XIX в. читающая Россия активно поглощала не только реалистическую беллетристику. Невиданный технический прогресс стимулировал футуристические утопии. Так получил широкую известность роман Уильяма Морриса (1834–1896) «Вести ниоткуда», в котором автор, между прочим, отмечал: «В последние годы девятнадцатого века возникла некоторая надежда на переход к свободной жизни. Но могущество тогдашних господ жизни — владельческих классов — было столь велико, что даже надеявшиеся считали себя мечтателями». Однако в Англии революция, уверял автор, все же произошла. И она оказалась кровавой вопреки тому, что противники старого строя придерживались тактики «бойкота» или «пассивного сопротивления» (Моррис, 2010: 80, 85) — вроде бы по Толстому.

Как бы там ни было, в европейском обществе рождалось убеждение, что растущее материальное изобилие обеспечит всеобщее благоденствие. Дело за справедливо-рациональным распределением. Американский журналист Э. Беллами в 1888 г. в многократно переиздававшейся книге «Взгляд назад» («Looking Backward», на русском языке «Взгляд на прошлое», «Золотой век», «Через сто лет») представил общество будущего в виде большого универмага, в котором покупатели легко удовлетворяли свои — довольно умеренные в силу воспитанных

добродетелей — потребности с помощью кредитных карт. Беллами полагал, что материальное изобилие должно поддерживаться 24-летней службой (с 21 до 45 лет) граждан в «добровольно-обязательной» трудовой армии. Другие фантасты предлагали иные сроки сознательной повинности — кто больше, кто меньше, не утруждая себя, однако, математическими подсчетами, связанными с производительностью труда.

Материальный прогресс породил эпидемию самообольщений. И потому неудивительно, что с начала 1890-х гг. российская публика подхватила идеи Беллами, не обращая внимания на характерную оговорку последнего: «…Идея бесконечного прогресса по прямой линии — фантастическая химера, не имеющая аналогии в природе. Парабола кометы — вот подходящая иллюстрация для движения человечества» (Беллами, 1891: 11). Нечто подобное еще ранее высказывал и многократно упоминаемый Лениным Чернышевский: «История не тротуар Невского проспекта». Тем не менее, в глазах российской общественности Беллами оставался «экономическим детерминистом», противником всякой революционности и даже толстовцем.

В России марксизм наряду со ставшим известным еще до него «экономическим материализмом» поначалу сыграл «эволюционно-вдохновляющую» роль: завтра будет лучше, чем вчера. Милюков уверял, что «экономический материализм» (в виде общепринятой теории бесконечно устремленного вверх прогресса) «был в моде на Западе раньше и независимо от Маркса», причем доходил до России, отнюдь «не смешиваясь с марксизмом» (Милюков, 1991: 76). Но этого для формирования нового мироощущения, способного вырвать российских обывателей из удушающих объятий режима, было недостаточно.

Надо ли удивляться, что вышедшая в 1894 г. книга П. Г. Струве «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России» с ее пылким призывом «признать нашу некультурность и пойти на выучку к капитализму» была обречена на успех. Консервативная утопия народничества уверенно вытеснялась утопией прогрессизма. «Рациональный» марксизм по-своему подпитывал футуристические грезы.

Мода на «светскую религию» порой приобретала парадоксальные формы. Поэт Андрей Белый в «Начале века» вспоминал «либерального» московского батюшку В. С. Маркова, организовавшего в своем доме молодежный кружок для изучения К. Маркса. Тогдашний «российский марксизм» был многолик, оптимистичен, беспечен, а в целом безобиден. А потому другого поэта, Георгия Чулкова, «соблазняла мысль во что бы то ни стало нарушить сонную одурь, доставшуюся России по наследству от правительственной опеки Александра III» (Чулков, 1999: 34). Вероятно, поэтому он в марксизме не удержался, превратившись в «мистического анархиста». «Марксистом» объявил себя и поэт-символист Эллис. Да и сам

Андрей Белый в молодости исповедовал марксизм и, по свидетельству Ф. А. Степуна, даже ездил в Ясную Поляну защищать диалектический материализм перед Толстым (Степун, 1994: 216).

Случалось всякое. Как видно, в тогдашних мозгах не могло не возникнуть известного по Салтыкову-Щедрину противостояния взаимоисключающих соблазнов: *то ли конституция, то ли севрюжина с хреном* — то ли революция, то ли эволюция. Все зависело от общественного темперамента, который, в свою очередь, определялся уровнем моральной (не)терпимости. «Два демона были моими спутниками с отроческих лет — демон поэзии и демон революции, — вспоминал Чулков. — Я всегда хмелел от песен Музы, и я всегда был врагом "старого порядка"» (Чулков, 1999: 32).

«Несомненно, марксизм обладает огромной силой веры, он должен был бы оказывать, благодаря детерминистической основе своего характера, прямо-таки чарующее впечатление на последовательных холодных мыслителей…» (Атлантикус, 1907: 13) — писал в 1907 г. К. Баллод, автор социал-демократического толка, упорно доказывающий преимущества научной организации производства перед социальной революцией (после прихода к власти Ленин подхватил эти идеи).

Впрочем, мировая война словно превратила Ленина-«детерминиста» в волюнтариста. Этому помогла гегелевская диалектика, способная, как оказалось, выступить в роли «философии чуда»: если империалистический мир глуп и греховен в самоубийственной степени, то «спастись» он может только ценой революционного самоотрицания.

Пародийно-христианский характер российского марксизма несомненен. С этим связана и его притягательность для «униженных и оскорбленных». Мало того, на фоне инфернальных тягот мировой войны обещания социального равенства и грядущего достатка стали резонировать с базовыми установками народнической ментальности, заквашенной на идеях общинного равенства. В известном смысле тяготение к «безбожной религиозности» характерно не только для Новейшего времени, но и для всей современности. Человек нуждается в вере, которая — будь то «безрелигиозное христианство» или подобие универсального «нетеистического теизма» — должна обновляться, чтобы держать его в экзистенциальном тонусе.

Человеческие души взывают к вере, а не к теориям. В этой связи вовсе не удивительно, что «воинствующий материалист» Ленин, восприняв от Маркса «светскую религию», принялся упорно бороться против любых верований, надеясь при этом найти союзников среди ученых-естествоиспытателей, включая буржуазных (Ленин, 1970: 27). Его бесило всякое «заигрывание с боженькой». Интеллигентская среда также становилась «научно атеистической». Сочетание дарвинистских и марксистских представлений породило фантастическую форму прогрессизма, высмеянную еще В. С. Соловьевым: если человек произошел от обезьяны, то он непременно станет социалистом.

Но и этого было мало. Фигура нигилиста в русской литературе появилась неслучайно. Если диалектика — это «алгебра революции», гарантирующая превращение старого греховного мира в противоположность, то истинный революционер обязан освободиться от сдержек старой морали. Ему все дозволено во имя служения народу, лучшую часть которого стали со временем отождествлять с пролетариатом.

В представлениях о русской действительности Ленин следовал не только за теорией. Именно литературные «зеркала» глубинного народного недовольства, а не только вымученные марксистские абстракции подсказывали путь к революционной победе. Обычный революционер-доктринер изначально оторван от консервативно-инерционного (при всем внешнем недовольстве) массового сознания. Ленин частично преодолел этот разрыв именно благодаря способности к художественному воображению, усвоенному из литературных произведений.

Впрочем, со временем писательская среда подложила ему крупную свинью. Мало кто из видных литераторов безоговорочно пошел за «вождем Октября». Даже Горький, серьезно поработавший на большевиков, крупно подгадил другу Ильичу своими «Несвоевременными мыслями». Сегодня его обычные интеллигентские возражения кажутся более основательными, нежели поспешные ленинские идеи. И это тоже неслучайно. Революционный политик (пусть великий) и критически настроенный художник в конечном счете оказываются людьми разных культурных эпох.

Революция, которая выбирает нас

Революцию обычно представляют в виде управляемого процесса, хотя со времен французских событий 1789 г. известно противоположное: ее вожди, разрываясь между теоретическими установками и практическими устремлениями масс, в большей или меньшей степени превращаются в заложников хаоса. Большинство из них неслучайно становятся калифами на час. Ленин сумел выбиться из этого ряда. На протяжении 1917 г. он неуклонно превращался в своего рода подстрекателя бунтарских выступлений низов.

По иронии истории упрямый социалист-атеист вернулся во взбудораженную столицу надломленной империи на второй день Пасхи. Что мог предложить Ленин в такие дни народу, от которого был физически оторван на целое десятилетие, не говоря уже о духовной отчужденности? Конечно, при всей «непредсказуемости» его заявлений даже последователи были ошеломлены его «пасхальным подарком». В изложении Н. Н. Суханова это было как «снег на голову». На своеобразной премьере «Апрельских тезисов» творилось жутковатое священнодействие: «Казалось, из всех логовищ поднялись все стихии, и дух всесокрушения, не ведая ни преград, ни сомнений… стал носиться в зале Кшесинской над голо-

вами зачарованных учеников» (Суханов, 1991: 11). Суханов преувеличивал: Ленин, заявляя, что «мы не шарлатаны», внешне придерживался доктрины; правда, при этом делалась многозначительная оговорка: «наша ошибка — подход теоретический» (Ленин, 1981: 104). А из этого следовало, что своеобразие текущего момента состоит в переходе от первого этапа революции, давшего власть «буржуазии», ко второму, который должен делегировать ее пролетариату и беднейшему крестьянству. Но прежде следует преодолеть «революционное оборончество», служащее оправданием «грабительской, империалистической войны» — в том числе с помощью братания солдат на фронте. Только после этого был возможен переход власти к Советам (Ленин, 1981: 113–118).

Примечательно, что Ленин, противопоставляя парламентской республике будущую «республику Советов» и «государство-коммуну», особо подчеркивал значение «Советов батрацких депутатов». Это откровенно напугало Горького, известного нелюбовью к «темному» крестьянству. Великий пролетарский писатель отразил это так: «Когда Ленин… опубликовал свои “тезисы” я подумал, что этими тезисами он приносит всю ничтожную количественно, героическую качественно рать политически воспитанных рабочих и всю искренно революционную интеллигенцию в жертву русскому крестьянству» (Горький, 2019: 289). Похоже, что пролетарскому писателю неслучайно померещился призрак новой пугачевщины.

Нет нужды разбирать утопичность прочих марксистских предложений Ленина: «устранение полиции, армии, чиновничества», «немедленное слияние всех банков в один и введение контроля над ним» со стороны Советов, установление жалования «советским» чиновникам «не выше средней платы хорошего рабочего», конфискация всех помещичьих земель и создание на месте крупных имений «образцовых хозяйств» под контролем пресловутых батрацких депутатов (Ленин, 1969а: 104–113). На что рассчитывал Ленин, ошеломив былых соратников «безумными» «Апрельскими тезисами»? Вероятно, для начала следовало «напомнить о себе», сбив волну мартовских иллюзий и политического благодушия — всей той коллективной маниловщины, которая была известна из великой русской литературы.

Ленинские тезисы, скорее всего, остались бы рядовым проявлением тогдашнего революционного прожектерства, не случись Апрельского кризиса. Оказалось, что доверие масс к правительству, намеренному продолжать империалистическую войну, пошатнулось. Апрельский кризис показал, что массы склонны внимать «сумасшедшим». Утопия двинулась к октябрьской победе.

Но Ленин не спешил. Он даже одернул нетерпеливых кронштадтских матросов, намеренных немедленно свергнуть ненавистную власть. Более того, пытался уговорить меньшевиков и эсеров, преобладавших на I-м Всероссийском съезде Советов: «Окажите доверие нам, и мы дадим вам нашу программу». Понятно, что его заявление, что большевистская партия «каждую минуту» готова «взять

власть целиком», встретило смех (Ленин, 1969б: 267). И напрасно: в минуты ментальных смятений стоит приглядываться к революционным «психам». Отнюдь не по Марксу, а по законам общественной психологии массы непременно разочаруются в маниловщине революционной демократии, Хлестаков-Керенский исчерпает себя, а власть «подберет» наиболее решительная сила.

Но и Ленин в 1917 г. подчас оказывался не на высоте момента. Так, он вовсе не планировал выступление столичного гарнизона в начале июля 1917 г., будучи убежден в преждевременности подобных акций. Однако случился анархистский бунт; представить его мирной демонстрацией большевистскому руководству не удалось. Ленин ощутил, что злобное людское нетерпение подгоняет его, сокрушая выверенные планы. В сущности, он оказался в нелепой ситуации: вопреки его нацеленности на пролетарскую сознательность людская молва, не говоря уже о мнительных политиках, готова была уверовать, что восстание большевиков сделано с помощью «немецких денег».

Но даже конспирологические инвективы не помогли противникам Ленина: из реального политика он уже превратился в подобие революционного мифа, пересилить который становилось невозможно. Ленина поносили в сатирических журналах, о нем рассказывали небылицы, однако в обществе крепло убеждение, что большевики все равно выступят, а противостоять им некому. От всего этого Ленин небрежно отмахивался. Политические противники стали для него чем-то вроде коллективного Манилова, о чем он время от времени напоминал.

До сих пор считается, что под руководством Ленина большевистская партия едва ли не с августа 1917 г. планомерно готовила вооруженное восстание. На деле к восстанию призывал один Ленин, вынужденный скрываться от Временного правительства. Только вот как осуществить замысел, он, разумеется, не знал. Еще менее понятно это было большевистскому руководству, предававшемуся марксистским заклинаниям на Шестом партийном съезде. Тем временем анархия, точнее, разруха в умах разрасталась в общенациональном масштабе.

Поразительно, что из ленинского лексикона постепенно выветривалось слово «пролетариат», уступая место «массе». 26 октября 1917 г. на II Всероссийском съезде Советов «победивший» Ленин убеждал, что нужно «следовать за жизнью… предоставить полную свободу творчества народным массам»; на II Всероссийском съезде Советов крестьянских депутатов уверял, что «Россия выросла из того, чтобы кто-нибудь управлял ею»; в январе 1918 г. доказывал, что «богаче всего революционным опытом является сама революционная масса», помогающая «немногим десяткам “партийных людей”» (Ленин, 1969б: 27, 139, 266, 311). Вот, собственно, и вся механика большевистского переворота.

В 1918-м, самом смутном году российской истории XX в., Ленин доказывал, что «социализм не создается по указам сверху», ибо «его духу чужд казенно-

бюрократический бюрократизм; социализм живой, творческий, есть создание самих народных масс». К этому добавлялось, что социалист должен полагаться «на опыт и ***инстинкт*** (выделено мною. — *В. Б.*) трудящихся масс» (Ленин, 1974: 57, 275). Кое-кто догадывался о сути происходящего. Некий «интеллигент-естественник» Н. Ф. Николаевский в апреле 1918 г. писал Ленину: «Совершенно случайное совпадение линий действий ваших… и действий народных масс, как проявление стихийного взрыва ненависти против чрезмерно накопившихся социальной неправды и зла и беспорядочного искания выхода, ввело взаимно обе стороны в заблуждение относительно идентичности конкретных целей» (РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 1235. Л. 14). Так, в сущности, и было. Но отнюдь не случайно.

Вера в прогресс составила настолько мощную установку для просвещенного сознания, что стала деформировать и даже подавлять привычные моральные табу. Одновременно в условиях резкого уплотнения социально-информационного пространства реактивировались архаичные пласты массового подсознания. Так возникла гремучая смесь «восстания масс». Ни предвидеть, ни своевременно осознать это было невозможно, а потому осталось лишь втиснуть случившееся в привычные социально-исторические концепты.

Миф о социалистической революции возник не случайно. Он был изоморфен тогдашней прогрессистской ментальности. Историография революции, причем не только большевистски-советская, закономерно стала заложницей (пост) революционного мифотворчества. В центре мифа о якобы восторжествовавшем социализме с неизбежностью встала монументальная фигура Ленина.

В Королевстве кривых зеркал

Что общего между большевиками и толстовцами? Невероятно, но в начале 1918 г. они оказались в одной связке. Как сообщала в заметке «Озорство» омская газета «Пролетарий», на книжном складе местного Совета появилась брошюра «Воззвания единомышленников Л. Н. Толстого ко всем воюющим народам». В ней, помимо прочего, содержалось обращение «Опомнитесь, братья», подписанное 28 сентября 1914 г. некими З. Лобковым и В. Тверитиным. Оказалось, что эти деятели, известные в начале войны как толстовцы, теперь выступили в роли большевистских лидеров местного разлива (Лобков, Тверитин, 1918: 4).

Революция смешала все, что в 1917 г. можно было смешать. Былые последователи великого непротивленца предстали глашатаями революционного насилия. Однако это удивительно только на первый взгляд. На деле большевистский переворот можно представить актом отчаявшегося пацифизма.

Сомнительный культ победителя легко перерастает в миф великого свершения. Особенно после смерти главного персонажа. В наше время некоторым кажется, что хороша любая реклама, кроме некролога. С Лениным случилось с точностью

до наоборот. Даже его принципиальные противники — возможно, для того, чтобы встать вровень с великим покойником — заговорили гиперболами. Буржуазная газета «Prager Tageblatt» закончила статью о Ленине такими словами: «Велик, недоступен и страшен кажется Ленин даже в смерти» (цит. по: Горький, 2019: 261).

Волна славословия резко поднялась после смерти Ленина. Конечно, сказывалась русская традиция поминания. Так, бывший министр просвещения Временного правительства, в прошлом член ЦК кадетской партии академик С. Ф. Ольденбург в январе 1924 г. на II Всесоюзном съезде Советов заявил: «Через всю нашу жизнь — и старых, и молодых — прошел великий человек, и потому в сознании каждого из нас жизнь представилась и богаче, и ярче, и сильней…». Нет нужды пояснять, что ради занятия своей наукой ученый-энтузиаст готов поступиться очень многим. Известно и другое: от исторического потрясения человек — сознательно или бессознательно — старается отщипнуть свою толику выгоды. Так, президент Академии наук А. П. Карпинский уверял, что Ленину «были особенно близки и дороги интересы науки и культуры…» (цит. по: Алексеев, 1987: 254).

Ленин действительно ценил и научную мысль, и передовые технологии, будучи уверен, что серьезный ученый непременно придет к социализму, опираясь на ненаучную методологию. Всякое научное достижение, подобно прозрениям литераторов, он воспринимал как своего рода кирпичик, укрепляющий здание великого марксистского учения. Впрочем, особая заинтересованность Ленина в науке была связана еще и с попытками направить чудодейственные инновации на спасение советской власти. Однако научные достижения чреваты не только взлетами общественного сознания, но и его болезненными надломами, перверсиями, кризисами. Это Ленин не учитывал.

На смерть Ленина поспешили отреагировать российские коминтерновцы, собравшие целый набор высказываний о нем самых различных деятелей политики, литературы, журналистики. Правда, редактор сборника В. Д. Виленский-Сибиряков оказался нераскаявшимся троцкистом, а автор предисловия Вацлав Сольский в 1929 г. стал невозвращенцем в СССР. Среди зарубежных коммунистов, искренне восторгавшихся Лениным, нашлись «перерожденцы», в 1920-е гг. отшатнувшиеся от реалий социализма. Но остались и догматики.

Так, А. Тальгеймер, один из основателей компартии Германии, уверял, что многочисленные эпигоны Маркса, поглощенные парламентской и профессиональной борьбой, только и делали, что «лишали его учение революционной сути». Вопреки им Ленин «спас» марксизм: «Исходя из готовящейся русской революции, он снова оживил похороненную теорию Маркса о пролетарской революции» (Виленский-Сибиряков, 1924: 14). Однако «ренегаты марксизма», многократно осужденные Лениным, — Карл Каутский и Отто Бауэр — также выразили дань уважения покойному. Сходным образом Роберт Вильямс, британский профсо-

юзный деятель, заявил, что Ленин «сочетал в своей личности совершенный идеализм с совершенным реализмом» (Там же: 56).

Былые сомнения в возникновении явления *ленинизма* теперь отбрасывались. Максимилиан Гарден (Ф. Витковский), известный немецкий журналист, актер и публицист, высказался довольно проницательно: «…Над образом Ленина будет неустанно работать народная фантазия… За стальным сводом его лба ученого жил инстинкт, здравый рассудок и юмор крестьянина… Только мелочная тупость может спрашивать у этой могилы, допустимо ли восхищаться без буржуазных оговорок коммунистом… Тот самый Ленин, который немилосердно высмеял призыв Струве “пойти на выучку к капитализму”, произнес, при совершенно другой обстановке… знаменитые слова: у каждого дюжинного приказчика мы можем и должны учиться…» (Там же: 32).

Ленин стал превращаться в революционного романтика мирового масштаба. Ромэн Роллан, отнюдь не разделяя его идей, сравнил Ленина с шекспировским Кориоланом. «Я не знаю другой столь же могучей личности в Европе нашего века, — сообщал пацифист. — Он так глубоко, так мощно направил руль своей воли в хаотический океан мягкотелого человечества, что борозда его долго, долго не изгладится в волнах — несмотря на все бури, корабль несется на всех парах к новому миру» (Там же: 50).

Другие известные авторы принялись фантазировать. В свойственной ему манере Бернард Шоу утверждал: «Я не сомневаюсь, что настанет день, когда в Лондоне будет воздвигнута статуя Ленина рядом со статуей Георга Вашингтона…» (Там же: 57). Даже поведенческие особенности Ленина стали приобретать символический характер. Мартин Андерсен Нексе увидел в «подмигивающем Ленине в кепке» истинного пролетария: «Мысли его были мысли массы, в бесконечном сгущении, простые, проникающие, победные мысли. Его сердце билось в унисон с великим сердцем пролетариата, охватывающем все человечество» (Там же: 60). Томасу Манну Ленин показался «героическим витязем», заявившим: «Да будет проклят тот, кто опускает свой меч, боясь крови». Его брат Генрих Манн утверждал, что, учитывая преданность Ленина своему делу, следует примириться с его беспощадностью. Он сожалел, что в тогдашней Германии не было «никакой возвышенной идеи» (Там же: 27–28).

Из веймарской Германии прозвучал один многозначительный отклик. К. фон Охеймб, депутат рейхстага, представлявшая «партию Стиннеса», заявила: «Лениным я всегда восхищалась как человеком, который душу свою отдал за свой народ. Дай бог нашему немецкому народу в его тяжелую годину человека, подобного Ленину!» (Там же: 26). Это прозвучало жутковато-символично: угольный магнат Гуго Стиннес считался человеком, расправившимся чужими руками с Вальтером Ратенау и проталкивающим наверх Гитлера. Он предлагал возро-

дить великую Германию, используя для этого мощные социальные программы и оратора-демагога нового типа.

Каждый пытался понять и решить через Ленина свои проблемы. Вождь Октября становился человеком на все времена. Выдающийся философ-марксист Дьердь Лукач сделал характерное заявление: и Маркс, и Ленин «в микрокосме одной страны, с ясновидением истинного гения, нашли макрокосм всеобщего развития» (Там же: 58). Такая формула устроила очень многих.

Всякое общественное смятение внутренне взывает к «спасителю». Генриетта Роланд-Гольст, одна из основателей Коммунистической партии Нидерландов, побывавшая и в Циммервальде, и на III Конгрессе Коминтерна, отмечала: «Эпохи социальных переходов и потрясения старых форм производства и форм старого уклада жизни всегда являются также эпохами внутренней разорванности личности. В такие времена имеется лишь очень немного людей, вполне цельных и внутренне крепких. Ленин был таким человеком: он был вылит из одного цельного куска, и отсюда вытекает цельность его жизни. Это внутреннее единство и целость объясняют нам его поразительную силу, его почти сверхчеловеческий юмор во всех ситуациях и положениях… Он стал символом полного единства мысли, воли и устремлений, которое необходимо пролетариату для победы» (Там же: 51). Однако сама она, порвав с компартией в 1927 г., пыталась совместить марксизм с христианским социализмом и гандизмом. Как видно, неслучайно она написала биографии Руссо, Махатмы Ганди, наконец, Льва Толстого. Что тут скажешь: бывают странные сближения.

Конечно, в сборнике, составленном коминтерновцами, приводилась масса высказываний революционных деятелей Востока — скорее прогрессистов-народников, нежели коммунистов. Поветрие марксистских идей оказалось настолько мощным, что они намеревались повести за собой крестьян под этим флагом. Нечто подобное в значительной степени произошло и с советской идеологией.

Надо ли в связи с этим развенчивать Ленина? Стоит ли противопоставлять неоднозначные реалии прошлого и настоящего безальтернативному марксистскому мифу? Люди только и делают, что воюют с химерами собственного воображения. Слабый и блудливый исторический разум всегда предпочтет «нас возвышающий обман».

Смерть Ленина породила волну «трагически-оптимистических» откликов в самодеятельной поэзии. Со временем литературный Ленин становился все более благостным, превращаясь едва ли не в подобие Льва Толстого. Особенно заметно это сказалось на сочинениях для детей. Среди авторов последних впечатляюще проявили себя А. Т. Твардовский и М. М. Зощенко. Затем образ «человечного и простого» Ильича спровоцировал поток зеркально-пародийных анекдотов. Но и тогда ощущался как «вечно живой». Умирала лишь советская идеология.

Мифологический Ленин подобен катастрофическому природному явлению. Его сегодняшний образ не имеет ничего общего с реальным существом — из зеркала конкретных противоречий российской действительности он превратился в зеркало былых надежд на революционное преображение мира. Несчастье (или счастье) выдающихся людей в том, что «жизнь после жизни» непременно сыграет с ними ироничную шутку. И это заслужено в той мере, в какой они попытались пришпорить историческое время. А оно, вопреки всем им, идет своим чередом.

Литература

Алексеев П. В. (1987) Революция и научная интеллигенция. М.: Политиздат.

Атлантикус [Баллод К.] (1907) Марксизм или теория наивысшей производительности. СПб.: Типография «Общественная польза».

Беллами Э. (1891) Будущий век. СПб.: Типография А. С. Суворина.

Бонч-Бруевич В. Д. (1968) Воспоминания. М.: Художественная литература.

Виленский (Сибиряков) В. Д. (ред.) (1924) Политики и писатели Запада и Востока о Ленине. М.: Общество бывш. политкаторжан и ссыл. поселенцев.

Горький М. (2019) Толстой. Чехов. Ленин. М.: АСТ.

Крупская Н. К. (1957) Воспоминания о Ленине. М.: Госполитиздат.

Ленин В. И. (1968а) Лев Толстой как зеркало русской революции // *В. И. Ленин*. Полное собрание сочинений. 5-е изд. М.: Издательство политической литературы. Т. 17. С. 206–213.

Ленин В. И. (1968б) Памяти Герцена // Там же. Т. 21. С. 255–262.

Ленин В. И. (1969а) Доклад на собрании большевиков — участников Всероссийского совещания советов рабочих и солдатских депутатов 4 (17) апреля 1917 г. // Там же. Т. 31. С. 103–112.

Ленин В. И. (1969б) I Всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов 4–28 мая (17 мая — 10 июня) 1917 г. // Там же. Т. 32. С. 261–292.

Ленин В. И. (1973) Л. Н. Толстой и его эпоха // Там же. Т. 20. С. 100–104.

Ленин В. И. (1974) Полное собрание сочинений. 5-е изд. М.: Издательство политической литературы. Т. 35.

Ленин В. И. (1975) [Тверскому комитету РСДРП] // Там же. Т. 46. С. 426.

Ленин В. И. (1970) О значении воинствующего материализма // Там же. Т. 45. С. 23–33.

Лобков З. И., Тверитин В. (1918) Опомнитесь, братья // Пролетарий. 1918. № 4. 12 января. С. 4.

Милюков П. Н. (1991) Воспоминания. М.: Политиздат.

Моррис У. (2010) Вести ниоткуда: Утопия. М.: ЛИБРОКОМ.

Степун Ф. А. (1994) Бывшее и несбывшееся. М.; СПб.: Прогресс-Литера; Алетейя.

Суханов Н. Н. (1991) Записки о революции. Т. 2. Кн. 3–4. М.: Политиздат.

Чулков Г. И. (1999) Годы странствий. М.: Эллис Лак.

Архивы

Российский государственный архив социально-политической истории РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 2. Документы, относящиеся к партийной и общественной деятельности Ленина. Д. 1235.

LENIN AS A MIRROR OF RUSSIAN REVOLUTION

Vladimir Buldakov
Doctor of history, Chief Researcher of the Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences (IRH RAS).
E-mail: kuroneko@list.ru

Lenin did not accidentally call Leo Tolstoy "the mirror of the Russian revolution". In his rejection of autocratic Russia, he was guided not only by Marxist theory, but also by the moral rejection of "stagnant" reality by the Russian literature. Hence the abundance of "livelihood" literary images contained even in Lenin's theoretical works. In this connection, Lenin himself appears as a kind of mirror of not yet understood Russian revolution.

Keywords: Lenin, Leo Tolstoy, economic materialism, Marxism, revolution, utopias, Russian literature

References

Alekseev P. V. (1987) Revoljucija i nauchnaja intelligencija [Revolution and the Scientific Intelligentsia], Moscow: Politizdat (In Russian).

Atlantikus [Ballod K.] (1907) Marksizm ili teorija naivysshej proizvoditel'nosti [Marxism or Theory of Highest Productivity], St. Petersburg: Tipografija «Obshhestvennaja pol'za» (In Russian).

Bellami Je. (1891) Budushhij vek [Future Century], St. Petersburg: Tipografija A. S. Suvorina (In Russian).

Bonch-Bruevich V. D. (1968) Vospominanija [Memories], Moscow: Hudozhestvennaja literatura (In Russian).

Chulkov G. I. (1999) Gody stranstvij [Years of wandering], Moscow: Jellis Lak (In Russian).

Gor'kij M. (2019) Tolstoj. Chehov. Lenin [Tolstoy. Chekhov. Lenin], Moscow: AST (In Russian).

Krupskaja N. K. (1957) Vospominanija o Lenine [Memories of Lenin], Moscow: Gospolitizdat (In Russian).

Lenin V. I. (1968a) Lev Tolstoj kak zerkalo russkoj revoljucii [Leo Tolstoy as a Mirror of the Russian Revolution], Collected Works, 5 Edit., Vol. 17, Moscow: Izdatel'stvo politicheskoj literatury, pp. 206–213 (In Russian).

Lenin V. I. (1968б) Pamjati Gercena [In Memory of Herzen], Ibid., Vol. 21, pp. 255–262 (In Russian).

Lenin V. I. (1969a) Doklad na sobranii bol'shevikov — uchastnikov Vserossijskogo soveshhanija sovetov rabochih i soldatskih deputatov 4 (17) aprelja 1917 g. [Report at a Meeting of Bolsheviks — Participants in the All-Russian Meeting of Soviets of Workers 'and Soldiers' Deputies April 4 (17), 1917], Ibid., Vol. 31, pp. 103–112 (In Russian).

Lenin V. I. (1969б) I Vserossijskij s#ezd rabochih i soldatskih deputatov 4–28 maja (17 maja — 10 ijunja) 1917 g. [I All-Russian Congress of Workers 'and Soldiers' Deputies May 4–28 (May 17 — June 10) 1917], Ibid., Vol. 32, pp. 261–292 (In Russian).

Lenin V. I. (1973) L. N. Tolstoj i ego jepoha [L. N. Tolstoy and his era], Ibid., Vol. 20, pp. 100–104 (In Russian).

Lenin V. I. (1974) Collected Works, 5 Edit., Vol. 35 (In Russian).

Lenin V. I. (1975) [Tverskomu komitetu RSDRP] [Tver Committee of the RSDLP], Ibid., Vol. 46, pp. 426 (In Russian).

Lenin V. I. (1970) O znachenii voinstvujushhego materializma [The Meaning of Militant Materialism], Ibid., Vol. 45, pp. 23–33 (In Russian).

Lobkov Z. I., Tveritin V. (1918) Opomnites', brat'ja [Come Round Brothers], Proletarij, 1918, no 4, 12 January, pp. 4 (In Russian).

Miljukov P. N. (1991) Vospominanija [Memories], Moscow: Politizdat (In Russian).

Morris U. (2010) Vesti niotkuda: Utopija [News From Nowhere: Utopia], Moscow: LIBROKOM (In Russian).

Stepun F. A. (1994) Byvshee i nesbyvsheesja [Former and Unfulfilled], Moscow, St. Petersburg: Progress-Litera; Aletejja (In Russian).

Suhanov N. N. (1991) Zapiski o revoljucii [Notes on the Revolution], 3 Vols, Vol. 2, Iss. 3–4, Moscow: Politizdat (In Russian).

Vilenskij (Sibirjakov) V. D. (edit.) (1924) Politiki i pisateli Zapada i Vostoka o Lenine [Politicians and Writers of the West and East about Lenin], Moscow: Obshhestvo byvshih politkatorzhan i ssyl'noposelencev (In Russian).

Archives

Russian State Archive of Socio-Political History (RGASPI), F. 5, Inv. 2. Documents relating to the party and public activities of Lenin, Arch. 1235.

ГЕРЦЕН: ПИСАТЕЛЬ, АВТОР И ЕГО ГЕРОЙ

Дьердь Зольтан Йожа
Доктор философии (PhD) (по русской литературе),
адъюнкт кафедры русского языка и литературы Будапештского университета им. Лоранда Этвеша (ЭЛТЭ).
1088, Budapest, Múzeum krt. 4/D.
E-mail: jozsagyz@gmail.com

Предмет изучения — сложный феномен нарциссизма в творчестве и личности Герцена. Нарциссизм в первую очередь рассматривается как осмысление пути к самопознанию, благодаря чему происходит постепенное преодоление автобиографического принципа в беллетристике. Особое внимание уделяется и герценовской индивидуальной интерпретации элементов мифа о Нарциссе. Анализ основан на изучении обширного материала, включая тексты автора, воспоминания современников, оценки историков литературы. Проблема получает особую важность в свете теории Бахтина о взаимодействии автора и героя произведения.

Ключевые слова: Герцен, миф о Нарциссе, нарциссизм, автор и герой, самопознание, «внутренний человек», «лишний человек», зеркальность, психопоэтика.

DOI 10.17323/2658-5413-2020-3-1-138-173

Герцен, эмблематичный представитель дворянской культуры второй трети XIX в., вошел в русское сознание как своеобразное явление. Это объясняется его многоликостью: писатель, философ, публицист, мемуарист, редактор, издатель, общественный деятель, сторонник так называемого дворянского революционерства — вот лишь некоторые из наиболее распространенных энциклопедических определений. Все это предполагает — поскольку речь идет о родоначальнике русского персонализма — сильную личность, стремящуюся запечатлеться в памяти будущих поколений. Питавший необыкновенный интерес к собственной особе, Герцен оказался в то же время в роли продолжателя традиций русской гносеологии, универсализма, стал наследником духа русского энциклопедизма, берущего начало в пестрой эпохе Просвещения, и родоначальником русской гносеологической прозы. Он встал на путь провозглашения первенства принципа самопознания, покоящегося на всевластном начале индивида (Гурвич-Лишинер, 1996: 143; Йожа 2018а, 2018б).

Едва ли подлежит сомнению, что одержимость своей персоной, постоянное тяготение к самопознанию и самораскрытию, мотив избранничества, которые

широко обсуждаются в литературе о Герцене, во-первых, наводят на мысль о нарциссическом складе личности, во-вторых, оставили следы и в его текстах, принадлежащих к дискурсам, в высшей степени отличающимся друг от друга[1]. Данный факт, осложняясь аспектами автобиографичности, предполагает контаминирование нескольких методологий, близких к мотивоведческим и психопоэтическим исследованиям, в силу сплетения образа автобиографического героя и фигуры «лишнего человека»[2], осложненных атрибутами, принадлежащими к типу Нарцисса и нарциссической личности. Что касается методов психопоэтики, мы постараемся принимать во внимание традиционно сложившиеся способы изучения соотношения психики автора и текста. С другой стороны, считаем необходимым учесть и модель Е. Г. Эткинда, предлагающего в введении к своей книге монографическую отработку принципов, которые идентифицируются ученым как отражения векторов, предначертавших ориентацию русской литературы начиная с Пушкина и вплоть до Чехова. Если даже не вполне эксплицитно, в трактовке Эткинда психологизм, характерный для литераторов данной эпохи, синкретически возведен к их стремлениям открыть духовный первообраз, которые соответствуют поискам «внутреннего человека».

Забегая вперед, заранее заявляем, что вопрос о «внутреннем человеке», наряду с вышеизложенным кругом проблем, затрагивается в ключевом художественном произведении Герцена — в романе «Кто виноват?»/ Через фигуру протагониста Бельтова открывается путь к размышлениям о возможности реализации наи-

---

[1] Применение методологии, в рамках которой тексты автора рассматриваются как единый корпус, не чуждо практике, установившейся в герценоведении. Такой подход может быть вполне оправдан, во-первых, в свете наблюдений Л. Я. Гинзбург относительно свойственного Герцену жанрового синкретизма, который уловим уже в ранний период его творчества. Во-вторых, как будет показано в дальнейшем, сам юный Герцен поставил перед собою цель обновить «форму повести» путем включения разных дискурсов, традиционно не причисляемых к кругу литературных явлений. Замысел реализовать идею единого синкретического жанра не в последнюю очередь коренился в его сильном увлечении энциклопедизмом. Смешение жанров присуще и мемуарам «Былое и думы», которые отличаются, на взгляд Гинзбург, использованием приемов, характерных для романа. Исследовательница уделила внимание трудности жанрового определения переписки Герцена с невестой, Н. А. Захарьиной. Заметим, что своеобразие эпистолярия во многом обусловлено впечатлениями от чтения Данте Алигьери, Э. Сведенборга, мистической и религиозной литературы: в повествовании этого типа нередко соблюдается принцип сохранения тождества автора-очевидца, рассказчика, и героя. С другой стороны, на основе типологических совпадений, продиктованных духом эпохи, переписку Герцена в целом можно сравнивать и с «Разговорами с Гете» И. П. Эккермана, так как она сходным образом порождается с целью закрепить историю становления идей и поэтики. А переписку с Захарьиной Гинзбург рассматривает как своего рода художественное произведение, считая ее «уникальным документом русского и вообще европейского романтизма» и подчеркивая, что Герцен сам одновременно обращается к ней как «документу» и «поэме». Письма «предназначены дойти до потомства», сохраняют голоса корреспондентов, которые, по словам адресата, «избранные <…> будут слышать <…> и по смерти» (Гинзбург, 1997: 12).

[2] Г. Н. Гай прослеживает процесс разработки образа «лишнего человека» в эпических произведениях Герцена: «Черты “лишнего человека” отмечены Герценом и в автобиографическом произведении “Записки одного молодого человека” (образ Трензинского), и в повести “Долг прежде всего” (образ Анатоля), и в романе “Кто виноват?” (образ Бельтова)» (Гай, 1959: 74).

высших стремлений индивида. Через своего героя Герцен непосредственно касается проблематики «внутреннего человека». Н. И. Пруцков справедливо делает акцент на стремлении действующих лиц романа к обнаружению в себе идеала «внутреннего человека», ориентированного на вечные ценности: «Всех участников трагедии объединяет одно чувство — *желание освободиться от условностей ходячей морали и общественного мнения*, противоречащих естественным влечениям *прекрасной природы* человека» (Пруцков, 1962: 579) (здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, курсив мой. — *Д. Й.*).

Данный круг понятий никак нельзя проигнорировать в случае Герцена. В то же время, как мы увидим, у Герцена и колебания насчет точного определения понятия эгоизма, и амбивалентное его отношение к этому понятию, и собственный *нарциссизм* неотъемлемы от выработки своеобразной «нарциссологии», в результате чего размышления над элементами мифологемы о Нарциссе постепенно становятся своего рода референтами в текстах автора. С точки зрения поэтики Герцена этот вопрос небезынтересно исследовать в ракурсе комплексной проблематики *Герцен-писатель, Герцен-автор и его герой*. Проблематика представляется действительно комплексной, поскольку исследователю почти всегда трудно разграничить Герцена-человека и его двойника-писателя. Важно, что для него самого это, по-видимому, представлялось дилеммой, и поэтому, думается, невозможно дифференцировать «человека» и «писателя/мыслителя». Иными словами, в статье речь пойдет преимущественно о Герцене-авторе, но характерный для него самоанализ существенно осложняет вопрос о разграничении его ипостасей. Однако как раз благодаря такой сложности Герцен и стал родоначальником русской гносеологической прозы.

Тема статьи неслучайно соответствует теории М. М. Бахтина, квинтэссенция которой выведена в заглавии его книги «Автор и герой в эстетической деятельности». Мы заранее фиксируем, что Бахтин, давая определение произведения словесного искусства, принципиально придерживался исходного принципа акцентировки «эстетического события», художественной ценности как решающего фактора. Этот концепт стал доминантой его теории о сложном отношении автора к собственному герою. Мы вынуждены оговорить, что Бахтин лишь коснулся, без попытки анализа, разграничения понятий «автор» и «писатель»: «Это завершение бесконечной, напряженной, всегда открытой темы и возможного этического поступка-жизни совершается через отнесение события — заданным смыслом которого она является — к данному человеку-герою автором, причем этот герой-*человек* может совпадать с автором-*человеком* <…>, но герой произведения никогда не может совпадать с автором-творцом его, в противном случае мы не получим литературное произведение» (Бахтин, 2003: 80). Здесь важно, что текст Бахтина, включая главы, трактующие наружность героя, содержит ряд за-

мечаний, отсылающих к проблемам зеркального отражения, места зеркальности в человеческом сознании, оценки опыта смотрения в зеркало, не говоря о намеках, на основе которых можно предположить, что Бахтин закладывает основы современных нам теорий о нарциссическом нарративе. Это подтверждается и упоминанием имени Нарцисса. С нашей точки зрения, самое существенное его замечание смутно связано с его теорией о переживании отношения к Другому, во всяком случае, акт смотрения на себя в зеркало приобретает магические коннотации: «<…> когда я смотрю на себя в зеркало, я одержим чужой душой <…>» (Там же).

Итак, мы считаем целесообразным прослеживать предпосылки становления позиции Герцена в русле идей о сложном комплексе *писатель — автор — герой*, опираясь на разбор самых разнообразных дискурсов: от текстов Герцена и воспоминаний современников, через оценки русских мыслителей и критиков, вплоть до результатов, достигнутых в исследованиях историков литературы. Акцент ставится на изучении факторов, освещающих взаимоотношения личности, текстов и героев Герцена. Взаимодействия компонентов этого комплекса сложных факторов могут пролить свет на характерный для герценовского письма текстообразующий принцип, наблюдаемый в разнородных дискурсах. Наряду с этим закономерности построения герценовского текста можно уловить с учетом принципа, провозглашенного М. Элиаде (несмотря на то, что он выведен относительно закономерностей зодчества): «Человек строит по архетипу» (Элиаде, 2000: 29).

Тенденциозное утверждение собственной личности как уникального источника и предмета творчества, прозвучавшее в раннем кредо Герцена, сосредоточенность на различении отвергаемых им эгоизма и самолюбия, возникавшая еще в пору романтических мечтаний мысль о чаемом примирении индивидуального и коллективного, которая в итоге разрешилась постулированием первенства элитарности, жажда успеха — константы, важнейшие в текстах Герцена. С другой стороны, черты отшельничества, одиночества и сосредоточенности на себе, контрастирующие с негативным парадоксом празднования Другого и самопразднования, чередуются в портрете Герцена, созданном П. В. Анненковым. Анненков с дистанции смотрит на свои наблюдения: «возмущение» Герцена, вспоминал он, «горячий» тон его статей и правдивый характер отстранили от него других, он «остался один», так шумно хваля в статьях лекции своего друга Грановского, что «казалось, будто празднует свой собственный юбилей» (Анненков, 1983: 210). Более поздний «диагноз» Л. Н. Толстого (тон, выбранный русским классиком, напоминает рассуждения психиатра) сохранился в дневниковой записи от 4 августа 1860 г. Хотя сжатая фраза стимулирована чтением текстов, нет сомнений, что суждения Толстого о творческом методе Герцена-автора смешиваются с вос-

поминанием о впечатлениях от личной встречи с Герценом-писателем: «Риля читал и Герцена — разметавшийся ум — больное самолюбие, но ширина, ловкость и доброта, изящество — русские» (Толстой, 1984: 229). Понятие *самолюбие*, пронизывающее, впрочем, герценовский текст и — согласно прочтению Толстого — являющее собой некий моментально ощутимый текстообразующий принцип, непосредственно связанный с личностью Герцена-писателя (заметим: то же понятие имеет чуть ли не первостепенную важность в этике Толстого), в основном принято классифицировать как наисущественнейшую примету нарциссической личности.

Самолюбие Герцена и для него самого, в равной степени как и предмет его размышлений, — весьма сложное явление, которое одинаково можно объяснить и как продукт «духа эпохи», и как симптом недуга века. Культ индивида, расцвет индивидуализма, философствование о призванности индивида и его судьбе могут истолковываться как маски нарциссического самолюбия. Наряду с этим герценовский концепт толпы, вырабатывавшийся в ранний период творчества, в эмиграции перерос в отрицание *посредственности* под влиянием негативных впечатлений от современного статуса личности в Западной Европе. М. Н. Эпштейн, комментируя герценовскую фобию посредственности, показал Герцена в роли раннего предвестника заката Европы. Мы подчеркнем, что в визионерской картине будущности Европы, написанной Герценом, индивид и коллектив выступают как взаимозависимые величины. Посредственность, по мысли Герцена, чревата вырождением индивида, унификацией. Единообразие мира, утратившего творческий потенциал личности, влечет за собой крушение западной цивилизации, впадающей в отрешенность буддистского типа (Epstein, 2012: 10, 16).

Самолюбие — черта характера, которую Герцен, по всей вероятности, неизбежно и сознательно обнаруживал в собственной личности благодаря неустанному самоанализу и рефлексии. Несмотря на то что самолюбие неизбежно связано с культом индивида, у Герцена оно нередко вызывает сильные выпады и страстные размышления и отвергается как порок, деструктивная сила, тормозящая реализацию положительных поступков или целей. Данное явление трактуется в контексте противоречий Французской революции на страницах мемуаров и соотнесено с восприятием молодого поколения, без участия которого нет «общего» дела, в результате чего попытка обновления общества обречена на провал: «Болезненное и очень бесцеремонное самолюбие давно закусило удила» (Герцен, 1957а: 343). Подобным образом самолюбие бичуется как главная причина фиаско, которое потерпели петрашевцы. Однако при чтении вдруг возникает впечатление, будто речь идет отнюдь не о петрашевцах — мы имеем дело с теоретизированием Герцена о природе самолюбия: «Отсюда безмерное самолюбие; не то здоровое, *молодое самолюбие*, идущее *юноше*, *мечтающему о великой будущности*, идущее мужу в полной силе и *в полной деятельности*, не то, которое в былые

времена заставляло людей совершать чудеса отваги, выносить цепи и смерть из желания славы, но, напротив, самолюбие болезненное, мешающее всякому делу огромностью притязаний, раздражительное, обидчивое, самонадеянное до дерзости и в то же время не уверенное в себе» (Герцен, 1956б: 344). Крайние, эмоционально окрашенные полюсы амбивалентности и страсти, панегирик самолюбию и проклятие ему же свидетельствуют: Герцен четко представлял данное психическое явление, придавая ему особое значение и, в частности, фиксируя его связь с молодостью — возрастом Нарцисса.

Далее стоит остановиться и на словах, воспроизводящих атмосферу юности Герцена, ибо «исповедальность» служит способом теоретического переосмысления феномена собственных нарциссических энергий, сублимированных в форме творческой деятельности. Не менее примечательно, что порок самолюбия, свойственный и его герою Бельтову из романа «Кто виноват?», в приведенном фрагменте представлен как взаимосвязанный с активной деятельностью, приносящей мужчине венец трудов. Ввиду отсутствия возможности полезных деяний самолюбие чревато разрушением, как это случилось в истории Бельтова; можно ощутить, что концепция Герцена прямо соприкасается с векторами судьбы «лишнего человека». Мысль об отказе от надежд на удачу революции, диктуемая эмпирикой парижских впечатлений, сопровождается стремлением Герцена углубляться в психический склад особого типа революционеров, встречаемых в парижских кафе. Их характер, как он констатирует, нередко осложняется отсутствием таланта, т. е. тех энергий, которые превращаются в творческую активность: набрасывая штрихи к психологическому портрету революционеров, Герцен отмечает, что в их среду «втекают непризнанные артисты, несчастные литераторы, студенты, не окончившие курса <…>, артисты без таланта, люди с большим самолюбием, но с малыми способностями» (Там же: 45). Словно перед нами портрет Бельтова, бесплодно пробующего силы на поприщах науки, искусства, политики и любви. Интратекстуальные связи разных дискурсов, как очевидно, выступают в качестве автокомментариев, обуславливаемых типом (нарциссического) саморефлексирования. Недаром в психике революционеров выдвигается мотив самолюбия, компенсирующего отсутствие таланта и моменты неудач. Последние соответствуют переживанию статуса «обыденного либидо», играющего, пожалуй, кардинальную роль в возникновении (патологического) нарциссизма. Самолюбивый Герцен, невольно подчиняясь редко преодолеваемому психологическому механизму проекции, ставит в вину Эмме, жене Гервега, как раз самолюбие. В Ницце, перед окончательной разлукой с четой Гервегов — как это пересказывается в мемуарах, — Эмма называет жену Герцена «самолюбивой», а Герцен, в свою очередь, приписал это же качество Эмме, говоря, что в ней «самолюбие чуть не было <…> главной страстью» (Там же: 264–265).

Дебютировавший романом «Обыкновенная история» (1847) чуть ли не одновременно с появлением «Кто виноват?» (1846) И. А. Гончаров в статье «Мильон терзаний» (1872) тоже касается проблемы «любовь *versus* самолюбие и славолюбие» как раз в рамках изложения своих взглядов на характер персонажей, отнесенных к типу «лишних людей». Главное, что Гончаров невольно теоретизирует именно над проблематичностью творческого метода, основанного на автобиографичности, обнаруживая сходство между судьбой автора и литературного героя, конкретнее, как ни странно, — предлагая аналогичность судьбы Герцена и Чацкого[1]. Фигура Чацкого, который, по мнению Гончарова, образует тип «Чацких», систематично сравнивается с Онегиным и Печориным как тип литературного героя, обманутого своим чувством; в его характере первенствует «раздражение при различных мотивах». И Герцен, подобно своему герою, на которого Гончаров лаконично намекает лишь эпитетом «виноватый», взятым из названия романа, «страдал от “мильона терзаний”», поэтому стал жертвой «лихорадочных ожиданий», как и Белинский (Гончаров, 1980: 44). Личные травмы, постоянно выпадавшие на долю Герцена: статус внебрачного ребенка, «байструка», бедствия, постигающие его с момента ареста, ссылка в Вятку, Владимир, смерть детей, нездоровье жены и др., — определили формирование психического склада, соответствующего критериям травмированной личности, которой согласно Фрейдовой модели возникновения «вторичного» типа нарциссизма приписывается данная патология. Вереница событий кульминирует в свойственном нарциссу акте «нарциссической эскапады» — бегстве из России на Запад, где Герцена ожидало разочарование как результат впечатлений от парижских событий и горькое осознание отсутствия почвы для активного осуществления своих идеалов, не говоря о «семейной драме» со страшным исходом. Все эти события зеркально повторяют действия автобиографического героя, Бельтова, который, осознав свою «лишность», выбирает путь нарциссической эскапады.

Чаще всего вопрос об автобиографичности оказывается одним из наисущественнейших и неразрешимых и для автора, и для интерпретаторов романа. Поэтому целесообразнее всего в первую очередь привести высказывание самого Герцена. Оно отражает осознание автором уникальной и новаторской разновидности единства приемов биографизма и автобиографичности как органиче-

[1] Утверждение этой аналогии проливает свет на историко-литературную проблему возникновения типа «лишнего человека». Попытка Гончарова сблизить фигуры литературного героя Чацкого и писателя Герцена, заслуживающая особого внимания, позволяет предположить, что Гончаров, будучи осведомлен о знакомстве и разговорах Герцена с Чаадаевым, намекает на этот немаловажный факт. В своей книге В. Г. Щукин, уделив внимание проблеме «лишнего человека» и едва ли не впервые обратившись к вопросу психологической мотивированности данного образа, вслед за Тыняновым указал на личность Чаадаева как один из важнейших прототипов «лишнего человека». Потенциально деструктивная сторона психического комплекса нарцисса, идентифицированная в спецлитературе как источник агрессии (Фромм 1994: 175–178), затрагивается в вопросе, заданном Щукиным: «Мог ли “лишний человек” стать цареубийцей?» ((Щукин 2001: 71).

ски связанных друг с другом принципов художественного метода изображения становления личности, как потом, в частности, отметил Н. И. Пруцков (Пруцков, 1962: 563). В пользу этой теории исследователь ссылается на принцип «отражения личности ее творца», который уловил уже Белинский в своей интерпретации повести «Записки одного молодого человека». Достигающий апофеоза принцип возвышается в комментариях Герцена по поводу жанра мемуаров «Былое и думы»*:* «Это мой настоящий genre, и Белинский угадал это в 1839 году» (Герцен, 1956а: 442). По поводу автобиографичности фигуры Бельтова мнения исследователей в значительной степени расходятся. Авторитет герценоведения Л. Я. Гинзбург, специально изучившая автобиографизмы у Герцена, в общем и целом признает преимущественную автобиографичность прозы писателя только со следующей, крайне парадоксальной и сомнительной с точки зрения психологической достоверности оговоркой: «В 40-х годах Герцен отходит от прямого автобиографизма», чтобы потом «вернуться» к нему в «Былом и думах» (Гинзбург, 1977: 242, 243). Из этого чуть ли не прямо следует, что написание романа соответствует фазе, когда автобиографичность у Герцена постепенно сходит на нет. В посмертно опубликованной работе Гинзбург, сдержанно отрицая автобиографичность персонажа, все-таки предлагает компромиссное решение вопроса, благодаря чему вносит ценный вклад в раскрытие специфики психики «лишнего человека»: «Бельтов, конечно же, не Герцен, вовсе не автобиографичен. *Но* в Бельтове объективированы некоторые черты авторского сознания, которое мыслится обобщенно как сознание поколения» (Там же: 26). Мнение Гинзбург вызывает скепсис: доминирует ли в оформлении фигуры Бельтова прием типизации, столь характерной для натуральной школы? Возможно ли это в случае Герцена, столь непреклонно и упрямо провозглашающего первенство индивида? На данный вопрос Ю. В. Манн отвечает отрицательно, выдвигая в качестве контрпримера «любовную коллизию романа» (Манн, 1969: 262). Различие в изображении «лишнего человека» у М. Ю. Лермонтова и Герцена Э. Чансиз относит на счет различия психологического склада авторов, что определено их биографиями, которыми предопределялось становление поэтики. Вопроса о конкретных автобиографизмах Чансиз вовсе не касается, говоря, что при характеристике персонажей Герцен полагается на разбор фактов биографии и факторов социальной среды, детерминирующих становление личности (Chances, 1978: 50). Путинцев настаивает на автобиографичности образа Бельтова в силу его «бесполезности “для общества”» (Путинцев, 1963: 81). Согласно его прочтению, факторы, сыгравшие роль в формировании центрального персонажа, продиктованы жизненными событиями, вследствие которых Герцен вынужден был понять, что его попытки улучшить общество оказались напрасными. Поэтому фигура Бельтова может рассматриваться как автопортрет его создателя, ибо — как Путинцев аргумен-

тирует, ссылаясь на высказывания Герцена, — «драма Герцена после поражения декабристов — в бессилии перед действительностью», поскольку его попытки, согласно собственной ретроспективной оценке, вошедшей в мемуары «Былое и думы», создавать «общества <…> не удавались» (Герцен, 1956а: 144); «по окончании университета Герцен, Огарев и их друзья мечтают о широкой деятельности <…>, но этим планам не суждено было осуществиться» (Путинцев, 1963: 20–21). Даже если позже ссылка как необыкновенная жизненная ситуация, несомненно, стимулировала такие идеи, едва ли кажется справедливым искать причины в разгроме движения декабристов. Насчет автобиографичности фигуры Бельтова Г. Н. Гай высказывается намного осторожнее: ее роль он склонен рассматривать в свете раннего автобиографического кредо Герцена, ставя акцент на пышущем энергией и манифестированном в этой герценовской формуле творческом потенциале, считая его «выражением стремления сильной творческой индивидуальности к самораскрытию, признаком лирического начала в художественном даровании <…>» (Гай, 1959: 22). С другой стороны, Гай сосредоточен на фигуре Бельтова, в котором, однако, склонен видеть исключительно воплощение социальных аспектов типа «лишнего человека». Согласно оценке исследователя, в отличие от других литературных героев, традиционно причисляемых к данному типу, Бельтову вместо слабости и пассивности присуща «жажда деятельности» (Там же: 77–78, 80). Конечно же, при создании образа Бельтова Герцен в результате систематичного изучения возникновения данного круга литературных героев сознательно апеллировал и к разным прототипам «лишнего человека», как это явствует из его публицистических произведений «О развитии революционных идей в России» (1850) и «Very Dangerous!» (1859), не говоря о статье «Лишние люди и желчевики» (1860). Описание Герценом размышлений героя об императивах «деятельности» (Герцен, 1955: 105–106) — имеются в виду гражданский долг и служение пользе общества, категории импортированные и имеющие мало смысла в обществе, находящемся под патриархальным управлением царя, — дает повод Я. Е. Эльсбергу сформулировать свой взгляд на тип автобиографичности, который наблюдается в романе. Сходство между автором и героем обнаруживаются в аналогичности мысли Герцена и Бельтова, ибо «легко узнать в этих словах думы, тревожившие самого Герцена. Можно даже сказать, что Герцен здесь имеет в виду больше самого себя, чем Бельтова <…>», однако позиция Герцена исключает идентификацию с собственным героем по причинам «социального» разряда, так как Бельтов не «удовлетворяет» критерию «передового человека», идеала писателя (Эльсберг, 1948: 137).

«Selbstzentriertheit», одержимость собственным *я*, более выпукло манифестируется после того, как Герцен решается на жизнь эмигранта. Пережитые им стадии разочарования, успеха, воображения себя «лишним человеком» — согласно

коду ключевых сюжетных элементов мифологемы о Нарциссе — можно идентифицировать как симптомы первичного и вторичного нарциссизма.

Анненков уловил сдвиг, наблюдаемый после бегства из России в личностном и публичном поведении Герцена. Он объяснял, что отдаление Герцена от Москвы и душевный кризис («он вышел из довольно сложного психического процесса и воспитался массой очень тонких нервных раздражений») стали компенсироваться «сложной торопливостью поставить себя в центре новой жизни» (иначе говоря — в центре внимания) и постепенно понуждали Герцена возвратиться на путь славы, непрестанного достижения успеха. Анненков приписывает это возрасту и жажде деятельности: «ему шел 35-й год», «когда человек испытывает обыкновенно мучительную потребность самой напряженной деятельности» (Анненков, 1983: 313). Нам данная характеристика важна в свете фактов, верифицирующих воздействие составляющих нарциссической личности на создание Герценом героев раннего типа «романтического мечтателя» и, с другой стороны, неустанную апелляцию к употреблению мотивики мифологемы о Нарциссе как подтекста романа «Кто виноват?». Согласно Анненкову, страдальческая недееспособность, беспомощность Герцена оправдываются в свете обстоятельств и пребывания в эмигрантской среде. В то же время в воспоминаниях Анненкова слышны отзвуки романа «Кто виноват?»: получается, что от своего героя Герцен не отделался, продолжая жить с ним в симбиозе даже после публикации произведения. В это время Герцен по-настоящему смотрит собственной «лишности» в лицо, приходя к полному пониманию обстоятельств, в которых он очутился: «простора для деятельности в той форме и *в тех размерах*, какие ему были нужны, он, конечно, найти не мог» (Там же: 313). Выделенное нами словосочетание также недвусмысленно передает, что Анненков видит мощность амбиций Герцена, чьи проекты в этот период задумывались как *грандиозные*, направленные на радикальную реформу обновления общественности и в России, и на Западе.

Претенциозность Герцена очевидна и в попытке инициировать «диалог», в конечном итоге — несостоявшийся, односторонний, с высшими кругами правления, с августейшими особами через публицистику, напечатанную в «Полярной звезде» и «Колоколе». Эта попытка оборачивалась своего рода вызовом на дуэль (в подражание Пушкину), на которую вызванный не пришел. Публицистика Герцена — аналогичный поступок в вербальном пространстве. Обращение к звуку бесполезному, слову безответному, немедленно вызывающим в памяти несбывшийся диалог между Нарциссом и нимфой Эхо, свидетельствует о тонкой наблюдательности критика: он переосмысливает «публичное поведение» писателя (встревожившее в свое время, кстати, и поклонников Пушкина) в свете психологических мотиваций. Анненковым названы в первую очередь факторы психологические, в том числе — позирование, декларация собственного всезнания,

«пустословие». Именно так выражается критик, анализируя увидевшую свет в 1850 г. брошюру «О развитии революционных идей в России», называя ее «пустословием», фальсификацией и искажением действительности. Стоит обратить внимание, что взор мемуариста сосредоточен прежде всего на психологии личности Герцена: перед ним открылась возможность привлечь внимание публики, он же стал «кокетничать перед Европой <…> неизвестною им землей, своей ролью в ней <…>, таинственными элементами», а на народ «публицист перенес воображаемые элементы революционерства, социализма, коммунизма», — заключает Анненков и сразу же подводит итоги, проливающие свет на эгоцентричность поведения Герцена: он всего лишь «раздувал <…> *самого себя*» (Там же: 530–531).

В размышлениях юного Герцена, его сомнениях, дилеммах, планах касательно литературного поприща отражаются сходные черты характера. Они, в частности, переданы в письме к Н. И. Сазонову и Н. Х. Кетчеру (вторая половина октября 1836 г.) и относятся к периоду ссылки и мистического ученичества под руководством А. Л. Витберга, личного знакомого Н. И. Новикова[1]; в том же году появилось произведение «Записки А. Л. Витберга», авторство которого остается сомнительным; в нем нарратор рассказывает об участии в кружке А. Ф. Лабзина и о сущности царившей там масонской религиозности (Герцен, 1954в: 434). Лаконичные детали, иллюстрирующие фазы формирования мистического братства, артели «каменщиков», строителей храмов, преобразовавшейся впоследствии в элитарную организацию масонства, позже вошли в гл. XVI «Былого и дум», посвященную истории знакомства с Витбергом (Герцен, 1956а: 277–290). Литературные амбиции Герцена простираются до освоения универсализма, столь характерного для доктрины масонства, и намерения обновить эпический жанр[2] и одновременно — переосмыслить функцию литературы. В данном фрагменте текста ориентиры «здесь» и «там», «жизнь» и «литература», составляющие смысловые пары, являются ключевыми понятиями; интимный тон, намеки на великих предшественников и жанр торжественного послания к друзьям раскрывают мысль Герцена и психологические ее аспекты. Вдобавок, очерчивая замысел грандиозного произведения, Герцен обращается к моделям, воплощенным в произведениях Данте и Гете: «Можно ли в форме повести перемешать науку, карикатуру, философию, религию, жизнь реальную, мистицизм? Можно ли среди пошлых фигур des Alltaglebens поставить формулу алхимическую, середь страстей теллурических — простите выражение — показать путь *туда*? Как вы думаете? Пример хотя не нужен — но приведу — “Виль<гельма> Мейстера Lehrjahre и Wanderjahre“. Там даже технология. А чего нет у Данта?» (Герцен, 1961б: 112)

---

[1] О влиянии масонского мистицизма см. работы В. В. Зеньковского и М. Малии (Зеньковский 1991; Malia 1961).

[2] Уместно здесь напомнить о ценном вкладе Веселовского в изучение этого важного вопроса: «религиозный идеализм» периода ссылки, несомненно, способствовал «мирскому писательству Герцена» (Веселовский, 1909: 23).

(курсив Герцена). Юный Герцен таким образом мыслит собственную позицию автора как призвание великого алхимика, чья посвященность в таинства понимания и воссоздания великого синтеза равна великолепию бессмертных произведений Данте и Гете. Чувство избранничества, убежденность в осуществимости словесного новаторства, соизмеримого с вехами истории всемирной литературы, подтверждают уверенность Герцена в достижимости грандиозных перспектив, открытых ему по велению высших сил. Стоит напомнить об употреблении Герценом прилагательного «грандиозный» для описания сущности витберговского проекта храма Христа Спасителя, сделанного в афористичной форме: «Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами» (Герцен, 1956а: 282). В соответствии с присвоением себе высшей роли Герцен и выбирает писательский псевдоним Искандер (тем самым претендуя на роль всемогущего романтического теурга, обладающего силой и магической способностью к преображению мира). За именем нетрудно обнаружить намерение заставлять читателя, разгадывающего истинную природу носителя имени, вникнуть в его историю: автор чуть ли не открыто идентифицирует себя с Александром Великим; претенциозность псевдонима в то же время сопровождается читательской ассоциацией с широко известным именованием Александра Македонского — «Покоритель мира». В итоге создается как бы двойной, даже тройной псевдоним, в конце концов вскрывающий истинную природу носителя. Одержимость «грандиозной самостью», как учит психология, — примета нарциссической психики. Ради целостности анализа мы обязаны учесть и многоговорящий факт, что Герцен в нарциссическом самоутверждении доходит до того, что в переписке с приятелями и соратниками в большинстве случаев подписывается этим же псевдонимом. Можно только догадываться, отражается ли в этом стремление отойти от фамилии, чтобы прикрыть собственное смутное происхождение. Так или иначе, принятие писательского псевдонима для Герцена обозначает, что он меняет личность. Этот момент наступает как второе крещение, попытка радикального разрыва с прошлым, подобно тому, как происходит с монахом в случае вступления в орден. Даже в личной переписке «старый Герцен» забыт, теперь существует только писатель, призванный к осуществлению великих деяний.

Сосредоточенность на себе как на идеальном инструменте, своего рода максимально точно воспринимающем приборе, в случае Герцена заметил и Ю. И. Айхенвальд, указавший на соотнесенность герценовского самосозерцания с порождением словесного произведения. Взгляды на преобладающую роль *зеркальности* в творческой мысли Герцена критик не зря формулирует во вступлении к эссе о Герцене: ощупывая самоцентричность психики Герцена, Айхенвальд обращается к нему как «деятелю и созерцателю»; затем данным категориям придается чуть ли не онтологический статус: «он не только *был*, но и созерцал» (курсив Айхен-

вальда). Созерцание в этом смысле рассматривается как ключ к пониманию феномена Герцена. Персонализм, составляющий магистраль его философских воззрений, неотъемлем от собственной его персоны: «актер и зритель, лицедей своего лица» (здесь одновременно слышен гностический аккорд мысли о тождестве познающего и познаваемого), Герцен, который «углубленно жил и в мире внутреннем» (в фокусе опять нарциссический уход в сферу собственного *я*), «всегда держал перед ними [событиями] *зеркало своего духа, видел и слушал самого себя*, это опасно граничило с *позой* <…>» (Айхенвальд, 1998: 208). Сходным образом суммирует свои взгляды на уникальность личности Герцена и кн. Д. П. Святополк-Мирский: «<…> он один из немногих русских писателей, которые явной позы не боятся» (Святополк-Мирский, 2005: 374).

Крайнему индивидуализму закономерно сопутствует ощущение избранности. Последнее налицо в психологической обрисовке литературного героя, появившегося уже у Лермонтова. Присутствие персонажа, ощущающего себя избранником в результате трансформации «возвышенных пороков» в нечто героическое, согласно Гинзбург, кроме Лермонтова, можно наблюдать «даже у Герцена периода его юношеских автобиографических набросков, и его переписки с невестой, переписки с ее демоническими мотивами» (Гинзбург, 1977: 118). Чувство избранности и жесты волюнтаристского решения чьей-то судьбы подчеркнуты и В. К. Кантором, осмысливавшим философское наследие Герцена. В поисках психологической мотивировки эволюционирования герценовской мысли Кантор ссылается на факт признания Герценом собственной «избалованности», который сохранен в записи в *Дневнике* писателя (Герцен, 1960б: 609). В дальнейшем, учитывая дальнее родство отца Герцена с династией Романовых, Кантор с психологической достоверностью указывает на претенциозность псевдонима Искандер. Затем, подчеркивая среди обстоятельств жизни писателя избыток материальных средств, Кантор резюмирует: «это не могло не давать Герцену представления о *значимости собственной персоны*», и затрагивает психологическую мотивированность выбора писательского псевдонима: «Свое царское достоинство он обозначил псевдонимом — *Искандер,* т. е. *Александр Македонский*» (Кантор, 2011: 34–35).

Нарциссическая переоценка собственного *я* уловима и в Бельтове из романа «Кто виноват?». Во-первых, выбирая имя Владимир для героя, Герцен не мог не учесть явной переклички с именем князя киевского, давшего народу новую веру и новую государственность. В портрете Бельтова как кривого отражения образа автора (и его грандиозных проектов) полунасмешливо дремлет потенциал образа великого человека, залога великих преображений общества. Неслучайно Жозеф, безусловно добросовестно проштудировавший историю России, «перекрещивая» своего питомца, обращается к нему *Вольдемар*. Здесь скрывается туманный игривый намек на скандинавское происхождение имени, и тем самым —

на норманнскую теорию. Можно воспользоваться оборотом Кантора: «царский автор — царский герой» и прибавить: царское имя.

Современник, критик не мог обойти молчанием культ индивида, ощущаемый в романе. В рамках широкого и скрупулезного обзора восприятия произведения современниками Г. Г. Елизаветина останавливается на разборе интерпретации С. П. Шевырева, сосредоточившегося на гипертрофии личности («излишне развитой») самого писателя (Елизаветина, 1979: 62): Шевырев отмечает и его «лишность». Этот факт, обусловленный обстоятельствами жизни, Герцен окончательно осознал в эмиграции. Эмпирика, подающая автору импульсы для постоянных размышлений, легла в основу системной разработки концепта «лишнего человека», ставшего своего рода «философемой» и даже концепцией, изложенной в публицистическом произведении «О развитии революционных идей в России», как мы помним, квалифицированной Анненковым как пустословие. В романе Герцена экстренное проявление «индивидуализма» (осмелимся уточнить выражение Шевырева — эгоцентризма) наводит критика на мысль об идолопоклонстве личности перед собой. Ибо, по выражению Шевырева, современная личность «из себя самой хочет <…> почерпнуть всю жизнь, все содержание, все воззрение на мир, даже самый язык <…>» (цит. по: Елизаветина, 1979: 62). Важно подчеркнуть, что тот психологический портрет Герцена- писателя, собственно — мегаломана, который обрисован в трактовке Кантора, в высшей степени перекликается с ощущением современника, проводившего параллелизм между Герценом-автором и его героем Бельтовым. Примечателен и факт, что Шевырев в круг своих размышлений о перерастающем все пределы индивидуализме вовлекает также проблему *языка*, на которой, как известно, сконцентрирована античная мифологема Нарцисса: ввиду отсутствия адекватного средства общения единящий принцип Эроса бессилен, диалог между нимфой Эхо и древнегреческим юношей обречен на фиаско, как и в случае Бельтова и Круциферской на берегу реки в кульминационном пункте произведения. Этот ключевой «диалог», кстати, также оборачивается «пустословием», как сама Круциферская это констатирует: «Ах, Бельтов, Бельтов, зачем все это, зачем этот разговор?» (Герцен, 1955: 174) (более подробную интерпретацию данной сцены см.: Йожа, 2018б: 73–76). Принцип диалогизма, переоткрытый Бахтиным (первые проявления этого принципа наблюдаются у Достоевского, затем у Вяч. Иванова, но сама антропологическая сущность диалога, пожалуй, открыта Платоном), эксплицитно нарушается в разговоре Любоньки и Владимира Бельтова, а в свете отзыва Шевырева о романе эгоцентрическая замкнутость языка Герцена, порожденная своеволием автора-себялюбца, так же положит конец диалогу между читателем и автором, читателем и произведением. При отсутствии живого контакта между текстом и читателем, возникающем из-за языка произведения, текст перестает быть но-

сителем квинтэссенциального критерия литературного произведения, теряет потенциал вызвать сострадание или страх. А если — как постулируется в «Поэтике» Аристотеля — данных качеств не хватает, то у литературного произведения нет возможности дать читателю катарсическое очищение.

Неудивительно в свете вышесказанного, что Айхенвальд, при анализе творчества Герцена сконцентрировавшийся на образе *зеркала*, переходит к трактовке весомости *индивидуально порождающегося языка*, прибегая к минералогической метафоре и символике влаги, обладающей первостепенной функцией в истории Нарцисса: «В Герцене было много самоцветных слов, которые лились потоком…» (Айхенвальд, 1998: II, 209).

Необходимо уточнить понятие нарциссизма в случае Герцена: как присущее в равной степени и писателю, и автору, и его героям явление, нарциссизм определяет и публицистический, и философский дискурсы Герцена, становясь также важным источником формулировки гносеологической модели, предметом размышлений и саморефлексии, способом самопознания, методом понимания личности, ее призвания и места во Вселенной.

Рискнем отметить, что культ живой энергии личности как источника сознания своего назначения на свете — путь к познанию высших миров, ведь в случае Герцена этот культ вырастает на почве идей и форм, усвоенных им в период романтических исканий. И. И. Евлампиев, вопреки традиционной трактовке идей Герцена, рассматривает их в рамках истории русской метафизики. Исходной точкой Евлампиев также выбирает период освоения Герценом гегельянства. Однако ученый предлагает переакцентировку, подчеркивая вертикаль мысли Герцена, который мыслил потенциальный рост отдельной личности «в рамках объемлющей его духовно-мистической цельности». Главным ориентиром здесь неизменно выступает принцип соотнесения человека с Богом, однако «в отличие от линии, маркируемой, в первую очередь, именем Вл. Соловьева, у Герцена акцент ставится на творческой активности и свободе отдельной личности» (Евлампиев, 2000: 71). Получается, что возможность заимствования Герценом плоского гегельянского рационализма отпадает, поскольку в его концепции индивидуальная свобода (которая, как Евлампиев обращает внимание, для славянофилов воплощала зло) мыслится как проявление «метафизического Абсолюта» (Там же: 90).

Не претендуя на исчерпывающий обзор современной спецлитературы, посвященной феномену нарциссизма, необходимо отметить, что его вовсе не принято относить к психопатологии. Наоборот, согласно теории Грюнбергера, нарциссизм присутствует в пренатальной жизни (Grunberger, 1979), а как известно, уже Фрейд, сделавший первый серьезный шаг к истолкованию этого психического феномена, подвергал собственную первоначальную позицию радикальному пересмотру и в итоге уточнил ее, разделив «первичный» и «вторичный» нарциссизм.

Последний мыслится как реактивный способ человеческой психики, действующий как самозащита от травм. Культуролог-психоаналитик наряду с практикующим психоаналитиком склонны видеть в нарциссизме первоисточник творческой и интеллектуальной деятельности высокого качества (Lacan, 2006; Kohut, 1977), тогда как современные психологи соотносят его с симптомами отчужденности, самосредоточенности, интровертности, холодной требовательности, свойственными нынешним поколениям, нередко с социологическими обертонами.

Тщеславие и, главным образом, избранничество как сублимированный эквивалент нарциссической самонадеянности (одержимости грандиозной, архаической самостью) достигает кульминации в проекте Герцена увековечить собственную биографию в многотомном издании мемуаров «Былое и думы», которое — с учетом намерения автора стать великим летописцем своего века — может считаться нескромной попыткой обнародовать собственную личную жизнь. Нет сомнений, это чувство в Герцене подпитывалось переживанием конкретных жизненных ситуаций, а с другой стороны — событий духовной жизни автора: социальным его статусом внебрачного происхождения, положением ссыльного, идентифицировавшего себя с великими изгнанниками, Овидием[1] (двойной аспект овидиевской темы у Герцена присутствует как код, определяющий духовную вертикаль «Метаморфоз», и как вечная модель непримиримого столкновения светской власти и писателя[2]) и Данте, и с мучениками *непорочной* жизни из сборника «Четьи-Минеи». Свою роль сыграла и встреча с Витбергом, жерт-

[1] Изгнанический миф как один из центральных векторов становления русской поэзии начиная с XIX в. исследован в монографии К. Ичин, посвященной воздействию Овидия на русскую поэзию от Пушкина до Бродского. Ичин впервые затронула широкий вопрос об Овидиевом тексте, ограничившись в предисловии анализом общих положений рецепции Овидия в русской культуре и литературе (Ичин, 2007).

[2] Вслед за увлечением Пушкина римским поэтом Овидий, среди других, был канонизирован как эмблематичная фигура словесности, «как один из законодателей парнасских, великих поэтов, иностранных и российских» (Белинский, 1955: 359). Имя Овидия не раз появляется в сочинениях Герцена, у которого образ римского поэта ассоциируется с фигурой Пушкина, «нового Овидия», высланного Александром «к южным границам империи» — как в брошюре «О развитии революционных идей в России» (1858), где образ соседствует со словосочетанием «грязная река» России (ср. «омут»). Имя римского поэта связано и с историей русского масонства, по крайней мере, по двум причинам: во-первых, «Метаморфозы» издавна входят в список «масонской» литературы, во-вторых, кишиневская ложа, как предполагают исследователи, приняла название «Овидий» по инициативе Пушкина во время его ссылки. Книга «Метаморфозы» спустя много лет трансформируется в сознании Герцена в предвестие общественно-политического переворота: в автографе статьи «Порядок торжествует!» (1866), посвященной разложению старого режима и революции, Герцен обращается к названию книги в связи с правительственными реформами: «к (овидиевскому) (новому) какому-то превращению» (Герцен, 1960а: 192, 351). В статье «Княгиня Екатерина Романовна Дашкова» (1857) наличествует комплекс разнообразных мотивов, соотносимых с феноменом Овидия, чей образ выступает как неразрывно связанный с языком: цитата «легкий язык Овидия», приводимая Герценом из речи княгини, соотнесена с темой «богатства и изобилия» русского языка (Герцен, 1957б: 402). Если даже имя Нарцисса здесь явно наделено другой семантикой — оно же упоминается как имя любимца Петра III, арапа (Там же: 383–384), анекдот о котором сохранился в сочинении Пушкина, — все-таки двукратное повторение мотивов, связанных с Овидием, неслучайно. Это подтверждается и тем, что в варианте текста последней повести «Доктор, умирающий и мертвые» этот же любимец русского царя опять-таки связывается со способностью/неспособностью говора/языка: «сам он наверное не знал бы, что сказать» (Герцен, 1960б: 703).

вой преследований, представителем таинственного братства масонов, ориентированного на достижение идеального, осуществляемого индивидуальным путем самоусовершенствования.

Ссылка, давшая уникальные импульсы, согласно собственному признанию Герцена, соответствует «годам ученичества», т. е. неутомимым поискам и созреванию идейной позиции. Не лишним будет указать на аналогичные явления в судьбе Н. П. Огарева, с которым Герцен сосуществовал. Записи Огарева, вошедшие в автобиографический очерк «Кавказские воды», хранят впечатления от встреч с бывшими участниками декабристского движения во время посещения Пятигорска. Чрезвычайно любопытно, что данная группа деятелей у Огарева лаконично упоминается как «тайное общество 1825 года», без намека на политические цели. Эти события и встречи переживаются мемуаристом как соприкосновение с сакральным. Огарев оказывается под сильным воздействием ореола вокруг А. И. Одоевского: в фокусе — пережитое им, но мысль о полной гармонии наружности и излучаемой силы гения пронизывает описание светлой личности Одоевского, как бы воплощающей чаемый идеал преодоления дуализма человеческой породы — в этом месте налицо существенная перекличка с темами Герцена. Ибо почти тождественный по словесному оформлению фрагмент имеется в сочинении «Записки А. Л. Витберга», который Герцен якобы писал под диктовку. В нем подобно обрисован портрет Лабзина, в котором показано совершенство согласованности физического и метафизического в бывшем масоне, преодолевшем дуализм бытия: «Говоря о Лабзине, скажем и о его наружности, которая *так тесно связана с внутренней жизнию*. Вид его был важен; держал голову более вверх; очки, большой нос и что-то презрительное в губах; самая походка его придавала ему что-то важное и гордое» (Герцен, 1954в: 435). Причастность к этому кругу порождает ощущение элитарности у Огарева в период его собственного ученичества, руководимого не кем иным, как психопомпом Одоевским, продолжателем дела Новикова (см.: Огарев, 1952: 396–413). Воздействие его несомненно способствовало росту убежденности в собственной избранности. Если сопоставить эту историю с культовой атмосферой, возникшей после легендарного события на Воробьевых горах, навсегда связавшего Герцена и Огарева, знакомство с Одоевским и его окружением как бы повторяет, зеркально отражает пережитое Герценом в отношении к Витбергу.

Осмысление клятвы на Воробьевых горах для Герцена и Огарева дало толчок процессу как мифологизирования этого события, так и самомифологизирования. Обе тенденции вписываются в романтические «жизнетворчество» и «мифотворчество», по необходимости сливающиеся. Существует несколько версий этой истории, относящихся к разным периодам творчества Герцена. Одна из них содержится во фрагменте автобиографической повести «О себе», не вошедшей

в академическое собрание сочинений в 30-и томах, а напечатанной отдельно[1]. Фрагмент изобилует лексикой, передающей переживание экстатического слияния со сферой сакрального. Момент просветления приходит как торжественный финал некоего ритуала, приводя к осознанию собственной посвященности и закрепляя веру в собственные избранничество и миссию: «Какая откровенность! Какое бескорыстие во всех мечтах! Благословляю их. Долго мы не могли насмотреться друг на друга. Казалось, бытие наше просветилось». Преодоление корысти, эгоизма переживается как единение со Вселенной, эмпирика трансформируется в высшее понимание *бытия* как чуда на земле, но в то же время за миг появляется мысль о духовном перерождении, о возникшем новом индивиде, призванном к великому делу пророчества. Осознание в себе высшего *я*, собственного избранничества сопровождается ощущением призванности, приводящим к сакрализации переживания, к взгляду на себя как «апостолов», избранных на великие страдания.

Идеализация, поэтизация последовавших трагических жизненных событий, о которых уже говорилось, перешла в мифологизацию случившегося и привела к появлению личного мифа. Не будет преувеличением сказать, что сам Герцен это отлично понимал, поскольку сам признавался, что его писательский метод состоит в трансформации своей биографии в *иероглифы*. Ассоциативный круг, семантическая аура слова наводит на мысль о явлении грандиозных размеров, соизмеримых с египетской архитектурой. (Витберг склонен был если даже не к самомифологизированию, то, по крайней мере, к такому восприятию бытия, которое симультанно мыслится в планах земного и символического-трансцендентного. К примеру, как известно, выбрав профессию зодчего и стремясь к одухотворению своих занятий, он присоединился к вольным каменщикам. Герцена-адепта Витберг ознакомил с историей зодчества в масонском духе еще в годы вятской ссылки.) Мотив иероглифов немедленно вызывает в памяти и грандиозные фигуры фараонов. Ведь продукт увековечивания эмпирики, согласно принципу поэтики Герцена этого периода, уподобляется им самим тайнописи древних пирамид, воздвигнутых в честь прошедших путь обожествления фараонов. Ощущение низких будней компенсируется нарциссической эскападой, оберегающей от инерции, бездействия, бессилия, сопровождаемой тем особым типом романтического «жизнетворчества» (Гинзбург, 1997: 10), который стимулирует ряд мифов и культов (имеется в виду уникальная атмосфера дружеских, мистико-идиллических встреч Огаревых и Герценов[2]), порождающих акты и тексты самомифологизирования.

---

[1] Литературное наследство. Т. 63: Герцен и Огарев. Кн. III / АН СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1956.

[2] В работе, посвященной истории «союза четырех», В. Фреде, восстанавливая нарратив и идейный фон этих отношений, указывает на практику разглядывания портретов, если угодно — зеркальных отражений друг друга. «Сама дружба превращается в акт религиозного поклонения. Герцен и Захарьина говорят, что “поклоняются” друг другу, и созерцают портреты друг друга, точно иконы» (Фреде, 2001: 165).

Мотивы письма как самоотражения и буквального трансформирования собственного *я* в образ апостола перекликаются с ключевыми элементами мифологемы о Нарциссе, с лексемой *эхо,* образом зеркала и понятием самолюбия. Они в качестве инвариантов органически интегрированы и в философский, и в беллетристический дискурс Герцена. Матрицу инвариантов необходимо изучать в свете нарциссически-амбивалентных реакций Герцена на собственное положение. Как видно из нашего анализа, акт письма, творение текста, автобиографичность последнего в доэмиграционный период в основном сконцентрированы на самовыражении и самопознании. На чужбине все это резко переворачивается: вместо манифестированной самососредоточенности Герцен бросается в другую крайность: он приступает к делу масштабного коллектива — то ли европейского человечества, то ли общества России. Те же мотивы превращаются в способ утверждения *я*, собственных нарциссических призванности и самоутверждения. (Здесь, добавим, очевидны амбивалентность и отказ от противостоящих друг другу систем ценностей, репрезентируемых Россией и Западом. До эмиграции симпатии Герцена направлены на Запад, а там вскоре после кризиса он погружается в дела России.) События, в которых господствуют переживания личного характера, расширяются в восприятии Герцена до колоссальных масштабов: на свою деятельность он смотрит как на спасение России.

Нижеследующая цитата свидетельствует об углублении Герцена в многослойную символику зеркала, которая концептуально интегрирована в контекст, содержащий мысли о границах познания. Если человеческий ум по причине субъективности в итоге препятствует объективности познания, то зеркальный образ в принципе принадлежит к сфере идеальных, наиболее точных представлений о мире, представляется как своего рода совершенный инструмент, гарантирующий неискаженное, некривое отражение действительности. Субъективность вытекает из собственного, индивидуального, неповторимого опыта индивида: нельзя представить, утверждает Герцен, человеческий ум «страдательным приемником, особого рода зеркалом, которое отражало бы данное, не изменяя его, т. е. во всей его случайности, не усваивая, тупо, бессмысленно <…>» (Герцен, 1954д: 105). Несомненно, здесь появляется и ключевое понятие гносеологического процесса, сопровождаемого беспрерывным рефлексированием, необходимым для преодоления субъективности в ходе познавательного процесса. По словам одного из комментаторов, убежденность Герцена в миссии «психиатрии» в процессе познания обусловлена идеей активной и плодотворной роли индивида. Благодаря этому достигается идеальная разумность: «Герцен указывает на активный характер процесса познания. По своему существу этот процесс всегда есть не что иное, как “разумная деятельность”» (Соколов-Теплов, 1962: 10). В результате познаваемая действительность и ее образ есть сумма индивидуально обре-

таемых отражений, которые постигаются эмпирическим путем; их совокупность соответствует идеальному зеркальному образу Вселенной. Как заключают исследователи, по Герцену, познание — не чаемый результат, а беспрерывный процесс, причем оно окрашено переживанием особого рода: «Познание — это искание истины», и в глазах Герцена познание истины есть «драма» (Там же). Отсылка к древнему литературному роду и жанру означает, что познающий в идеальном случае переживает катарсическое очищение, т. е. своего рода метаморфозу, схему которой можно передать словами семантического ряда *созерцание — самосозерцание — познание*, создающими универсалию; эти элементы закодированы в мифологической истории о Нарциссе. Познание в его случае равняется катастрофе, чреватой трагическим исходом. Нарциссу не было суждено познать себя. Но момент саморазглядывания в зеркальной глади ручейка синонимичен акту перерождения. Мы позволим себе добавить, что «наказание» юноши за непослушание, за нарушение закона богини любви, за индивидуалистическое противостояние, в итоге — за бунт против порядка, не так уж строго, ведь богиня любви не может не проявить милосердия уже в силу того, что несчастный смертный в конце концов осознает, что любовь сильнее всего: он по милости Афродиты обретает вечную жизнь, превращаясь в цветок, навсегда сохраняющий живое свидетельство о его истории. Недаром акт познания обусловлен актом самопознания, постижения субъективности себя как индивида.

В мемуарах Н. А. Тучковой-Огаревой содержится свидетельство, что у Герцена, многократно апеллировавшего в сочинениях к зеркальным образу и символике, как бы развился некий страх зеркала. В нынешней психопатологии это явление называется термином Ш. Ференци «эйсоптрофобия». Во время внезапной болезни, одолевшей писателя, зеркало стало объектом испуга: все более ослабевающий больной стал путать его с окном[1]. Симптомы эйсоптрофобии проявились у Герцена во время агонии.

Другой важный мотив мифологемы, имя нимфы, слово *эхо*, со временем превратившееся в нарицательное и используемое с все умножающимися всевозможными коннотациями в разнообразных дискурсах XIX в., относительно часто встречается в текстах Герцена. Пример тому — перевод Герценом «Рассказов о временах меровингских» О. Тьерри, содержащий важную тему смены исто-

[1] Страдавший диабетом Герцен внезапно, после того как его посетил И. С. Тургенев, занемог с симптомами воспаления легких и стал бредить во сне и даже в полубодром состоянии, что было следствием общего ослабления организма. Тучкова-Огарева подробно описывает его болезнь и последние дни в гл. XVII мемуаров. Фатальный диагноз был установлен после консилиума. В последний день Герцену после беспокойно проведенной ночи стало тревожно и как будто лучше, он чувствовал страшный голод, но после еды впал в бредовый сон: «Сон был тревожен и мало-помалу перешел в бред с открытыми глазами, — пишет мемуаристка. — За его кроватью висело зеркало, в которое виднелось окно. Это зеркало мало-помалу стало занимать его и, наконец, беспокоить». Герцен, как сообщается, был встревожен мыслью, что «здесь все на виду», и несмотря на объяснения, «по-видимому, он уже понимал не ясно», близкие были вынуждены «завесить» «зеркало черной шалью» (Тучкова-Огарева, 1956: 218).

рических эпох. Слово *эхо* в словаре автора текста, в частности, используется для создания образа хранителя памяти о трагических событиях — лица, голоса, рассказчика, вестника. Герцен, без сомнения, вполне осознавал значимость семантических слоев данной лексемы. «Григорий Турский — человек прошедшего, но прошедшего лучшего, нежели тягостное настоящее, верное эхо скорбных звуков, исторгавшихся у благородных сердец при виде гибнувшей цивилизации!» (Герцен, 1954г: 11). Звуковое оформление мотива горькой жалобы на утрату идеального не только вторит теме мировой скорби, ставшей основной парадигмой романтического миропонимания. Слово *эхо*, актуализирующее имя нимфы и выступающее в значениях «книга» и «летописец», в данном контексте также представляет собой случай семантического окказионализма. Сюда же вовлекаются мысль об акте письма и связанный с ней комплекс идей о продукте процесса как отзвуке чего-либо. Отнюдь не парадоксально, что сюжет о Нарциссе есть закрепление механизма порождения знака в форме звуков и слов. Ведь не только Нарцисс, но и нимфа Эхо, следуя логике мифологемы, неизбежно связаны с понятием эстетики: цветок — древний символ поэзии; артефакт-текст и герой у Овидия в некотором смысле тождественны. С другой стороны, нимфа Эхо обречена не только на роль жертвы; она тоже не умирает, от нее же остается голос, она есть вечный отзвук, свидетельствующий о случившемся.

В «Былом и думах» слово *эхо* уже сигнализирует о некоем зловещем надвигающемся историческом событии. Хотя слово-образ наделяется противоположной семантикой, его связь со значениями «сказитель» и «оракул» не утрачивается. В главке «Приметы», само название которой отсылает к предвидению, дается краткий отчет о происшедшем перед отъездом Герцена из Парижа в зале амбаркадера, о драке двух пьяных стариков: голова одного из них «с каким-то дребезжащим, пронзительным звуком, щелкнулась о каменный пол». «Страшное эхо» этого «костяного звука», — приводит свои впечатления Герцен, ставя знак равенства между образом эхо, носителем отзвука прошедшего и мыслью о некоей невидимой еще катастрофе, — «произвело что-то историческое» (Герцен, 1956б: 230). Нетрудно видеть, что благодаря телеграфному стилю, крайнему лаконизму рассказа о событии слово *эхо* снова употребляется как знак понимания момента: мелкая деталь присутствует в целостном представлении о грядущем, она в одинаковой степени соотносится с рассказом о происшедшем и предсказанием будущего. Образ *эха* связан с образом зеркальной глади воды, издревле связанной с гаданием. Этот мотив спрятан в наиважнейших узлах античного мифа о Нарциссе, в завязке и концовке: прорицание гадалки, предрекающей судьбу Нарцисса, сбывается в тот самый момент, когда отрок зрит собственный лик в зеркале ручейка. Магический способ предвидения трансформируется в способ исполнения судьбы, имеющей фатальный финал.

В публицистической заметке 1860 г. «Победа, одержанная храбрым генералом Мухановым, что на Висле», написанной для журнала «Колокол», образ *эха* мелькает в политическом контексте, ограничивающемся комментированием польского вопроса. Эхо, насколько можно судить, соотнесено с Зимним дворцом. Хотя метафоричность оборота налицо, Герцен вдобавок бегло и иронически, как бы мимоходом, спонтанно роняет слово *эхо*, и в то же время очевидно, что для него мифологема о Нарциссе уже давным-давно интегрирована в мышление как ориентир, способ интерпретации, своего рода поучительная волшебная сказка, при помощи которой можно расшифровать конкретные ситуации, факты действительности. Ибо в данном кусочке текста непосредственно названа «*нимфа Эхо*», причем словосочетание выделяет курсивом сам автор (Герцен, 1958: 290). Здесь мифологема, по всей вероятности, знакомая Герцену по «Метаморфозам» Овидия, представляется ему как «вечная схема», способ видеть невидимое.

Мы наталкиваемся на попытку системно переосмыслить комплекс мотивов античной мифологемы о Нарциссе в раннем автобиографическом наброске под названием «Не долго продолжалось его одиночество…» (ок. 1830). В тексте ни слово *эхо*, ни имя Нарцисса не встречаются. Однако бросается в глаза взаимосвязь мотивов созерцания и женского начала в контексте символики зеркала и стоячей воды. Сюжет основан на повествовании о путешествии в прошлое, о посещении двумя молодыми людьми блиставшей пышностью при Екатерине Великой дачи, ныне заброшенной и одиноко стоящей в нескольких верстах от Москвы. Локус богато очерчен в красноречивых обертонах ностальгического поклонения перед «грандиозно» минувшим. Тщательный разбор словесного оформления фрагмента позволяет предполагать, что уже на раннем этапе творчества Герцен экспериментировал с переработкой изучаемого нами круга мотивов. Центральный образ *пруда*, необходимой части ландшафта дворянской усадьбы, безоговорочно отождествляется с образом *зеркала*: так установлена его архетипическая сущность. Вдобавок он соотнесен с женским началом: «пруд чистый, ясный, служивший некогда *зеркалом* прелестным барышням того века» (Герцен, 1954б: 318). Локус пруда как бы обозначает финальный пункт действия, цель визита. Затем эпическое повествование обрывается, чтобы превратиться в философствование, рефлексию, поток мыслей нарратора. Причем пруд обеспечивает место для отдыха двоих («сели на лавку возле пруда»), а позже такая же сцена, пропитанная атмосферой кажущейся идиллии, появляется в романе «Кто виноват?» как фон любовной встречи Круциферской и Бельтова.

В тексте мотив разговора симультанен локусу пруда. Получается, что влага и поток речи — как в мифологеме о Нарциссе — переплетаются: друзья приближаются к пруду «в жарком разговоре». Нарратор повтором одного и того же слова и интенсивностью, приданной модификацией эпитета, подчеркивает: «Все

располагало их к разговору сильному <…>» (Там же). Вместе с тем диалог друзей автором не приводится, читателю остается воображать, о чем они разговаривали. Вместо этого внезапно звучит монолог или, скорее, внутренний монолог одного из действующих лиц.

Описание сцены завершается скудно очерченным портретом одного из молодых людей: он назван «поэтом» и в сильно взволнованном состоянии «рисует на земле тонкою тросточкою» (Там же). Символичность этого акта раскрывается посредством замечания Элиаде: в связи с анализом целительных обрядов, подчиненных представлению о врачевании как воссоздании жизни, включающем ритуал «произнесения космогонического мифа», он обращает внимание на визуальный элемент обряда, ведущего к перерождению: «Обряд включает также рисование сложных узоров в песке (sand paintings), символизирующих различные этапы Сотворения и мифической истории богов, предков и человечества». Важно еще, что историк и теоретик религий не ограничивает значимость данного акта исцелением, это подтверждено словом «инициация» (Элиаде 2000: 75–76). Знаковая система говорения заменяется знаком визуального типа, чтобы отсутствующий в тексте диалог сменялся своего рода *внутренним* монологом: в следующем пассаже излагаются мысли то ли нарратора, то ли героя-поэта. Образ стоячей, прозрачной зеркальной воды переходит в эмоциональный, безостановочно льющийся поток речи, как бы генерируемой присутствием влаги: по содержанию мысль о творении идеалов, естественном влечении к изящному, «рассеянному в природе и в душе» человека, оценивается как характерная для молодого возраста черта. Причина исключения из этого правила освещается при помощи трансформирования образа кристально чистого пруда в грязное озеро, маркирующее сферу посредственности, заурядности. Ибо, как объясняет Герцен, отсутствие склонности к фантазированию характерно для тех, «кои не имели юности, у которых ум убил все чувствования, которые с ранних лет упали в грязное смердящее озеро, называющееся толпою» (Герцен, 1954б: 318). Образ толпы и многократно затронутая нами тема избранничества, предстающие одним из нарциссических проявлений в личности и творчестве Герцена, связаны с образом стоячей воды. Развертывая символический смысл своих слов, Герцен, декларируя господство иррационального, выстраивает ряд бинарных оппозиций в духе романтического дуализма: высший идеал индивида контрастирует с толпой, чистый (искусственный) пруд — со смердящим грязным озером, иррациональное — с умом, убивающим эмоции. Образ воды подвергается превращению; представленный уже в форме «замершей влаги», он противопоставлен жизни, перерастая в образ толпы, т. е. «ледяных людей». Эстетизм первенствует над сферой будней.

Напрашивается вывод: проект автора обессмертить свои поступки и личность, т. е. почерпнуть материал для повести из собственной биографии, выполняется

при интенсивном использовании ряда мотивов, составляющих магистраль сюжета древней мифологемы.

Отречение от эгоизма ради провозглашения примата коллектива и осознание того, что вне диалога индивид обречен на гибель, позже выступают как героическая попытка преодоления дуализма, унаследованного от романтизма. За пять лет до начала работы над романом «Кто виноват?» Герцен уже, по-видимому, уточнял собственные представления о писательстве, что свидетельствует о его тяготении к решению проблемы автобиографичности. Формулировка данного вопроса, как мы увидим, связана с чисто теоретическими размышлениями писателя. По сравнению с автобиографическим наброском, рассмотренным выше, повесть «Первая встреча» (1836), вошедшая в цикл «Встречи», достойна особого внимания как поворотный пункт в процессе эволюционирования оценки Герценом автобиографического принципа. В данном произведении ощутим сдвиг: принцип автобиографичности ставится под вопрос, она отвергается в пользу общечеловеческих интересов. Сюжетной рамкой философских диалогов служит светский разговор образованных людей, среди которых присутствует и Гете. Диалоги чередуются с лаконичными описаниями и комментариями героя-рассказчика. Интенция сблизить форму произведения с античными диалогами обусловлена, как говорилось выше, новаторскими планами Герцена на обновление прозы, достигаемое контаминацией разных типов дискурсов. Диалогичность выступает как способ соотнесения разных индивидуальных голосов и точек зрения.

Не в последнюю очередь речь идет о периоде, когда Герцен сделал радикальную попытку оттолкнуться от «романтического мечтательства» и соответствующего персонажа. С другой стороны, апелляция к форме диалога, характерной для эллинской культуры, явствует из выбора имени одного из участников «светского» собеседования: к нему автор обращается «философ». Носящий «ледяную маску» собеседник, «путешественник», враг эгоизма, резонер Герцена, толкует назначение литературы, высказывая сомнения по поводу принципа «автобиографичности». Образ Гете, беспрестанно курсирующий в текстах Герцена с разными коннотациями[1], здесь символизирует дурное начало, ибо, согласно суждению персонажа-философа, Гете попадает в заколдованный круг собственной биографии. Автобиографичность как писательский метод мыслится как признак эгоизма, эгоцентризма и нарциссизма, как пренебрежение императивом всеобщих интересов человечества.

Погруженный в увековечивание собственной персоны Гете в этом месте лишен пьедестала, представлен как антигерой, «антиавтор», не соответствующий идеалу великого человека, некогда занявшему высшую точку в герценовской

[1] В. Г. Щукин в текстах Герцена о Гете склонен видеть источник для реконструкции фаз изменений в психике Герцена: «Прекрасным комментарием к сложной натуре Герцена является его отношение к Гете» (Щукин, 2001: 108).

иерархии ценностей. Резкий контраст биографии и истории преподнесен как дилемма индивидуального и коллективного: «<…> я готов преклонить колена пред творцом "Фауста", так же, как готов раззнакомиться с тайным советником Гете, который пишет комедии в день Лейпцигской битвы и не занимается биографиею человечества, беспрерывно занимаясь своею биографиею» (Герцен, 1954а: 120). Словоупотребление Герцена здесь отражает стремление к дифференцированию категорий *автор* и *писатель*: «творец» и «тайный советник» — проявления двуликого Януса, непримиримые начала. Золотая середина, однако, закономерно превращается в «серую середину», т. е. пошлую посредственность. Дуализм не превзойден; порождается новая оппозиция: Гете — тайный советник причисляется к «толпе», тогда как «творец» синонимичен выдающемуся индивиду, располагающему уникальными способностями, делающими его избранным.

В комплексе мотивов Овидиева текста вышеупомянутым образом озера, наряду со связанными с ним образами пруда, зеркальности, Герцен-автор одержим женщинами и любовью. Данный комплекс мотивов осложняется ощущением ностальгии, схожей с мироощущением «сына века», который в силу импликаций романтического кода становится вечным скитальцем в поисках потерянного Золотого века. В реальной жизни начинающего писателя ссылка и изгнанничество подводят итог периоду принадлежности к золотой молодежи: самолюбованию конец, лишенный всего пленник на эзоповом языке описывает свое положение в частном письме Наталье Александровне, будущей жене. Код текста предположительно известен адресату. Тон фрагмента последнего письма, отправленного из Перми перед переводом Герцена в Вятку, свидетельствует, что мотив *озера* в идеальном виде в представлении Герцена ассоциируется с гармонией, здесь же явлен мотив оледенелости. В результате он лишь напоминание о минувшем, об утраченном счастье: «Приехавши на место, я только узнал все, что потерял, расставаясь с Москвою, нет, сколько ни мудри, а разлука — дело ужасное; это замерзшее озеро и немо и холодно» (Герцен, 1961а: 41). Негативные эпитеты, иллюстрирующие тягостное положение Герцена, предстают как антонимы тепла, присущего описанию летней прогулки двух молодых людей из раннего автобиографического наброска, проанализированного выше.

Герцен, по всей вероятности, здесь имеет в виду неосуществимость созидания знака, «знаковой системы». Вот почему на берегу замерзшего озера царит *немота*. «Разлука» в этом отношении синонимична прекращению диалога. Сцепление мотивов *любовь — прогулка — берег — цветок — сон* (последние два могут соотноситься: имя Наркиссос восходит к древнегреческому корню *наркос,* «сон») позже актуализируется в более зрелом тексте третьей части «Былого и дум»: Герцен проделывает ретроспективный самоанализ, называя препятствием к сближению с Натальей Александровной свою любовь к Л. В. Пассек, «юношескую,

чистую». Формулой, основанной на повторении мотивов стоячей воды и цветка, переплетающихся с мотивом сна, передается воспоминание об этих отношениях, приходящее как «память весенней прогулки на берегу моря, средь цветов и песен», «сновидение» (Герцен, 1956а: 330).

Нарушая хронологический принцип, в силу которого предполагается, что какой-либо изучаемый словесный мотив закономерно проходит эволюцию в разные периоды творчества отдельного автора и неизбежно имплицирует систематичное переосмысление, мы лишь указываем на то, что мотив зеркала на страницах «Былого и дум» становится фокальной точкой рассказа об эпизоде беглого знакомства Герцена с девушкой Леонтиной в Париже: бросившись на кушетку, она заняла место против «большого зеркала», непрестанно всматривалась в него, *позировала* и гримасничала перед ним вовсе не без *кокетства* (Герцен, 1957а: 457). С одной стороны, важно, что кокетство как существенную примету нарциссизма Герцен здесь сознательно соотносит с образом зеркала. Нельзя упускать из виду факт, что мотив зеркала, будучи чуть ли не доминирующим элементом рассказа, как бы стимулирует пробуждение воспоминаний о былом.

Мотив зеркала присутствует и в трактате Герцена «Письма об изучении природы» (1845) в контексте размышлений о становлении философской мысли человечества. Он служит цели раскрыть секретные механизмы познания, неотделимого от самопознания. Путь человеческой мысли рассматривается в историческом плане, процесс обрисовывается с помощью конкретизации типов «языков», свойственных отдельным эпохам, от осмысления сущности символа («вдохновенного символа мистического самопознания») вплоть до утверждения абстрагирующей силы языка. Такой подход свидетельствует о беспристрастности Герцена в обращении к своему материалу и о широком его интеллектуальном кругозоре, совмещающем сведения из самых разнообразных дискурсов. Здесь уместно напомнить, что на метафорическом языке Герцена слово *иероглиф*, применяемое с целью сформулировать собственное кредо, определяющее письмо как превращение фактов «жизни» собственной «души» в текст, состоящий из «иероглифов», несомненно включает в себя и семантику тайнописи. Одновременно Герцен декларирует неразрывность собственных творений с фактами автобиографии, что характеризует поэтику, ориентированную на самопознание.

В процессе познания, понимаемого как самопознание, язык играет роль инструмента, так как читатель через «иероглифический» текст, насыщенный большим количеством таинственных намеков, постепенно открывает специфические механизмы свойственного самому себе восприятия и в итоге постепенно подходит к самопознанию. По сути, в этом месте трактата Герцен касается проблемы авторской и читательской рефлексии, столь важной и в его личности, и в его поэтике. Любопытно заметить, что Герцен, недвусмысленно выявляя, что «само-

познание открывается не в одной науке», продолжает развертывать умозрительную конструкцию в свете воззрений, возникших благодаря линии гностико-мистической традиции, намеченной именами Пифагора, учителя инициационного пути, и Беме, прославившегося к концу XVIII столетия как путешественник по загробному миру, опытный собеседник ангелов и духов[1]. Символика зеркала способствует выявлению сущности феномена языка как способа познания: «Символика — язык, вдохновенный иероглиф мистического самопознания. Язык Пифагора, Прокла, язык Якова Беме, принимаемые ими символы всегда могут быть понимаемы разно; они, как *зеркало,* разуму отражают разум, а чувственности — чувственность» (Герцен, 1954д: 237). В сознании Герцена память о собственном писательском кредо, сформулированном, в частности, на основе понятия «иероглиф», неразрывно связана с идеей о самопознании. И все-таки образ иероглифического текста становится эквивалентом образа «зеркала».

Выводы можно суммировать так: во-первых, сам акт творения языка равнозначен процессу самопознания и познания мира; во-вторых, художественное письмо обусловлено беспрерывным процессом самопознания, в свою очередь, необходимого для познания мира. В приведенном фрагменте образ зеркала наделен квинтэссенциальной функцией в процессе самопознания, здесь Герцен возводит его к архетипу, появившемуся в сюжете о Нарциссе.

Устремленность Герцена к самопознанию, его интерес к науке о душе, автобиографичность прозы неизбежно приводят к практике самонаблюдения. Впервые, пожалуй, на этот факт обратил внимание А. Н. Веселовский, говоря о склонности Герцена к «самоанализу» (Веселовский, 1909: 8, 15). Для определения данного феномена Гинзбург применила термин «автопсихологизирование». Именно с этим явлением В. С. Семенов связывал формирование хорошо знакомого герценовского героя, скептика, доктора Крупова, появившегося как воплощение веры писателя в миссию психиатрии (Семенов, 1989: 138). Нельзя не согласиться с теорией Гинзбург, которая, анализируя причины возникновения жанра психологического романа, рассматривала характеристику типа героя и автобиографичность текстов 1840-х гг. под углом зрения проблемы «внутреннего человека»: «Интерес к словесному закреплению душевной жизни, к автопсихологизированию, принадлежит отдельным эпохам — внутри каждой эпохи — отдельным поколениям и группировкам. В конце 30-х и в 40-х гг. “внутренний человек” расцвел пышным цветом. Переписка Белинского, Станкевича и Бакунина, переписка Герцена с женой и Огаревым свидетельствуют о том праве на внимание ко всем своим сложностям и глубинам, которая предъявляла тогда человеческая психика. Но уже в конце XVIII — начала XIX в. русский сентиментализм вы-

[1] Об этом напр. см. Gulley, 2006: 45–46.

двинул *внутреннего человека* <…>» (курсив Гинзбург. — *Д. Й.*) (Гинзбург, 2007: 185). Характеристики «сложность» и «глубина», которые Гинзбург использует в своих наблюдениях, соответствуют феномену погруженности индивида в сферу собственного *я* и раскрывают практику рефлексирования, присущего психологии нарцисса. «Внутренний человек», литературный тип, в свете интерпретации Гинзбург, в случае как Лермонтова (см.: Йожа 2015), так и Герцена отличается самосозерцанием, закодированным в истории Нарцисса. Он же, наделенный характеристиками героя-врача, который появился в литературе XIX в., служит раскрытию «психиатрической» темы у Герцена. Интерпретации ситуаций, суждения, скепсис Крупова, всегда встревоженного судьбами пациентов и знакомых, служат зеркалом, которое персонаж держит перед ними и читателем: в нем отражаются поступки действующих лиц. Функция зеркала здесь опять-таки не ограничивается отражением действительности, оно делает невидимое видимым, как бы заставляя глядящего вносить необходимые коррективы. Семенов рассматривает возникновение фигуры героя Крупова через призму социальной ее сущности и приписываемой ей миссии утопического обновления общества: «Только психиатрия — наука о душевных болезнях — может объяснить многие аномалии общественного устройства» (Семенов, 1989: 138). Однако, думается, в сознании Герцена данный персонаж призван пробудить в индивиде стремление к объективной оценке собственных мыслей и поступков. Находясь в статусе «двойника» автора, доктор Крупов показывает итоги его саморефлексий, иначе говоря, активно способствует процессу автопсихологизирования.

Знаменитая «исповедальность» прозы Герцена, автобиографичность, сочетаясь с тенденцией «автопсихологизирования», обуславливают порождение героя, слишком подобного писателю. Слова мемуариста Анненкова о кокетстве Герцена перед западной публикой совпадают с формулировкой А. П. Пятковского, который в статье 1859 г., увидевшей свет в «Журнале министерства народного просвещения», критически оценивал героя романа «Кто виноват?», выделив черты «гордости», «самонадеянности» и «непрактичности» в фигуре Бельтова. Позиция критика, как комментирует Г. Г. Елизаветина, возникла в результате одностороннего восприятия *обломовщины* в духе Н. А. Добролюбова. Поскольку оценка Пятковского ставится в широкий контекст критического разбора фигуры «русского» типа «сына века», меланхолического и обреченного на бездействие «лишнего человека», акцент падает на моральное осуждение этого типа под лозунгом служения деятелей словесности общественной пользе. В этом смысле на конфликт слова и дела в характере Бельтова критик указывает как на антецедент сущности обломовщины: «Щедрый на слова и скупой на упорные *продолжительные* труды» Бельтов не доделывает предпринятого, что критик комментирует вводом глагола особых стилистических свойств: «Бельтов бросил дело на пол-

дороге, *кокетничал* и *с собой* и с другими “глубиной своего понимания” <…>» (цит. по: Елизаветина, 1979: 66). Хорошо знакомое по трактовке Гинзбург выражение «глубина», которое естественно при изучении явления «автопсихологизирования», здесь сочетается с кокетством, типичным для нарцисса, избегающего настоящего влечения к другому, довольствуясь направлением силы либидо на собственное *я*. Кроме этого аспекта мнения Пятковского, нам приходится считаться и с эксплицитным намерением критика ввести в аргументацию психологический метод: он противоречит себе, когда, требуя отчета о выполнении долга, вдается в анализ интимной стороны психологии индивида. В этом парадоксе, однако, скрывается важное наблюдение Пятковского. Если кокетство в основном обозначает стремление понравиться кому-нибудь без реализации чувств, то фигура Бельтова представляет собой явление эстетическое. Нет сомнений, что предлагаемый критиком слегка сексуализированный образ протагониста, преподнесенный в таком виде ради вскрытия сущности его характера, соотносим с наиважнейшим проявлением нарциссизма.

Действие, развернутое Герценом в романе, и характеры героев подчиняются принципу зеркальности, унаследованному Герценом вместе с кодом романтизма, максимально обращенного к вскрытию дуализма бытия. В качестве антецедентов, однако, в первую очередь выделяются роман Лермонтова, в котором герой отражается в нескольких «зеркалах», т. е. других персонажах и жанрах, и, разумеется, — «Евгений Онегин» Пушкина, ведь любовная интрига в структуре сюжета к финалу оборачивается негативным зеркальным отражением. Нельзя забывать, что проблематика этих произведений связана с размышлениями о судьбах героев, развертывающихся в контексте их психики, культуры и духа времени. Вовсе не в последнюю очередь их принято классифицировать как «лишних людей». Согласно парадигматическому принципу зеркальности эфемерность существования Бельтова, бесплодные его поиски Герцен принимает как конструкционный принцип. В характеристике Бельтова «лишность» — не как отрицательный признак зрелого мужчины, который, согласно неписаным законам общества, должен постоянно иметь в виду ответственность перед другими.

Здесь достаточно напомнить о проанализированном нами микроэтюде Герцена, где он трактует разные типы проявления «самолюбия», силы, имеющей двоякую природу. Вернее, крушение судьбы Бельтова символизирует трагедию индивида, «романтического мечтателя», избранника, нарцисса, отвергающего диалог и неспособного к познанию себя и поэтому бессильного для преодоления собственного солипсизма. Генеалогия этого типа имплицирует его судьбу. Ведь романтический герой, который у Герцена одновременно является избранником, согласно прочтению Кантора, воплощает собой «сильный характер», а в силу законов «немецкой эстетики» он же «гений, в этом смысле равный Богу» (Кантор,

2012: 297). Под воздействием Жозефа Бельтов готовится к осуществлению грандиозных идей, их применению на практике, но из-за болезни «сына века» оказывается бессилен.

Мы отдаем себе отчет в том, что автобиографические моменты, присутствующие в произведениях современников Герцена — в трилогиях С. Т. Аксакова и Л. Н. Толстого, порождают отдельную линию русской литературы, однако у Герцена манифестируется гораздо более глубокое воззрение на метод самопознания, который выливается в собственную нарциссологию. Проанализировав широкий материал, мы должны заключить, что вместо созидания нарциссического текста Герцен сознательно разбирает элементы мифологемы о Нарциссе, размышляя над разными аспектами этого феномена.

Литература

Айхенвальд Ю. И. (1998) Силуэты русских писателей. В 2 т. Т. 2. М.: ТЕРРА-Республика.

Анненков П. В. (1983) Литературные воспоминания. М.: Художественная литература.

Бахтин М. М. (2003) Философская эстетика 1920-х годов // *Бахтин М. М.* Собрание сочинений в 7 т. Том 1. М.: Русские словари. Языки славянской культуры.

Веселовский А. Н. (1909) Герцен-писатель. М.: Типолитография Т-ва И. Н. Кушнерев.

Гай Г. Н. (1959) Роман и повесть Герцена 30–40-х годов. Киев: Изд. Киевского университета.

Герцен А. И. (1954а) Первая встреча // *Герцен А. И.* Собрание сочинений в 30 т. Москва: Наука, 1954–1966. Т. 1. С. 108–122.

Герцен А. И. (1954б) <Не долго продолжалось его одиночество…> [отрывок] // Там же. С. 317–319.

Герцен А. И. (1954в) <Записки А. Л. Витберга> // Там же. С. 380–452.

Герцен А. И. (1954г) Рассказы о временах меровингских. Статья первая // *Герцен А. И.* Собрание сочинений в 30 т. Москва: Наука, 1954–1966. Т. 2. С. 7–11.

Герцен А. И. (1954д) Письма об изучении природы // Там же. Т. 3. С. 91–316.

Герцен А. И. (1955) Кто виноват? // Там же. Т. 4. С. 5–210.

Герцен А. И. (1956а) Былое и думы // Там же. Т. 8.

Герцен А. И. (1956б) Былое и думы // Там же. Т. 10.

Герцен А. И. (1957а) Былое и думы // Там же. Т. 11.

Герцен А. И. (1957б) Княгиня Екатерина Романовна Дашкова // Там же. Т. 12. С. 361–422.

Герцен А. И. (1958) Победа, одержанная храбрым генералом Мухановым, что на Висле // Там же. Т. 14. С. 290.

Герцен А. И. (1960а) Порядок торжествует! [Комментарии] //Там же. Т. 19. С. 166–199, 351.

Герцен А. И. (1960б) Публицистические и художественные произведения 1867–1869 годов // Там же. Т. 20. Кн. 2.

Герцен А. И. (1961а) Письмо Н. А. Захарьиной от 29 апреля 1835 г. // Там же. Т. 21. С. 40–41.

Герцен А. И. (1961б) Письмо Н. И. Сазонову и Н. Х. Кетчеру. Октябрь (вторая половина) 1836 г. // Там же. Т. 21. С. 111–113.

Гинзбург Л. Я. (1977) О психологической прозе. Л.: Художественная Литература.

Гинзбург Л. Я. (1997) Автобиографическое в творчестве Герцена // Герцен в кругу родных и друзей. Кн. I. Литературное наследство. Т. 99. М.: Наука, 1997. С. 7–54.

Гинзбург Л. Я. (2007) Работы довоенного времени. СПб.: Петрополис, 2007.

Гончаров И. А. (1980) Мильон терзаний // *Гончаров И. А.* Собрание сочинений в 8 т. М.: Художественная литература, 1977–1980. Т. 8. С. 18––51.

Гурвич-Лишинер С. Д. (1996) Герцен на пороге XXI века // Вопросы литературы. № 5. С. 133–136.

Дрыжакова Е. Н. (2004) Шесть европейских «масок» Онегина в восприятии Герцена // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XVI–XVII. СПб.: «Наука». С. 243–250.

Евлампиев И. И. (2000) История русской метафизики в XIX–XX веках. СПб.: Алетейя.

Елизаветина Г. Г. (1979) «Кто виноват?» Герцена в восприятии русских читателей и критики XIX века // Литературные произведения в движении / Отв. ред. Н. В. Осьманов. М.: Наука. С. 41–74.

Зеньковский В. В. (1991) История русской философии в 2 тт. Т. I. Ч. 2. Л.: ЭГО.

Ичин К. (2007) Поэтика изгнания. Овидий и русская поэзия. Белград: Издательство Филологического факультета в Белграде.

Йожа Д. З. (2015) Лермонтовский вариант «лишнего человека» между индивидуализмом и нарциссизмом // Dohnal, Jozef (ред.) Revitalizace hodnot: uměni a literatura : Týmová monografie. Brno, 2015, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy university. P. 305–314.

Йожа Д. З. (2018а) Зеркало в зеркало. Герцен: автобиографичность и самопознание // Голоса русской филологии из Будапешта. Литературоведение и языкознание на Кафедре русского языка и литературы Университета им. Лоранда Этвеша / Гл. ред. К. Кроо. Будапешт: Eötvös kiadó, 2018. С. 82–94.

Йожа Д. З. (2018б) Нарцисс и «лишний человек». Случай Герцена // Studia Slavica Hungarica. № 63/1. С. 67–78.

Кантор В. К. (2011) «Крушение кумиров», или Одоление соблазнов (Становление философского пространства в России). М.: РОССПЭН.

Кантор В. К. (2012) Кто виноват, или Безумие исторического процесса // Вопросы литературы. 2012. № 6. С. 259–331.

Кохут Х. (2003) Анализ самости: Систематический подход к лечению нарциссических нарушении личности. М.: Когито-Центр.

Манн Ю. В. (1969) Философия и поэтика «натуральной школы» // Проблемы типологии русского романтизма / Ред. Н. Л. Степанов, У. Р. Фохт. М.: Наука. С. 241–305.

Огарев Н. П. (1952) Избранные социо-политические и философские произведения в 2 т. / Ред. М. Т. Иовчук, Н. Г. Тараканов. Т. 1. М.: Государственное издательство политической литературы.

Пруцков Н. И. (1962) «Кто виноват?» // История русского романа в 2 тт. М.-Л.: Издательство Академии наук СССР. Т. 1. С. 560–582.

Путинцев В. А. (1963) Герцен-писатель. М.: Издательство Академии наук СССР.

Святополк-Мирский Д. П. (2005) История русской литературы. Новосибирск: Свиньин и сыновья.

Семенов В. С. (1989) Герцен. М.: Современник.

Соколов-Теплов М. В. (1962) Психологические идеи Герцена // Вопросы философии. 1962. № 2. С. 3–18.

Толстой Л. Н. (1984) [Запись от 4.8.1860] // *Толстой Л. Н.* Собрание сочинений в 22 т. 1979–1985. Т. 21. Избранные дневники 1847–1894.

Тучкова-Огарева Н. А. (1956) Воспоминания // Герцен в воспоминаниях современников / Сост., вступ. статья и комм. В. А. Путинцева. М.: Гос. издательство художественной литературы. С. 248–257.

Фреде В. (2001) История коллективного разочарования: дружба, нравственность и религиозность в дружеском круге А. И. Герцена — Н. П. Огарева // Новое литературное обозрение. 2001. № 3. С. 159–190.

Фромм Э. (1994) Анатомия человеческой деструктивности. М.: Республика.

Щукин В. Г. (2001) Русское западничество. Генезис — сущность — историческая роль. Łódź: Ibidem.

Элиаде М. (2000) Миф о вечном возвращении. М.: Научно-издательский центр «Ладомир».

Эльсберг Я. А. (1948) А. И. Герцен. М.: ОГИЗ. Государственное издательство художественной литературы.

Эткинд Е. Г. (1998) «Внутренний человек» и внешняя речь. Очерки психопоэтики русской литературы XVIII–XIX вв. М.: Языки русской культуры.

Chances E. B. (1978) Conformity's Children. An Approach To The Superfluous Man in Russian Literature. Ohio: Slavica Publishers.

Epstein M. (2012) Russian Spirituality and the Theology of Negation. Las Vegas: University of Nevada.

Grunberger B. (1979) Narcissism. Psychoanalytic Essays. New York: International Universities Press.

Guiley R. (2006) The Encyclopaedia of Magic and Alchemy, New York: Facts on File.

Kohut H. (1977) The Analysis of the Self. Chicago: University of Chicago Press.

Lacan J. (2006) Écrits. The First Complete Edition in English. New York — London, W. W. Norton & Company.

Malia M. (1961) Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism 1812–1855. Cambridge: Harvard University Press.

HERZEN: WRITER, AUTHOR AND HIS HERO

György Zoltán Józsa
Doctor of Philosophy (Ph.D.) (in Russian Literature), Adjunct professor with the Department of Russian Language and Literature, Budapest University of Sciences named after Loránd Eötvös (ELTE). 1088, Budapest, Múzeum krt. 4/D.
E-mail: jozsagyz@gmail.com

The subject of the article is the complex phenomenon of Narcissism in Herzen's oeuvre and personality. First of all, narcissism is considered as the comprehension of the way to self-knowledge, due to which the gradual surpassing of the autobiographical principle in Herzen's fiction takes place. Special attention is paid to the Herzen's interpretation of the elements of the myth about Narcissus. The analysis relies on the examination of many resources, including the texts written by the author, contemporary memoirs, and critical articles of historians of literature. The issue which is considered in the article becomes of great importance in the light of Bakhtin's theory of "author and hero".

Keywords: Herzen, the myth of Narcissus, narcissism, the author and the hero, self-knowledge, inner man, the "superfluous man", the mirrorlike, psychopoetics.

References

Ajhenval'd Ju. I. (1998) Silujety russkih pisatelej [Silhouettes of Russian Writers], 2 Vols, Vol.2, Moscow: TERRA — Respublika (In Russian).

Annenkov P. V. (1983) Literaturnye vospominan'ija [Literary Memoirs]. Moscow: Khudozhestvennaja literatura (In Russian).

Bakhtin M. M. (2003) Filosofskaja jestetika 1920-h godov [Philosophical aesthetics of the 1920s], Sobranije sochinenij v 7 t. [Works], 7 Vols, Vol. 1, Moscow: Russkie slovari. Jazyki slav'janskoj kul'tury (In Russian).

Veselovskij A. (1909) Gertsen-pisatel' [Herzen the writer], Moscow: Tipoliografija T-va I. N. Kusn'erev (In Russian).

Gaj G. N. (1959) Roman i povest' Gertsena 30–40-kh godov [Herzen's Novel and Tale in the 30's and 40's], Kiev: Izd. Kievskogo universiteta (In Russian).

Gercen A. I. (1954a) Pervaja vstrecha [First meeting], *Sobranie sochinenij v 30 t. [Collected Works] 30 Vols*, Vol. 1, Moscow: Nauka, 1954–1966, pp. 108–122 (In Russian).

Gercen A. I. (1954b) <Ne dolgo prodolzhalos' ego odinochestvo…> [otryvok] <His loneliness did not last long ...> (excerpt)], Ibid., pp. 317–319 (In Russian).

Gercen A. I. (1954c) <Zapiski A. L. Vitberga> [<Notes by A. L. Vitberg>], Ibid., pp. 380–452 (In Russian).

Gercen A. I. (1954d) Rasskazy o vremenah merovingskih. Stat'ja pervaja [Stories about the times of Merovingian. Article One], *Sobranie sochinenij v 30 t. [Collected Works] 30 Vols*, Vol. 2, pp. 7–11 (In Russian).

Gercen A. I. (1954e) Pis'ma ob izuchenii prirody [Learning Letters], Vol. 3, pp. 91–316 (In Russian).

Gercen A. I. (1955) Kto vinovat? [Who's guilty?], Ibid., Vol. 4, pp. 5–210 (In Russian).

Gercen A. I. (1956a) Byloe i dumy [Past and Thoughts], Ibid., Vol. 8 (In Russian).

Gercen A. I. (1956b) Byloe i dumy [Past and Thoughts], Ibid., Vol. 10 (In Russian).

Gercen A. I. (1957a) Byloe i dumy [Past and Thoughts], Ibid., Vol. 11 (In Russian).

Gercen A. I. (1957b) Knjaginja Ekaterina Romanovna Dashkova [Princess Ekaterina Romanovna Dashkova], Ibid., Vol. 12, pp. 361–422 (In Russian).

Gercen A. I. (1958) Pobeda, oderzhannaja hrabrym generalom Muhanovym, chto na Visle [The victory won by the brave general Mukhanov on the Vistula], Ibid., Vol. 14, pp. 290 (In Russian).

Gercen A. I. (1960a) Porjadok torzhestvuet! [Kommentarii] [Order triumphs! (Comments)], Ibid., Vol. 19, pp. 166–199, 351 (In Russian).

Gercen A. I. (1960b) Publicisticheskie i hudozhestvennye proizvedenija 1867–1869 godov [Journalistic and artistic works of 1867–1869], Ibid., Vol. 20, Iss. 2 (In Russian).

Gercen A. I. (1961a) Pis'mo N. A. Zahar'inoj ot 29 aprelja 1835 g. [Letter from N.A. Zakharyina of April 29, 1835], Ibid., Vol. 21, pp. 40–41 (In Russian).

Gercen A. I. (1961b) Письмо Н. И. Сазонову и Н. Х. Кетчеру. Oktjabr' (vtoraja polovina) 1836 g. [Letter to N. I. Sazonov and N. Kh. Ketcher. October (second half) 1836], Ibid., Vol. 21, pp. 111–113.

Ginzburg L. Ja. (1977) O psikhologicheskoj proze [On Psychological Prose], Leningrad: Khudozhestvennaja literatura (in Russian).

Ginzburg L. Ja. (1997) Avtobiograficheskoe v tvorchestve Gercena [The Autobiographical in Herzen's Oeuvre], *Gertsen v krugu rodnykh i druz'ej. Literaturnoe nasledstvo*, Vol. 99, Moscow: Nauka, pp. 7–54 (in Russian).

Ginzburg L. Ja. (2007). Raboty dovoennogo vremeni. [Pre-War Works]. Sankt-Peterburg: Petropolis (in Russian).

Goncharov I. A. (1980) Mil'on terzanij [Million torment], Sobranie schinenij v 8 tt. (1977–1980) [Complete Works 1977–1980] 8 Vols, Vol. 8, pp. 18–51, Moscow: Khudozhestvennaja literatura (In Russian).

Grunberger B. (1979) Narcissism. Psychoanalytic Essays. New York: International Universities Press (In English).

Guiley R. (2006) The Encyclopaedia of Magic and Alchemy, New York: Facts on File (In English).

Gurvich-Lishiner S. (1996) Gertsen na poroge XXI veka [Herzen on the Threshold of the 21st century], Voprosy literatury, 1996, no. 5, pp. 133–136 (In Russian).

Dryzhakova Je. N. (2004). Shest' jevropejskikh masok Onegina v vosprijatii Gertsena [Onegin's Six European Masques in Herzen's Reception] *Pushkin. Issledovanija i materaly*, Vols. XVI–XVII. St. Petersburg: Nauka, pp. 234-250 (In Russian).

Jevlampiev I. I. (2000). Istorija russkoj metafizika v 19-20 vekakh [The History of Russian Metaphysics in the 19-20th centuries], St. Petersburg: Aleteia (In Russian).

Jelizavetina G. G. (1979) «Kto vinovat?» Gertsena v vosprijat'ii ruskikh chitat'elej i kritiki XIX veka [«Who Is to Blame?» by Herzen in the Perception of 19th-century Russian Readers and Critics], *Literaturnye proizved'enija v dvizhenii [Works of Literature on the Move]* (editor-in-chief Os'manov N. V.), Moscow: Nauka, pp. 41–74 (In Russian).

Zen'kovskij V. V. (prot.) (1991). Istorija russkoj filosofii v 2-kh tt. [The History of Russian Philosophy] 2 Vols. Vol. 1, part 2, Leningrad: EGO (In Russian).

Ichin K. (2007) Poetika izgnanija. Ovid'ij i russkaja poezija [The poetics of exile. Ovid and Russian poetry], Beograde: Izdatel'stvo Filologicheskogo fakulteta v Bel'grade (In Russian).

Iozha D. Z. (2015) Lermontovskij variant «lishnego cheloveka» mezhdu individualizmum i nartsissizmom [The Lermontovian Version of the «Superfluous Man» between Individualism and Narcissism], *Revitalizace hodnot: uměni a literatura: Týmová monografie*, Dohnal, Jozef (ed.), Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, pp. 305–314 (In Russian).

Iozha D. Z. (2018a) Zerkalo v zerkalo. Gertsen: avtobiografichnost' i samopoznan'ie [Mirror into Mirror. Herzen: Autobiography and Self-Knowledge], *Golosa russkoj filologii iz Budapeshta. Literaturovedenie i jazykoznan'ie na Kafedre russkogo jazyka i literatury Universiteta im. Loranda Etvesa* (editor-in-chief Kroo, K.) Budapest: Eötvös kiadó, pp. 82–94 (In Russian).

Iozha D. Z. (2018b). Nartsiss i «lishn'ij chelovek». Sluchaj Gertsena. [Narcissus and the «Superfluous Man»], *Studia Slavica Hungarica*, Vol. 63, no. 1, pp. 67–78 (In Russian).

Józsa Gy. Z. (2015). Otzvuki mifologemy o Nartsisse v «Geroe nashego vremeni» i v junosheskoj poeme «Jevgen'yj» [Resounding the Mythologeme on Narcissus in «A Hero of Our Time» and the juvenile poem «Jevgen'yj»], Gyöngyösi M., Kroó K., Szabó T. (ed.) *Lermontov in 21st Century Literary Criticism*, Budapest: ELTE PhD Programme "Russian Literature and Literary Studies", ELTE BTK "Orosz Irodalom és Irodalomkutatás" Doktori Program, pp.108–119 (In Russian).

Kantor V. (2012). Kto vinovat, ili bezumie istoricheskogo protsessa [Who Is to Blame, or the Craze of the Historical Process], Voprosy literatury, no. 6, pp. 259–331 (In Russian).

Kantor V. (2011). «Krushenie kumirov» ili Odolenie Soblaznov (Stanovlenie filosoficheskogo prostrantva v Rossii.) [«The Downfall of Idols» or Surpassing Seductions (The Formation of Philosophical Space in Russia)], Moscow: ROSSPEN (In Russian).

Kohut H. (1977). The Analysis of the Self. Chicago: University of Chicago Press (In English).

Lacan J. (2006). Écrits. The First Complete Edition in English. New York-London: W. W. Norton & Company (In English).

Malia M. (1961). Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism 1812–1855. Cambridge: Harvard University Press.

Mann Ju. (1969) Filosofija i poetika «natural'noj shkoly» [The Philosophy and Poetics of «Natural School»]/ St'epanov N. L., Fokht U. R. (ed.) *Problemy t'ipologii russkogo romantizma*. Moscow: Nauka, pp. 241–305 (In Russian).

Ogar'ev N. P. (1952) Izbrannye sotsio-politicheskije i filosofskije proizved'enija (1952–1956) [Selected Socio-political and Philosophical Works (1952–1956)] (ed. Iovchuk M. T., Tarakanov N. G.). Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo polit'icheskoj lit'eratury (In Russian).

Prutskov N. I. (1962) «Kto vinovat?» [«Who is To Blame?»], *Istorija russkogo romana*. 2 Vols. Vol. 1, pp. 560–582. Moscow-Leningrad: Izdatel'stvo Akad'emii nauk SSSR (In Russian).

Putintsev V. A. (1963) Gertsen-pisatel' [Herzen, the Writer], Moscow: Izdatel'stvo Akad'emii nauk SSSR (In Russian).

Svyatopolk-Mirskij D. kn. (2005) Istorija russkoj lit'eratury [A History of Russian Literature] Novosibirsk: Svin'in i synov'ja (In Russian).

Semenov V. (1989) Gertsen [Herzen], Moscow: Sovremennik (In Russian).

Sokolov M. V., Teplov B. M. (1962) Psikhologicheskie id'ei Gertsena [Psychological Ideas by Herzen], Voprosy psikhologii, no. 2, pp. 3–18 (In Russian).

Tolstoy L. N. Sobranie socin'enij (1979–1985) [Complete Works (1979–1985)], 22 Vols, Vol. 21, Moscow: Khudozhestvennaja lit'eratura (In Russian).

Tuchkova-Ogar'eva N. A. (1956) Vospominan'ija [Memoirs], *Gertsen v vospominan'ijakh sovremennikov [Herzen in the memoirs of contemporaries],* (ed. by Put'intsev V. A.) Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoj literatury, pp. 248–257 (In Russian).

Frede V. (2001) Istorija kollekt'ivnogo razocharovanija: druzhba, nravstvennost', i religioznost' v druzheskom kruge A. I. Gertsena–N. P. Ogar'eva [The History of Collective Disappointment: Friendship, Morals and Religiousness in the Circle of Friends of A. I. Gertsen–N. P. Ogar'ev]. Novoe literaturnoe obozren'ie, no. 3, pp. 159–190 (In Russian).

Fromm E. (1994) Anatomija chelovecheskoj d'estruktivnost'i [The Anatomy of Human Destructiveness]. Moscow: Respublika (In Russian).

Chances E. B. (1978. Conformity's Children. An Approach To The Superfluous Man in Russian Literature. Ohio: Slavica Publishers.

Shchukin V. (2001) Russkoje zapadn'ichestvo. Genezis–sushnost'–istoricheskaja rol'. [Russian Westernism. Origins–Essence–Historical Role] Łódź: Ibidem (In Russian).

Eliade M. (2000) Mif o vechnom vozvrashchenii [The Myth of the Eternal Return], Moscow: Nauchno-izdat'el'skij tsentr «Ladomir» (In Russian).

El'sberg Ja. A. (1948) A. I. Gertsen [A. I. Herzen]. Moscow: «OGIZ» Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudzhestvennoj lit'eratury (In Russian).

Epstein M. (2012) Russian Spirituality and the Theology of Negation. Las Vegas: University of Nevada.

Etkind Je. G. (1998). «Vnutrennij chelovek» i vn'esn'jaja rech'. Ocherki psikhopoetiki russkoj lit'eratury XVIII-XIX vekov [Psychopoetics. «Inner Man» and Outer Speech. Articles and Studies on Russian Literature of 18th-19th cent.], Moscow: Yazyki russkoj kul'tury (In Russian).

ЕВГЕНИЙ АНИЧКОВ: ПРОЛЕГОМЕНЫ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Владимир Карлович Кантор
Доктор философских наук, ординарный профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), заведующий Международной лабораторией русско-европейского интеллектуального диалога (НИУ ВШЭ), главный редактор журнала «Философические письма. Русско-европейский диалог», член Союза российских писателей, член Общественного совета Фонда Достоевского.
105066, Российская Федерация, Москва, ул. Старая Басманная, 21/4, каб. 215.
E-mail: vlkantor@mail.ru

Предпринято обоснование необходимости возвращения в русский научный контекст имени Евгения Аничкова — теоретика и историка литературы, ученика и последователя А. Н. Веселовского, культурфилософа. Оказавшись в эмиграции, он продолжил выпускать статьи и книги, в частности анализировал место в истории русской общественной мысли А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского. В отличие от большинства современников, Аничков резко противопоставил этих мыслителей, выявив целый ряд антагонистических черт и интенций в жизни и творчестве каждого.

Ключевые слова: Е. В. Аничков, А. Н. Веселовский, сравнительно-историческое литературоведение, народничество, А. Н. Герцен, Н. Г. Чернышевский.

DOI 10.17323/2658-5413-2020-3-1-174-186

Герцен и Чернышевский — неостывшая проблема русской мысли.
(Е. В. Аничков. Две струи русской политической мысли. Записки Русского научного института в Белграде, 1930)

Один из интереснейших русских мыслителей — Евгений Васильевич Аничков — почти неизвестен в России. Прежде чем перейти к анализу его интерпретации творчества А. Н. Герцена и Н. Г. Чернышевского, обозначу основные вехи его биографии.

Родился он в январе 1866 г. в Боровичах Новгородской губернии, то ли 2 (14), то ли 7 (29) числа. Умер 21 октября 1937 г. в Белграде. Дворянин. Культурфило-

соф. Историк литературы. Автор фундаментального труда «Язычество и Древняя Русь». Преподаватель, профессор. Прозаик. Человек, проживший непростую жизнь.

Его детство проходило в местах службы отца — сначала в Тифлисе, затем в Вильно. В 1878 г., двенадцатилетним, он попал в Санкт-Петербург, где начал учиться в Шестой классической гимназии. Затем, в 1886 г., поступил в Петербургский университет на романо-германское отделение историко-филологического факультета. Со студенческих лет стал последователем великого филолога А. Н. Веселовского. Любопытно, что был хорошо знаком с А. И. Ульяновым, братом В. И. Ульянова (Ленина). Но также и с В. И. Вернадским и С. Ф. Ольденбургом.

Юношеское фрондерство его не миновало. В 1887 г. Аничков был привлечен к суду — в том же году, что А. И. Ульянов, впоследствии казненный. Будущего филолога и философа в декабре арестовали и исключили из университета, поскольку он позволил себе участвовать в «беспорядках» — так на тогдашнем казенном языке именовались студенческие волнения. Два года он отбывал воинскую повинность на Украине. Но в 1889 г. восстановился в университете и учился настолько хорошо, что был оставлен для подготовки к профессорскому званию.

Вслед за своим учителем Веселовским Аничков исповедовал верность молодой тогда научной парадигме — сравнительно-историческому литературоведению. В основе этой методологии, революционной для своего времени и хрестоматийной ныне, лежит, как известно, сопоставление различных литературно-художественных явлений, родившихся в контексте несхожих, казалось бы, или отчасти родственных национальных культур. Хотя бы то, что все европейские страны прошли через последовательность одних и тех же художественных стилей (методов), свидетельствует в пользу релевантности научной школы. Но, повторяю, сегодня ее никто не оспаривает — да и во время возникновения она поразила современников прелестью новизны, а не парадоксальностью самой парадигмы. В основе методологии исторической поэтики лежит определение роли традиции, в терминологии Веселовского — «предания» в творчестве того или иного автора. Он впервые понял, что категории поэтики складывались исторически, что ни одно явление не может быть рассмотрено вне глубокой диахронической связи с предшествующими. В этом Аничков оказался его неизменным последователем.

С 1895 г. Аничков, специалист по истории западноевропейской литературы, занимал должность приват-доцента Университета св. Владимира в Киеве. С 1901 г. заведовал кафедрой истории западноевропейских литератур. В том же году уехал в Европу, принимал участие в организации Русской высшей школы общественных наук в Париже, стал ее заграничным лектором, а в Оксфорде читал лекции по славянскому фольклору и сравнительной мифологии. С 1902 г. преподавал в

Санкт-Петербургском университете. В 1902–1903 гг. был арестован по невнятному политическому обвинению и 13 месяцев провел в одиночном заключении (освобожден по Высочайшему манифесту). Довольно часто ездил за границу (Лондон, Париж), где изучал провансальский (окситанский) язык и литературу, исследовал отдельные аспекты творчества Шекспира. В 1904 г. успешно защитил диссертацию «Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян», причем работа удостоена весьма почетной Уваровской премии Академии наук, учрежденной еще в 1856 г. в память о знаменитом С. С. Уварове. Характерной особенностью этой премии было то, что давали ее фактически наследники Уварова, хотя определяла номинантов Академия наук: это серьезный показатель уровня исследования, предпринятого Аничковым, и его оценки современниками.

В 1907 и 1908 гг. Аничков отбывал новое, 13-месячное одиночное заключение за участие в крестьянском союзе.

Ощущение такое, что в заключении ученый не прерывал научной деятельности. По освобождении он напечатал новый значительный и объемистый труд — «Язычество и древнерусская проповедь». В нем автор, в частности, анализировал возникновение былинного эпоса у нас и на Западе не из отвлеченных умозрительных предпосылок, а из бытовых условий жизни народа, принявшего христианство. К солидному тому прилагались критически изданные тексты. Работа удостоилась Ахматовской академической премии[1] и отзыва А. А. Шахматова, основоположника метода исторического изучения, в частности, русского языка.

Народ вообще интересовал Аничкова намного больше, чем религия и философия, хотя его самоотдача в профессии поразительна — другими словами, типична для его времени и круга: гуманитарным наукам придавалось такое значение, что невозможно было манкировать учеными занятиями или работой со студентами. Когда-то в статье для словаря Брокгауза и Ефрона Вяч. И. Иванов отметил, что Аничков был прежде всего народником и лишь потом профессиональным ученым. В известном смысле, не боясь гипербол, можно сказать, что окситанский язык понадобился ему прежде всего как один из путей к пониманию русского народа — в сравнении, в сопоставлении.

В 1914 г. вышел главный труд Аничкова, не утративший значения по сей день. Это «Язычество и Древняя Русь». В книге Аничков не поддался соблазну строить домыслы или создавать нечто подобное конспирологическим теориям современности. Он опирался только на сравнительно-историческую методологию и на текстологический анализ. Русское Средневековье предстало в этом труде, несмотря на нехватку материала и ограниченность источников, самостоятельным

[1] Ахматовская премия вручалась за лучшие научные труды и произведения изящной словесности, она была установлена в память тайного советника М. Н. Ахматова, завещавшего свой капитал Академии наук. Начиная с 1909 г. премия присуждалась ежегодно.

явлением, характеризовавшимся своеобразием и помогавшим постичь «физиономию», как говорили в XIX в., русского народа.

Не забудем, что Аничков был еще и преподавателем. Студенты слушали его с интересом. Вспоминает знаменитый историк Петербурга, градовед, краевед Николай Павлович Анциферов:

> «Из Петербурга приехал профессор Евгений Аничков. Наш кружок в полном составе пошел слушать его лекцию о новой литературе. Аничков читал напыщенно, уснащал свою речь эффектами. Но это не оттолкнуло меня. Мысль, им проводимая, показалась интересной. Он доказывал, что русские писатели боялись Венеры (чистое искусство), они чтили Мадонну (идейное искусство). Чехов первый понял абсолютное значение искусства, его самодовлеющую ценность. Но вот в литературу русскую вошла не только Венера, за ней шел и козлоногий сатир в окружении всевозможных сверхчеловечков. И чистый воздух искусства был отравлен запахом козлоногого.
>
> Из прослушанной лекции я понял, что Аничков приветствует более широкое понимание задач искусства, чем это было свойственно русской интеллигенции, что он хочет синтеза эллина и иудея (терминология Гейне, нам тогда свойственная). Но он испуган тем характером, который приняло у нас воскрешение бога древности. Не Венера Милосская, а Венера impudica![1]» (Анциферов: 1992, 127).

В 1914 г. 48-лений ученый добровольно ушел в ополчение, хотя, конечно, по возрасту не подлежал призыву. Служил военным цензором. В 1917 г. откомандирован с отрядом во Францию, служил в чине лейтенанта во французской армии. В революционную, а затем советскую страну не вернулся. С 1918 г. жил в Югославии, преподавал в университетах в Белграде и в Скопье.

Теперь два слова об уровне образования людей той эпохи. Как показатель — иностранные языки. Аничков знал древнегреческий, латынь, немецкий, французский, провансальский (или окситанский), английский, болгарский, чешский и, наконец, в последние семнадцать лет жизни выучил сербский. Языки помогали ему в работе: провансальский позволил написать о трубадурах «Историю труверов Арраса» (1900). Немало создано им о русской культуре. Он видел национальную мысль и искусство в контексте общеевропейском — это отличало его от едва ли не всех исследователей, писавших о России. Конечно, западную культуру знали многие, но Аничков актуализировал это знание.

В духе своего времени Аничков был масоном и принимал участие в организации лож в России (1906, «Возрождение») и Белграде (1906, «Максим Ковалевский»). С 1920 г. он один из основателей и председатель Русской академической

[1] Бесстыдная (лат.).

группы в Белграде, профессор философского факультета Белградского университета, преподавал историю книжного дела и старофранцузской литературы. С 1926 г. стал профессором философского факультета университета в Скопье. В начале 1930-х гг. принял югославское гражданство. С 1936 г. пребывал в отставке, вернулся жить в Белград. Почетный член, заместитель председателя Союза русских писателей и журналистов. Член юбилейного Пушкинского комитета в Белграде, главный редактор «Белградского Пушкинского сборника». В 1931 г. опубликовал на французском языке книгу об Иоахиме Флорском. Некоторые работы Аничкова остались в рукописи и хранятся в архиве Белграда (Югославия), в частности «Эстетика блаженного Августина».

Его книги «Литературные образы и мнения» (СПб., 1904) и «Предтечи и современники на Западе и у нас» (СПб., 1910) дают поразительный контекст русско-европейского диалога. Существенно еще заметить, что он был редактором полного собрания сочинений Н. А. Добролюбова (СПб., 1911–1913. Т. 1–9).

В эмиграции у Аничкова продолжали выходить книги и статьи. Свое кредо он изложил в сборнике «Православие и культура» (1923), в статье «На грани», в которой писал, что после крушения старой русской культуры православная Церковь остается единственной основой возрождения России. Затем последовала книга «Христианство и Древняя Русь» (Прага, 1924), где Аничков исследовал влияние христианства на русскую культуру и развитие литературы. Нельзя забыть его книгу «Западные литературы и славянство: Очерки» (В 2 т. Прага: Пламя, 1926). Перечисление его работ заняло бы немало места. Но вот те, которые относятся к текущей теме: «Эстетика правды-справедливости» (1904), «Две струи русской политической мысли» (Записки Русского научного института в Белграде, 1930), «К религиозным воззрениям наших шестидесятников» (Записки Русского научного института в Белграде. Белград, 1931. Вып. 3. С. 133–190). В последних говорится о Герцене и Чернышевском.

После знакомства читателей с важными моментами жизни и творчества Евгения Аничкова можно перейти непосредственно к предмету анализа.

В России общественное сознание выделяет и ставит рядом двух мыслителей, считающихся радикалами, — А. Н. Герцена и Н. Г. Чернышевского. Последние годы я немало писал об этом якобы тандеме, резко разводя их как двух антагонистов. Одна из статей так и называлась «Голгофник versus Варавва» (Кантор, 2013). Голгофник, разумеется, Чернышевский. Труженик, сын саратовского протоиерея, глубоко верующий христианин, переживший гражданскую казнь, все надежды возлагавший на науку и на реформы. А Варавва — Герцен, миллионер, сбежавший за границу, продав перед этим своих крепостных за миллионы и поместив огромные капиталы в банк Ротшильда. И из-за границы призывавший общество к отмене крепостного права, студентов к бунту, а крестьян к топору ради освобождения.

Конфликт их был неизбежен. Он и состоялся. Задача Аничкова в работе, к которой я обращаюсь, была «пересмотреть генеалогию русской общественной мысли» (Аничков, 1930: 531).

Можно вообразить сложность задачи, стоявшей перед исследователем, поскольку практически для всех эмигрантов именно сухой и, как внушалось дворянской клакой, эстетически глухой Чернышевский был инициатором революционного движения, в отличие от блистательного стилиста и виртуоза слова Герцена. Забывалось, что ближайшим другом Герцена был анархист-радикал М. А. Бакунин, заявивший, что страсть к разрушению — творческая страсть. Что Герцен, невзирая на личную антипатию, все-таки споспешествовал деятельности автора страшного «Катехизиса революционера» Сергея Нечаева, которого привечали Бакунин и Н. А. Огарев. Что именно Герцена в образе преступного демона Ставрогина изобразил Достоевский (Кантор, 2014).

Чтобы стать на сторону Чернышевского, нужна была интеллектуальная смелость. И Аничков сделал это, соблюдая объективность и обращая внимание на талант Герцена.

Безнравственность Герцена поразительна. Если говорить об эротической стороне его жизни, то чудовищна история любви его первой жены и немецкого поэта Гервега, точнее, чудовищно, что позор жены он вынес на всеобщее обозрение в «Былом и думах». Еще безобразнее история с женой его друга Огарева, жившего в доме богатого барина Герцена на правах приживала. Герцен не постеснялся вынуть из постели друга его жену и сделать своей любовницей. Если говорить о его общественном лице, то знаменитый «Колокол» с эпиграфом «Зову живых» разбудил радикальную нежить, которой перед смертью испугался сам автор и издатель. С течением лет «Колокол» потерял популярность и подписчиков. Но пока журнал был в силе, Герцен, решив утопить интеллектуального соперника — журнал «Современник», обрушился на некогда любимого друга Чернышевского, на гениального и тяжело больного юношу Добролюбова, делавшего журнал на равных со старшим другом. И в статье «Very dangerous» он обвинил Добролюбова в приспособленчестве к властям предержащим и предрек ему «Станислава на шею».

Это, полагал Аничков, не просто столкновение отцов и детей, но конфликт барина с разночинцем. Добролюбов вскоре умер, но Чернышевский ответил наотмашь, ударив по любимым идеям Герцена в трактате «О причинах падения Рима» (1861). Напомню, что Аничков — редактор девятитомного собрания сочинений Добролюбова, а потому в этой полемике он на стороне Чернышевского. Ведь, по его словам, «Добролюбов и Чернышевский — одно» (Аничков, 1930: 523). Собственно, с этого момента, с ответа Чернышевского, и начинает Аничков свою статью.

«Резкая политическая заметка Чернышевского против Герцена появилась в первой книжке “Современника” за 1862 год, а через четыре месяца журнал был приостановлен, и *тогда-то при обстоятельствах, которые навсегда останутся неизвестными, Герцену пришла странная мысль* (выделено мной. — *В. К.*) вызвать из России Чернышевского для совместной работы. Он пишет об этом Серно-Соловьевичу, и отсюда арест Чернышевского — удар, от которого он уже не оправится» (Там же: 524).

Насколько сознательной была эта провокация, гадать не будем. Но она состоялась.

Вернемся, однако, к тому, что так раздражало дворянскую элиту, а именно к диссертации Чернышевского, которую и И. С. Тургенев, и Л. Н. Толстой, и А. В. Дружинин называли «мертвечиной».

Прежде чем показать, насколько точен предпринятый Аничковым анализ эстетической теории Чернышевского, продемонстрируем на практике уровень его профессионального чутья и компетентности в области анализа литературного произведения. Здесь надо отметить несколько моментов.

Во-первых, Аничков, боявшийся засилья козлоногих сатиров и бесстыдной Венеры в отечественной литературе, Аничков, читавший лекции в нарочито напыщенном тоне, по-видимому, в качестве напоминания о «высокой истине» родной словесности, при всем том был одним из лучших истолкователей поэзии и прозы Серебряного века, скажем, первым оценивший «Петербург» Андрея Белого. Автор-модернист писал: «Врезался в память короткий и толстый, такой краснощекий, такой пухлогубый, с усищами, с густой бородкой, Евгений Васильич Аничков; казалось, что сам петергофский Самсон бил — не он говорил; потрясая рукой, приподнявшись на цыпочки, храбро бросая в атаку живот, едва стянутый белым жилетом, казался скорее гусарским полковником он, чем профессором-меньшевиком; он поздней агитировал за “Петербург” — мой роман; и — спасибо ему» (Белый, 1990: 77).

Во-вторых, Аничков хорошо, даже блестяще знал современное западноевропейское искусство.

В-третьих, всю силу недюжинного темперамента он отдавал преподаванию. Приведу слова одного его слушателя, чтобы можно было оценить живость профессора, дважды отбывшего одиночное заключение, но сохранившего силу духа. Владимир Пяст вспоминал:

> «Е. В. Аничков, кругленький, толстенький в свои сорок лет — выглядел именно того возраста, которого был, — но при этом было совершенно явно, что по молодому своему энтузиазму не уступал никому из приглашенных им лично в семинарий студентов! Смелый в общественной жизни, он был смел и в жизни академической.

В противовес всем схоластическим семинариям факультета, он первый объявил семинарий по новой литературе. А участники его, студенты, были с самого начала призваны им к интересной, живой, самостоятельной работе. И хотя семинарий был в малопосещаемом романо-германском отделении (впрочем, заседания его имели место в помещении "Кружка Молодых", т. е. Музея Древностей), — в нем участвовали самые разнообразные студенты. Всем были розданы темы для рефератов, согласно желанию каждого, — в ту пору и это было новшеством. Интереснейшее введение Аничкова пришел послушать весь университет, на его лекциях, — как и на лекциях Е. В. Тарле, с которым он несколько соперничал, стремясь превзойти его в популярности среди студентов, — всегда были полны отводившиеся для них самые большие университетские аудитории. Лекции его были блестящими импровизациями: все на свете, больше же всего современное искусство, привлекалось им; все произносилось чрезвычайно талантливо, но с рядом комических приемов, очень искусно применявшихся знавшим свои сильные стороны лектором. <…> Часто выступая и в публичных лекциях, и вне университетских стен, Е. В. Аничков знал секрет успеха у слушателей. По своему желанию он добивался аплодисментов любого вида, введя ряд подразделений в классификацию их с акустической стороны. Кроме "раскатистых", "бурных", "ровных" и т. п. общеизвестных видов, — Е.В. Аничков умел добывать аплодисменты "бархатные", "кошачьи", "с хвостом"» (Пяст, 1997: 113–114).

Пясту, кстати, педагог дал тему по Эдгару По, входившему тогда в ряд основателей нового искусства.

Серебряный век, как справедливо полагал Аничков, пришел в Россию из Западной Европы, но его истоки он показывал шире, чем сами первые модернисты, — не только от французских символистов и Ницше, но также и от прерафаэлитов, Вильяма Мориса, Рёскина и др. Он в числе первых увидел неожиданное в новой эстетике. И — почувствовал, конечно же, на основе досконального знакомства с материалом, что основы нового искусства сформулированы и заложены… в диссертации Чернышевского.

В России в те годы это было совсем непонятно, а Запад не мог диссертацию прочитать.

Итак, какие же идеи, способствующие возникновению нового искусства, находит у Чернышевского Аничков?

Процитирую его работу 1903 г.:

«Насчет красоты у Чернышевского были свои собственные и в высшей степени интересные взгляды; в значительной степени они оказались и пророческими: только дальнейшее их развитие надо искать не у русских его последователей, а в эстетической науке Запада. Взгляды Чернышевского, выраженные в его знаменитой диссер-

тации, сводились, как известно, к двум основным положениям: во-первых, действительность в эстетическом отношении несравненно выше искусства, а во-вторых, в сферу искусства должно входить не только красивое и его так называемые моменты, т. е. трагическое и комическое, но все вообще, что может быть интересно. <…> Несомненно влияло на этот взгляд его и то развитее реализма в искусстве, которое Чернышевский приветствовал с таким увлечением в "Очерках Гоголевского периода".

Как раз такое реалистическое искусство, не разделявшее эстетическую сферу на прекрасное и безобразное, на Западе и привело к установлению того же самого принципа в теории искусства, какой в России был одиноко возвещен Чернышевским. Как для живописцев, так и для романистов, преимущественно во Франции, природа стала не только образцом, но неуловимой и дорогой химерой, предметом всех стремлений, наблюдений, всей внутренней творческой жажды. Плэн-эризм, курбетизм, импрессионизм в живописи и натурализм в романе, все это основано на различных попытках уловить самое природу, увидеть ее такою, как она есть, и заставить ее почувствовать зрителя или читателя, так сказать, целиком без малейшего изменения. И рядом с французскими художниками и романистами, несколько опередив их, в Англии Рёскин не только проповедует неиссякаемую, безграничную и вечно обновляющуюся красоту природы, это до него уже делали поэты лэкисты[1], а за ними Шелли и Китс, Рёскин еще изучает природу, как естествоиспытатель, проповедует возможность проникнуться ее тайнами, и центр художественного интереса для него переходил именно в пейзаж, в творческое, но вполне искреннее и верное воспроизведение природы. <…> Природа стала вожделенным идеалом; природа — свята и непогрешима. Теоретик реализма Гюйо[2] в 80-х годах поэтому и скажет, что красота природы недосягаема художнику, т. е., иначе говоря, что красота в природе выше красоты искусства, повторяя этим слова Чернышевского» (Аничков, 2016: 114).

А слова Чернышевского, которые столь глубоко и доказательно комментировал Аничков, были такие: «Самое общее из того, что мило человеку, и самое милое ему на свете — *жизнь* (курсив мой. — *В. К.*); ближайшим образом такая жизнь, какую хотелось бы ему вести, какую любит он; потом и всякая жизнь, потому что все-таки лучше жить, чем не жить: все живое уже по самой природе своей ужасается погибели, небытия и любит жизнь» (Чернышевский, 1949: 10).

Однако только всерьез верующий мыслитель, а как раз таким и был Аничков, сумел увидеть теоретический исток этой идеи Чернышевского. Надо сказать, что в доме саратовского протоиерея, отца русского философа, хранилось собрание сочинений блаженного Августина. Оно было личной собственностью Гаврилы

---

[1] Поэты Озерной школы.

[2] Жан Мари Гюйо (1854–1888) — французский философ-спиритуалист и поэт. Основная мысль, которую разрабатывал Гюйо, заключалась в идее жизни как общего плодотворного начала, на котором зиждется все.

Ивановича, а стало быть, оказалось доступным юному семинаристу, блистательно владевшему латынью. Знаменитая статья «О причинах падения Рима», так обозлившая Герцена, была навеяна не только Монтескьё, но и текстами Августина (прежде всего «Словом о разорении города Рима») (Кантор, 2019: 14–24). К Августину, видимо, восходит и его идея, что действительность выше искусства. Цитирую Аничкова:

> «Августин будет уже во множестве мест своих многочисленных писаний неизменно и упорно повторять основное положение своей эстетики, ее исходный пункт, что "каждое из произведений природы, которое возникает по воле Божественного промысла, гораздо лучше, чем произведения людей и каких угодно художников, а потому и более достойно божественного почтения, чем то, что чтилось в храмах" (De vera relig. 2). Значит, красота не какое-то исключение, не что-то лишь время от времени достигаемое природой, не результат искусства художников, украшавших храмы и воспроизводивших типы богов из мрамора, дерева, красками, резцом и т. д. Нет. Эстетика Августина устанавливает положение, что вообще прекрасна природа. И пройдет много веков, пока вновь, иным порядком рассуждений и иначе прочувствовав красоту природы, скажут то же самое артисты[5] и мыслители» (Аничков, 202: 235–236).

Но это явная позиция диссертации Чернышевского, которую Владимир Соловьев, поклонник Августина, назвал «первым шагом к положительной эстетике».

Переходя к революционной теме, Аничков резко разводил радикальное движение и Чернышевского, считая источником русской революционности писания Герцена.

> «На самом деле все главные лозунги русского революционного движения до самой "Народной Воли" провозглашены Герценом. Настоящим вдохновителем революционеров еще во времена "нечаевщины" станет его друг, Бакунин. Но Герцен не только позвал основывать тайные типографии, от него же исходят и "Земля и Воля" и "Хождение в народ". Даже странно, Герцена — писателя волею Божией, писателя, который войдет в число русских классиков, читают мало, хотя знает об изумительном блеске его дарования каждый образованный человек, а в то же время Герцен, "бросившийся в борьбу", лишь по виду позабыт, хоть и считается он пережившим самого себя; провозглашенные им лозунги живы, и ими трепещут и мятутся, во имя их идут на Голгофу революционного дела новые поколения» (Аничков. 1930: 546).

Ленинская статья «Памяти Герцена», в сущности, говорила об этом же: революционная пропаганда в России началась с Герцена.

Прошли годы. Умерли Чернышевский и Герцен.

Прошла череда еще более длинных лет, прошли десятилетия, и в Белграде усилиями профессора Корнелии Ичин работы Аничкова не просто переиздаются (это делается и в России), но в буквальном смысле выходят из небытия. Аничков был ведь не только ученым, но и настоящим литератором, причем его научное дело помогало и в творчестве. Скажем, мало кому известна деталь, о которой пишет Корнелия Ичин: как знаток провансальской поэзии трубадуров Аничков помогал А. А. Блоку в написании пьесы «Роза и крест». Сам он создал роман «Язычница» (1931), изданный в Париже. Написал также цикл пьес и цикл рассказов, расшифрованных по рукописям и изданных профессором Ичин.

Неужели понадобилось более полувека, чтобы в историю русской литературы вернулись справедливые, непредвзятые оценки?.. И да: вернуться-то они вернулись, но кто о них нынче знает?..

Литература

Аничков Е. В. (1930) Две струи русской политической мысли // Записки русского научного института в Белграде. Вып. 1. С. 205–243.

Аничков Е. В. (2017) Пьесы. Рассказы. Статьи / Подготовка текста и общая редакция К. Ичин. Белград: Изд. филологического факультета.

Аничков Е. В. (2016) Реализм и новые веяния. Эстетика правды-справедливости. М.: ЛЕНАНД.

Аничков Е. В. (2002) Эстетика и христианство // Августин: Pro et contra. СПб.: РХГИ. С. 232–241.

Анциферов Н. П. (1992) Из дум о былом. Воспоминания. М.: Феникс.

Белый А. (1990) Между двух революций. М.: Художественная литература.

Кантор В. К. (2014) Герцен как прототип Ставрогина // Человек. № 3. С. 148–159.

Кантор В. К. (2013) Голгофник versus Варавва. К полемике Чернышевского и Герцена о России // Вопросы литературы. Ноябрь-декабрь. С. 294–331.

Кантор В. К. (2019) Августин и Чернышевский: падение Рима как культурфилософская проблема Европы // *Кантор В. К.* Демифологизация русской культуры. Философические эссе. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив. С. 14–24.

Пяст В. А. (1997) Встречи / Сост., вступ. ст., науч. подгот. текста, коммент. Р. Д. Тименчика. М.: Новое литературное обозрение.

Чернышевский Н. Г. (1949) Эстетические отношения искусства к действительности // *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч. в 16-ти тт. Т. 2. М.: ГИХЛ. С. 5–92.

EVGENY ANICHKOV: PROLEGOMENA TO THE INTERPRETATION

Vladimir Kantor
DSc in Philosophy, Professor, Tenured Professor, School of Philosophy, Faculty of Humanities, National Research University Higher School of Economics. Laboratory Head: International Laboratory for the Study of Russian and European Intellectual Dialogue. National Research University Higher School of Economics, Russian Federation. Journal "Philosophical letters. Russian and European dialogue". Editor-in-Chief.
Address: 21/4 Staraya Basmannaya Street, Moscow, Russian Federation 105066. Office A-215
E-mail: vlkantor@mail.ru

It is necessary to return into the Russian academic context the name of Evgeny Anichkov — theorist and historian of literature, apprentice and disciple of A. N. Veselovsky, philosopher of culture. In emigration Anichkov continued to publish articles and books, he particularly analyzed the place of A. I. Herzen and N. G. Chernyshevsky in the history of Russian social thought. Unlike most contemporaries, Anichkov sharply contrasted these thinkers, revealing a number of antagonistic traits and intentions in life and work of each of them.

Keywords: E. V. Anichkov, A. N. Veselovsky, comparative historical literature, narodnik movement, A. I. Herzen, N. G. Chernyshevsky

References

Anichkov E. V. (1930) Dve strui russkoj politicheskoj mysli [Two Streams to Russian Political Thought], *Zapiski russkogo nauchnogo instituta v Belgrade [Notes of the Russian Scientific Institute in Belgrade]*, iss. 1, pp. 205–243 (In Russian).

Anichkov E. V. (2017) P'esy. Rasskazy. Stat'i [Plays. Stories. Articles] (edit. by K. Ichin). Belgrade: Izd. filologicheskogo fakul'teta, 264 p. (In Russian)

Anichkov E. V. (2016) Realizm i novye vejanija. Jestetika pravdy-spravedlivosti [Realism and New Developments. The Aesthetics of Jus-Justice] Moscow: LENAND, p. 114 (In Russian)

Anichkov E. V. (2002) Jestetika i hristianstvo [Aesthetics and Christianity], *Avgustin: Pro et contra [Augustine: Pro et contra]*, St. Petersburg: Izdatel'stvo Russkogo Hristianskogo Gumanitarnogo Instituta, pp. 232–241 (In Russian).

Anciferov N. P. (1992) Iz dum o bylom. Vospominanija [From the doomsday. Memories], Moscow: Feniks (In Russian).

Bely A. (1990) Mezhdu dvuh revoljucij [Between two revolutions], Moscow: Hudozhestvennaja literatura (In Russian).

Chernyshevsky N. G. (1949) Jesteticheskie otnoshenija iskusstva k dejstvitel'nosti [Aesthetic relationship of art to reality], Polnoe sobranie sochinenij v 16-ti tomah [Complete Works], Vol. 2, Moscow: State Publishing House of Fiction, pp. 5–92 (In Russian).

Kantor V. K. (2013) Golgofnik versus Varavva. K polemike Chernyshevskogo i Gercena o Rossii [Calvary versus Barabbas. To the polemic of Chernyshevsky and Herzen about Russia], Voprosy literatury [Literature Issues], November-December, pp. 294–331 (In Russian).

Kantor V. K. (2014) Gercen kak prototip Stavrogina [Herzen as a prototype of Stavrogin], Chelovek [A man], no 3, pp. 148–159 (In Russian).

Kantor V. K. (2019) Avgustin i Chernyshevskij: padenie Rima kak kul'turfilosofskaja problema Evropy [Augustine and Chernyshevsky: the fall of Rome as a cultural-philosophical problem of Europe], *Demifologizacija russkoj kul'tury. Filosoficheskie jesse [Demythologization of Russian culture. Philosophical Essays]*, Moscow, St. Petersburg: Centr gumanitarnyh iniciativ, pp. 14–24 (In Russian).

Pjast V. A. (1997) Vstrechi [Meetings] (edit. by R. Timenchik), Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie (In Russian).

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЕВГЕНИЯ АНИКОВА «В ПРЕЖНЕЙ РОССИИ И ЗА ГРАНИЦЕЙ». ДЕТСКИЕ ГОДЫ

Корнелия Ичин
Доктор филологических наук, ординарный профессор
филологического факультета Белградского университета,
главный редактор журнала «Зборник Матице српске за славистику».
Республика Сербия, 11000, г. Белград, Студентски трг, 3.
E-mail: kornelijaicin@gmail.com

В предисловии к изданию двух глав из воспоминаний Е. В. Аничкова намечены направления дальнейшего комплексного анализа его многосторонней деятельности, однако акцент ставится на его писательском опыте. Приводятся факты биографии и основные труды ученого, помогающие глубже понять его творческую манеру и стиль. Подчеркивается, что для Аничкова важно было утверждение единства русской эстетики, иными словами, он воспринимал Красоту в ключе панэстетизма, как сущность мира и преображающую силу бытия.

Ключевые слова: Евгений Аничков, воспоминания, Кавказ, Вильнюс, панэстетизм, русский модернизм, русский символизм, историческая поэтика.

DOI 10.17323/2658-5413-2020-3-1-187-192

Евгений Васильевич Аничков известен исследователям русской словесности в первую очередь как автор основополагающих трудов о славянском фольклоре и средневековой литературе: «Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян» (1903–1905), «Язычество и Древняя Русь» (1914) и «Христианство и Древняя Русь» (1924). Его имя хорошо знакомо театроведам и литературоведам, ибо он автор весьма важных работ, посвященных творчеству таких авторов, как Шекспир, Уильям Моррис, Горький, Андреев, Сологуб, Блок, Вячеслав Иванов, а также вопросам эстетики и теории литературы: «Эстетика трагизма» (1902), «Литературные образы и мнения» (1904), «Предтечи и современники на Западе и у нас» (1910). Аничков стал автором ряда статей для энциклопедии Брокгауза и Ефрона; к тому же он автор широко известных книг «Очерк истории театра в Западной Европе и в России» (1911), «Новая русская поэзия» (1923), «Западные литературы и славянство» (1926). В довоенном Петербурге под редакцией Аничкова вышло Полное собрание сочинений Н. А. Добролюбова в девяти то-

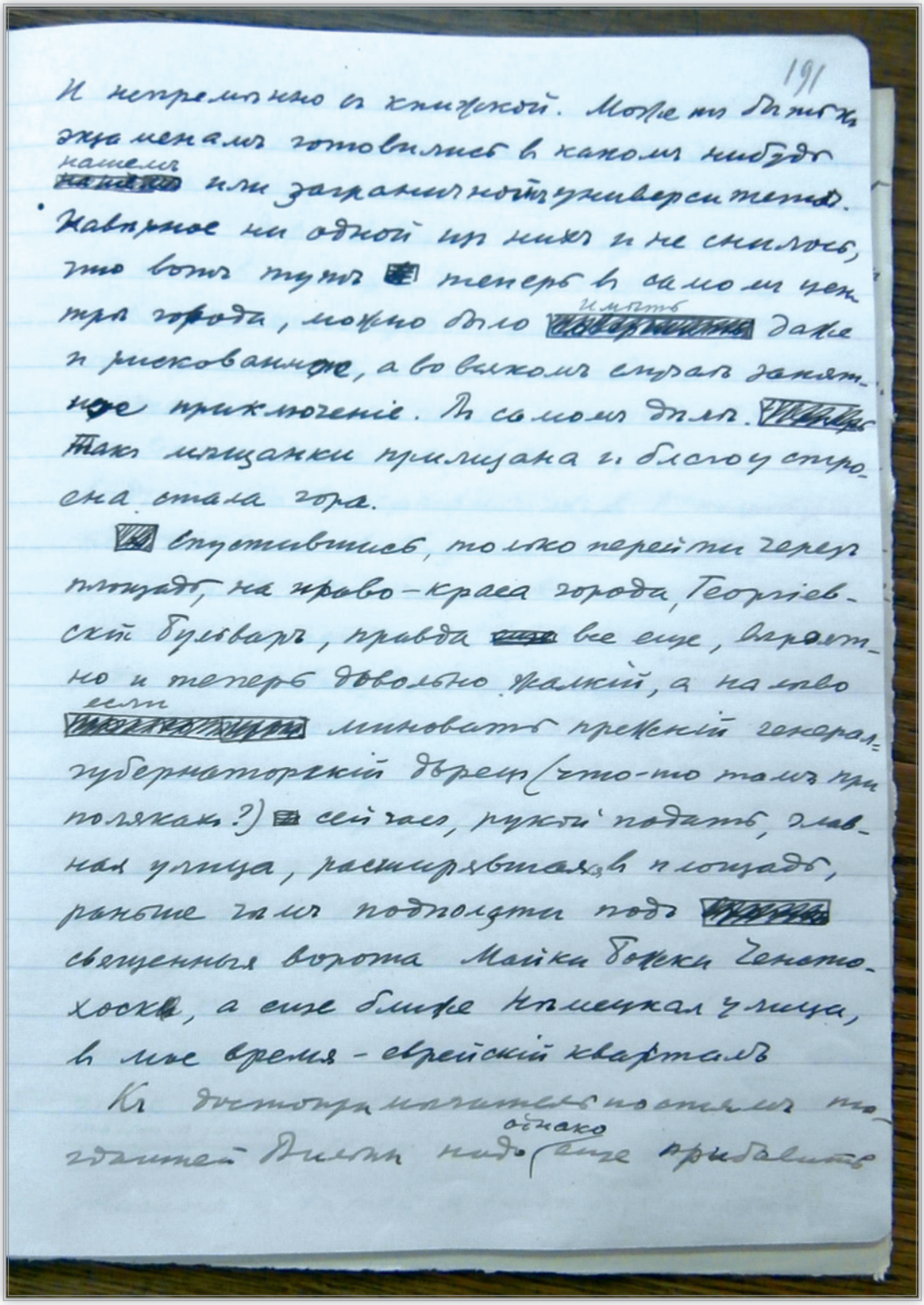
мах (1911–1913). В Белграде, в годовщину гибели Пушкина, под его редакцией вышел «Белградский Пушкинский сборник» (1937).

Однако мало кто знает, что Аничков был не только литературоведом, но и писателем, а также автором воспоминаний. За исключением единственного опубликованного в 1931 г. в Париже его литературного сочинения — романа «Язычница» — все остальные художественные произведения оставались неопубликованными вплоть до малотиражного издания 2015 г. (Аничков, 2015) и последующего переиздания (Аничков, 2017).

В духе лучших традиций русского литературоведения XX в. Аничков одновременно являлся и исследователем литературы, и писателем. В этом, кажется, немалую роль сыграло домашнее образование, которое он как потомственный дворянин получил во второй половине 1870-х — начале 1880-х гг., а также обучение на историко-филологическом факультете в Петербурге с 1886 г.

Аничков занимался у А. Н. Веселовского. Надо сказать, что он оказался самым преданным учеником и последователем основателя сравнительно-исторического метода. Правда, в своих работах, в первую очередь в диссертации «Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян», защищенной в 1904 г., Аничков пытался отойти от «академизма», превращающего научное исследование в сбор материалов или простую группировку фактов, пусть даже тщательно собранных и проверенных. Для него как человека нового поколения, не чуждого символистскому мировоззрению, важно было сохранить в науке методологию «реалистического символизма», в основе которой лежало представление о «ноуменальном» или, в терминологии Вячеслава Иванова, «реальнейшем» бытии. С этой целью в диссертации Аничкова генезис искусства возводился не к игре (такова концепция А. Н. Веселовского), а к обрядовой магии. Для Аничкова важно было утверждение единства русской эстетики, иными словами, он воспринимал Красоту в ключе панэстетизма, как сущность мира и преображающую силу бытия. Это роднило его с предшественниками Вячеслава Иванова: с одной стороны, Достоевским с его лозунгом «Красота спасет мир», с другой — с Владимиром Соловьевым, философски и поэтически обосновавшим правоту Достоевского. Следы такого восприятия проявляются и в драматической трилогии Аничкова (Успенская, 2007).

В университете Аничков проявлял политическую активность. За участие в беспорядках был изгнан в 1887 г. и с тех пор неоднократно подвергался арестам и длительному одиночному заключению. В студенческие годы восхищался научным кружком Ф. Ф. и С. Ф. Ольденбургов, или Приютинским братством, в которое входил, в частности, В. И. Вернадский, — первой разрешенной студенческой организацией в 1880-е гг., после покушения террористов на Александра II. В связи с указанными жизненными обстоятельствами Аничков окончил курс гораздо позднее, чем полагалось, но, несмотря ни на что, в 1895 г. был назначен лектором



191

И непремѣнно съ книжкой. Можетъ быть къ экзаменамъ готовились въ какомъ нибудь нашемъ или заграничномъ университетѣ. Навѣрное ни одной изъ нихъ и не снилось, что вотъ тутъ теперь въ самомъ центрѣ города, можно было имѣть даже и рискованное, а во всякомъ случаѣ занятное приключеніе. Въ самомъ дѣлѣ. Такъ мѣщанки прилизана и благоустроена стала гора.

Спустившись, только перейти черезъ площадь, на право — краса города, Георгіевскій бульваръ, правда все еще, вѣроятно и теперь довольно жалкій, а налѣво если миновать прежній генералъ-губернаторскій дворецъ (что-то тамъ при поляках?) сейчасъ, рукой подать, главная улица, расширявшаяся въ площадь, раньше чѣмъ подползти подъ священныя ворота Майки Божки Ченстохоскѣ, а еще ближе Нѣмецкая улица, въ мое время — еврейскій кварталъ

Къ достопримѣчательностямъ тогдашней Вильны надо однако еще прибавить

Рукопись Е. В. Аничкова

английского языка и приват-доцентом по истории западноевропейских литератур в Киевский университет. В 1901 г., оказавшись с семьей в Париже, вместе с Максимом Максимовичем Ковалевским (1851–1916) принимал активное участие в устройстве Русской высшей школы общественных наук. В Оксфорде читал лекции по славянскому фольклору и сравнительной мифологии.

На протяжении многих лет Аничков изучал провансальский язык и литературу; этими своими знаниями он окажет помощь Блоку при написании пьесы «Роза и крест» (1912–1913). По возвращении в Россию он читал лекции в качестве приват-доцента в Петербургском университете и на Высших женских Бестужевских курсах с 1902 г., пока в конце 1903 г. его вновь не арестовали по обвинению в политическом преступлении. Пробыв в заключении 13 месяцев, Аничков был освобожден в силу Высочайшего манифеста. На протяжении многих лет он причислял себя к партии социал-демократов (меньшевиков).

С 1908 г. был профессором Петербургского психоневрологического института по всеобщей литературе и эстетике. В довоенный период Аничков активно участвовал в деятельности Общества ревнителей художественного слова, выступал в литературном кабаре «Бродячая собака», бывал регулярно на «башне» у Вячеслава Иванова.

В самом начале Первой мировой войны Аничков добровольно вступил в ополчение. В 1917 г. был откомандирован с русским отрядом во Францию, а потом на фронт в Салоники. С 1918 г. находился в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев, где преподавал в Белградском университете с 1920 г., а потом в Университете в Скопье с 1926 г. О своей жизни, о предках, о родовом имении, об образовании, о былой России оставил уникальные по значению воспоминания под названием «В прежней России и за границей».

Многотомные воспоминания Евгения Васильевича Аничкова хранятся в Архиве Сербской академии наук и искусств. Они составляют 30 тетрадок формата А5 рукописного текста разного объема, со вкраплениями отдельных исписанных листов другого размера. К своим воспоминаниям Евгений Аничков написал также эссе под названием «Principium individuationis», посвященное вопросу необходимости для человека писать, утверждая собственную личность. Воспоминания «В прежней России и за границей» написаны чернилами, частично простым карандашом, на клетчатой, линованной и белой писчей бумаге.

Мы предоставляем вниманию читателя первые две главы из воспоминаний Евгения Аничкова. Они посвящены раннему детству автора, проходившему в Санкт-Петербурге, на Кавказе и в Вильно. Среди прочего, из них узнаем об истории отцовского и материнского семейств, об усадьбе Ждани, об исторических обстоятельствах на Кавказе, о нравах, образовании, круге общения (Новосильцовы, Ореусы, Карцовы). Эти две главы занимают 3 тетради (1-я на клет-

чатой, 2-я на линованной, 3-я на простой белой бумаге). Евгений Аничков начал писать воспоминания в 1916 г. в Заречье и Говезне, продолжил в Скопье в 1929 г. (1-я тетрадь), в Скопье и в Париже в конце 1929 г. (2-я тетрадь начата 4 декабря 1929 г.), в Кламаре и Париже в 1931 г. (3-я тетрадь).

Данный текст публикуется с соблюдением общепринятых на сегодняшний день орфографических, грамматических и пунктуационных норм современного русского языка. Подчеркнутые автором слова в тексте набраны курсивом. Инициалы или слова, написанные в сокращенном виде, развертываются в угловых скобках <>, кроме общепринятых сокращений (и т. д., т. п., т. е., г.). Перевод текста, написанного на иностранном языке, приводится также в угловых скобках, сразу после иностранного текста, в основном тексте сочинения. Аналогичным образом оформлены пропущенные в тексте буквы и примечания автора. Зачеркнутые в тексте слова развертываются в квадратных скобках [] в основном тексте сочинения. Если взамен зачеркнутого слова предлагается другое, то зачеркнутое слово как вариантное приводится в постраничной сноске также в квадратных скобках. Постраничные сноски в тексте обозначаются звездочкой *.

Наконец, хотелось бы высказать благодарность сотрудникам Архива Сербской академии наук и искусств за любезно предоставленную возможность ознакомиться с рукописным наследием Е. В. Аничкова и предпринять попытку расшифровки мелкого, трудно читаемого почерка писателя и литературоведа Евгения Аничкова.

Литература

Аничков Е. В. (2015) Пьесы. Рассказы. Статьи / Подготовка текста и общая редакция К. Ичин. Белград: Изд. филологического факультета.

Аничков Е. В. (2017) Пьесы. Рассказы. Статьи / Подготовка текста и общая редакция К. Ичин. Белград: Изд. филологического факультета.

Успенская Э. (2007) Е. В. Аничков: проект спасения красотой // Београд. Руска дијаспора исрпско-руске културне везе. Зборник реферата. С. 99–114.

FROM THE MEMOIRS OF EVGENY ANICHKOV "IN FORMER RUSSIA AND ABROAD". CHILDHOOD

Kornelia Ichin
Doctor of Philology, Professor of the Faculty of Philology,
University of Belgrade, Chief Editor of the journal
"Zbornik Matice Srpske for Slavistics".
Belgrade, Studentski trg 3. Serbia
E-mail: kornelijaicin@gmail.com

In the preface to the publication of two chapters from the memoirs of E.V. Anichkov directions for a further comprehensive analysis of his multilateral activities are outlined, however the emphasis is placed on his writing experience. The facts of biography and the main works of the scholar that help to understand his creative manner and style better are provided. It is emphasized that for Anichkov the statement of unity of Russian aesthetics was important, in other words, he perceived Beauty in the vein of panesthetism, as the essence of the world and the transfiguring power of being.

Keywords: Evgeny Anichkov, memories, the Caucasus, Vilnius, panesthetism, Russian modernism, Russian symbolism, historical poetics.

References

Anichkov E. V. (2015) P'esy. Rasskazy. Stat'i [Plays. Stories. Articles] (edit. by K. Ichin). Belgrade: Izd. filologicheskogo fakul'teta, 284 p. (In Russian).

Anichkov E. V. (2017) P'esy. Rasskazy. Stat'i [Plays. Stories. Articles] (edit. by K. Ichin). Belgrade: Izd. filologicheskogo fakul'teta, 264 p. (In Russian).

Uspenskaja Je. (2007) E. V. Anichkov: proekt spasenija krasotoj [E. V. Anichkov: Beauty Salvation Project], *Руска дијаспора исрпско-руске културне везе. Зборник реферата [Russian Diaspora and Serbo-Russian Cultural Relations. Proceedings]*, Belgrade, p. 99–114 (In Russian).

В ПРЕЖНЕЙ РОССИИ И ЗА ГРАНИЦЕЙ ПОВЕСТЬ О СУДЬБАХ РОДИНЫ И О САМОМ СЕБЕ

Евгений Аничков
Подготовка текста и примечания Корнелии Ичин

DOI 10.17323/2658-5413-2020-3-1-193-223

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Детство, предки, родители и родня

ГЛАВА I
В Петербурге, на Кавказе и в Подмосковной

Проблески памяти — мальчик с книжкой — казаки и горные стремнины. — Кизиловое дерево, джапары, белый ишак и замок Керагли. — Лесной царь в Закавказье. — Родители и знакомые. — Приезд Государя. — Назад на север. — Новосильцовы. — Мы дети.

Проблески памяти

Может быть, оттого мы и не храним в памяти свое крошечное я, которое еще только что начинало лепетать, что настоящему Я надо было вместить в себя хотя бы в какой-нибудь степени наследие, данные, те кое-какие основы цивилизации, какая бы первобытная она ни была, без которых мы вовсе не становимся себе подобными. Ведь стать человеком и значит научиться лепетать, и лепет — первое усилие, необходимое, чтобы проникнуть в человеческую среду. До лепета не человечество, а часть, не совсем еще порвавшая свою чисто физиологическую связь с матерью, рядом с которой тоже, думается мне, чисто физиологически ощущается отец.

Может быть и еще другое. Ребенок, который так неудержимо торопится жить, т. е. с какой-то фантастической быстротой воспринимает неисчислимое количество знаний, слов, грамматических правил (это последнее не более таинственно), привычек, навыков, принципов поведения, ребенок совсем никаких усилий не делает, чтобы запомнить свое недавнее прошлое. И это продолжается очень долго. Еще в течение всей молодости. Только в зрелости пробуждается любопытство к началу своего бытия. Но и тогда недосуг. В старости и только в старости начинает вспоминать и любить воспоминания, и они почему-то так ярки и отчетливы. Только пожать-то осталась тощая...

Соберу ее.

Мальчик с книжкой

Я стою у окна и смотрю в узкий двор, туда, далеко вниз, куда спускаются высокие стены с множеством таких же окон, как мое. Кажется, за моей спиной стоит няня или гувернантка. В глубине колодца, куда направлено все мое внимание, происходит нечто совершенно фантастическое: там — наш кучер, татарин, — его звали, должно быть, Ибрагимом, если только Ибрагим не был наш человек, тоже татарин, — запрягает Битюга и Шведку. Но не это самое загадочное; рядом с кучером оказался и наш человек. Ведь он всегда тут, наверху. Как же он мог попасть в этот таинственный колодец, где, оказывается, живут Битюг и Шведка? Какой он счастливец!

Знал ли я о существовании черной лестницы, по которой можно спуститься из нашей кухни прямо во двор?

Во всяком случае, очень долго, не только в это далекое время сумерек памяти, когда мне было не более трех лет и мы жили еще в Петербурге, но и гораздо позднее, еще и в гимназические годы, черные лестницы мне представлялись не иначе как в ореоле чего-то трудного и таинственного. Это совсем не так просто — выйти из кухни и спуститься по черной лестнице! Да и куда она ведет? Какой там вход? Откуда? Очень загадочно и почти опасно. Черная лестница — это какое-то в высшей степени неудобное сооружение: за перила взяться нельзя, не то, что они испачканы, но уж лучше не трогать, пахнет кошками, дикими и голодными; на каждом шагу дверь в чужую кухню, и двери отворены, так что проходить мимо как-то неделикатно, точно забрался к чужим людям, а каменные плиты, по которым идешь, слизкие, противные и вообще подозрительные. Вот двор, куда ведет черная лестница, — если только это правда, что так легко попасть во двор, двор — это другое дело. С тех пор как сделано это открытие, что там живут Битюг и Шведка, и говорить нечего! Но и помимо этого. Двор вроде деревни, т. е. раздолье. Двор, узкий мощенный булыжником двор петербургских домовящиков, был мне, вероятно, гораздо заманчивее Летнего сада.

Сам по себе Летний сад не представлял даже никакого интереса. Летний сад, это — город. Тут идти — надо одеть кафтанчик, опоясаться красным кушаком, на голове ямская ярко приглаженная шляпа с перьями, и единственно, чем отличается от улицы Летний сад, это что можно пробежать несколько шагов вперед от гувернантки. Но разве так бегают? А что там деревья, ну это уж совершенно ни к чему; дерево, на которое нельзя лазить, не дерево, а просто так себе. Непонятно, зачем они нужны. Да вообще, что такое дерево в городе? Ничего, кроме презрения, оно вызывать не может. Самый нужный сорт деревьев.

Из всего Летнего сада я запомнил от тех времен только главную аллею, не доходя часовни. Часовня. Нева — уже далекие неведомые страны. Мы входили в маленькие ворота от Инженерного замка. Возможно, впрочем, что и были-то мы в Летнем

саду только один-два раза, и оттого он запечатлелся в памяти. И даже не сам он, а событие. Рядом с Летним садом — Царицын луг, где всегда бывают майские парады, т. е. маршируют солдаты. Вот это место! Увидеть бы майский парад!

Идем по главной аллее Летнего сада — новая гувернантка Ольга Павловна Кованько, хорошенькая брюнетка, только что из института, брат и я. К Ольге Павловне подошли ее двоюродные братья — два моряка, еще кадеты. Пошли в сторону Царицына луга.

— Отчего нет военных?

— А мы?

Какой странный ответ! Моряки, конечно, интересные: у них шапки на затылке и сабли вроде игрушечных, но ведь я возмутился тем, что нет майского парада. Как это объяснить? Мне показывают в утешенье:

— Вон, посмотри!

Да я вижу, что на плацу какая-то маленькая часть производит учение, но я вовсе не настолько глуп, чтобы не понимать разницу между майским парадом и каким-то ничтожным учением, хотя я и не видел никогда парад. На всю жизнь сохранилась обида от этого случая.

Но произошло в Летнем саду и настоящее событие: мы встретили Государя. Я совершенно его не помню. Я знаю только, что на этот раз я поступил совершенно по-своему, по непосредственному влечению, и меня, однако, нисколько не бранили. Мальчики должны поклониться Государю. А поклониться — значит большим пальцем быстро сдвинуть резинку от ямской шапки вперед через подбородок и затем, взявши шапку снизу тем же большим пальцем, а сверху всеми остальными снять и опять надеть. При этом отнюдь не надо делать никакого движения головой. Именно это все надо было исполнить при встрече с Государем. Я же поступил иначе. И не думая о том, что надо поклониться, я выбежал вперед, ударил в ладони и закричал:

— Ура, Государь идет!

Так впервые я проявил патриотизм и верноподданнические чувства.

И была какая-то связь между изобретением церемониала при встрече с Государем и тем мальчиком на маленькой, немного бледной фотографии, который изображен склонившимся над книжкой. Мальчик с такими толстыми щеками, что они совсем сплющивают маленький нос и губы, с ровным пробором сбоку, прилизанный помадой, в русской рубашке, пояске, широких шароварах и сапожках с красной сафьяновой оборкой, сидит на высоком детском стуле, а перед ним открытая книга. Он точно читает. Я всегда знал, что это фотография с меня в годы нашей жизни еще в Петербурге. И она меня беспокоила. Почему с книжкой? — думал я несколькими годами позже. Я очень долго не умел читать. Говорили даже, что пора бы. Почти стыдно. А меня вон еще когда взяли да и сняли в виде мальчика с книжкой. Долго

вызывала волнение эта карточка, вселяя какую-то смутную оценку себя. Будто и неспроста это. Не просто фантазия матери. Что-то это значит. Недюжинность, что ли, какую-то. Мне было лет 7 или 8, когда я узнал, что г-жа Столыпина[1], урожденная княжна Горчакова, мать будущего премьер-министра Петра Столыпина и известного журналиста Александра, прозвала меня: мосье Тьер. А кто-то из родственников звал меня еще: Премудрый Соломошка.

Но я решительно ничего не знал о себе умного, никакого рассуждения или просто умного словца, — разве что, вот тогда, изобретение церемониала при встрече с Императором, и оттого событие в Летнем саду получило в моем сознании особое значение.

Казаки и горные стремнины

— Папа, посмотри, старик садится форейтором, а мальчик на козлы!

— Значит, старику больше нравится верхом, чем на козлах.

— А разве это можно, чтобы форейтором был не мальчик, а кучер был совсем без бороды?

Так ясно, очевидно тогда вспомнилось, что там далеко, в Жданях, когда мы ездили на шестерке, на козлах сидел важный кучер, и у него было много вожжей в руках, а уносом[1] правил мальчик; ноги доходили только до полбрюха лошади, а в руках была плетка. — Они казаки. Казаки любят сидеть на коне.

Казаки! Вот это какой народ. Я знаю, что мы едем на Кавказ через Кубанскую область, что деревня, где нам перепрягать лошадей, не просто деревня, а станица.

Романтизм казачества уже коснулся детской души и волновал. Теперь воочию. И что-то близкое ребячеству, понятное именно в этом возрасте, повеяло на сердце. Есть же, значит, такие люди, которые чувствуют как мы, дети. Вот старик, а поступает как ребенок, как поступил бы я. Конечно, предпочел бы ездить форейтором. Молодцы казаки. Вот это люди! И всегда на войне!

Меня сажают на козлы рядом с юношей, правившим лошадьми, но мне не совсем нравится. Во-первых, обидно за юношу. Все-таки нехорошо, что старик-отец, пользуясь отеческой властью, посадил его на совсем не почетные козлы. И потом непорядок. Когда я раньше сидел на козлах, никогда не было на них так просторно. Кучер занимал большое место, и оттого было уютнее. А теперь какие-то пустые козлы.

Так подумалось совсем мимоходом, а вот оказалось — на всю жизнь, хотя стольких бы можно было тогда же набраться впечатлений.

Мы проехали в Тифлис по знаменитой своей живописностью Военно-грузинской дороге.

Однако о ней — все стерлось.

---

[1] Первой парой лошадей при запряжке четверней. — *Прим. ред.*

Разве будто — хотя я в этом не совсем уверен — в память все-таки проникло одно место, где дорога вилась по урезу горы. С одной стороны высокая скала до самого неба, а с другой пропасть. И пропасть — выражение, которое закрепилось в сознании, как что<-то> — страшное, зловещее, от чего веет смертью. Пропасть, пропасть! Не скалы и не снеговые горы, Казбек — ведь тоже представление о чем-то знаменательном, а — пропасти стали неотъемлемым признаком этого необыкновенного Кавказа, через который лежит наш путь.

И вот — в одном месте, почему-то так случилось, что я посмотрел или мне сказали посмотреть вниз в пропасть. Она не поразила своей глубиной и совсем не показалась мне страшной, производящей мрачное впечатление. Там на самом дне бурлил, перескакивая через огромные камни, пенился и переливался поток.

— Терек!

Был ли это действительно Терек? Но до сих пор при слове «Терек» отчетливо встает именно этот образ. Иначе не могу его себе представить.

И, по-видимому, действительно запомнилось.

Сколько лет прошло до той поры, когда я в первый раз опять увидел горы? Только уже женатым, во время третьей заграничной поездки.

Когда мы втроем: Анна Митрофановна[2], мой друг Алеко Ону и я спускались на Рейн через Schwarzwald <Шварцвальд>, переночевав в San-Blasien <Санкт-Блазиен>, в одном месте как раз бурлил поток на дне пропасти, и мне вспомнилось: так ярко-ярко, что нечто подобное я когда-то давным-давно уже видел и тогда залюбовался… Может быть, действительно, из забытья встало детское, забытое и мимолетное впечатление, вошедшее в подсознание гораздо глубже, чем в явь.

И ни с какой другой поездкой в горной местности, по-видимому, не связан этот поток в глубине ущелья.

Мы ездили из Тифлиса летом в дачное место: Коджоры.

Если стоять в Тифлисе на площади против дворца спиной к той части города, которая на самой Куре, видна высокая гора, на середине которой белеет монастырь Св. Георгия. Вот на эту гору надо подыматься, чтобы на лошадях проехать в Коджоры. Все время дорога вьется, огибая скалы и беспрерывно — пропасти. Однако, чтобы там где-нибудь я увидел что-нибудь похожее, не помню. Напротив, как будто внимание привлекало совсем другое: скалы и простор горных видов. Надо было проехать и через туннель, только что тогда прорытый, и я знал, что рвали камни взрывами пороха. Интересно и немного жутко это было узнать. А по другую сторону дороги — такие широкие виды, далеко, далеко можно глядеть, и стелется какая-то обширная, открытая местность. Так ли это? Не стану проверять себя. Да и как все это должно было измениться за полстолетия.

Лучше записать яркие и настоящие, несомненные вспышки памяти.

На полдороги в Коджоры — духан. Так отчетливо узналось новое слово. Духан не трактир, не почтовая станция, не кабак. Духан — это особое место, где дают пить темно-желтое терпкое кахетинское вино, и вовсе не из бутылок и стаканов. Какая проза! Вино в бурдюке и точится из одной из ножек в железный круглый ковш. Приносит его грузин в остроконечной черной бараньей шапке и черном шелковом бешмете, опоясанном кожаным узким пояском с серебряной отделкой черненого серебра. Духан расположен на месте, где расширяется дорога и откуда открывается особенно живописный вид на долину. Дом это был или сакля? Хотелось, чтобы ни то ни другое, а пещера. Или сакля была приперта к скале?

Кизиловое дерево, джапары, белый ишак и замок Кероглы

Невольно перенесся именно в Коджоры.

В самом деле там первое пробуждение мысли. Коджоры — родное, заветное. Что не могу не оговорить, там — единственные совсем светлые, ничем не омраченные воспоминания детства.

Тифлис ничего не дал.

Ходили играть в Дворцовый сад, тенистый, обнесенный стенами, и там была маленькая горка, на которую было весело вбежать. Если не туда, то прогулка ограничивалась каким-то сквером. Это слово всего более подходит, потому что тенистых деревьев не было. Вероятно, только что разводили. Мы шли мимо больших цветочных клумб по просторным дорожкам.

К этому прибавлю разве то, что рассказывали, как мимо дворца на площади проходил караван верблюдов, и кто-то штатский, заторопившийся пересечь каравану дорогу, замешкался у переднего верблюда. Тому не понравилось, и он плюнул штатскому на цилиндр. Ужасно казалось смешно, и все симпатии, конечно, были на стороне верблюда.

— Отлично, так ему и надо, в цилиндре сунулся под караван! Цилиндр! Что может быть смешнее.

Вот — все.

Зато Коджоры! Сколько там произошло неизгладимого!

Прежде всего кизиловое дерево.

Оно стояло между дорогой и той низенькой дачкой, на которой мы прожили оба лета, что провели в Коджорах.

Очень легко было взобраться на расходящиеся ветки кизилового деревца, и сроднилась кора на них, физически, ощущениями знакомая, не головным образом, а руками и ногами. Свое. Точно человек, который приласкал. И ягоды на нем можно было рвать, забравшись на ветки, — красненькие с большой косточкой, немного терпкие и совсем особого, ни на что другое не похожего вкуса. Вкус стоял особенно родной. Совсем как морошка. Два родных вкуса, от которых бла-

гоухает память, там, на далеком юге, на чужом, никогда больше не виданном Кавказе, и на северной родине вкус северной ягоды, даже москвичам в свежем виде и мягкой, когда она поспеет, незнакомой. Впрочем, именно из-за кизила Кавказ — не чужой. И бывало, в киевском варенье, когда еще продавали во лубковых коробах, а не в банальных бумажных коробках, выудишь кизилину в сахаре и точно, правда, чем-то исполнится душа таким, затаенным, сердечностью.

Забравшись на кизиловое дерево, я, кажется, проводил неисчислимое количество часов.

С кизилового дерева я видел, как по дороге проскакивали мимо нас джапары. Маленькие, сухие, смуглые, в светлых черкесках и огромных папахах на затылок, они неслись на своих лошадях и иногда подымались во весь рост, и не то чтобы на своих коротких стременах, а на седло, мчались стоя, точно представление давали. А за плечами винтовки в косматых бурочных чехлах. Шашки, с кавказскими эфесами, глубоко вдвинутые в пестрые кожаные ножны, на узких ремнях, украшенных серебряной чеканкой, и спереди огромные, почти до колен, кинжалы. Слышались иногда и их непонятные картавые выкрики, и взмахивали джапары твердыми, как маленькие цепи, нагайками.

Я спросил, что такое эти джапары?

Ответ меня очень разочаровал:

— Это местная полиция!

Я думал — разбойники, или еще интереснее, не усмиренные еще черкесы. Тогда много говорили о Шамиле[3]. Почему-то — и, может быть, это русское свойство — влекло именно вот к этим нашим противникам. К ним были обращены симпатии. И из старших никто не говорил о местных жителях с озлоблением. Та военная среда, которая меня окружала, даже как будто и не чувствовала себя завоевателями, еще меньше высшей расой. Недавно в статьях о Лермонтове я постарался представить психологию мальчика, побывавшего, как и я, на Кавказе, и его неудержимое влечение хоть в мечтах пробраться туда, в заколдованный и романтический мир горцев позади нашего сторожевого охранения, в казавшийся еще более живописным неумиротворенный Кавказ. Страница о «Кавказском пленнике» мне удалась, в ней автобиографический вклад в понимание Лермонтова. Ведь и у него чего совсем нет, так это чувства завоевателя. Всюду, по-видимому, русские входили в новые земли с каким-то, может быть, и не удававшимся или просто невозможным намерением стать друзьями, приобщиться к местной жизни, не только не разрушать обычаев и вообще быт, но, напротив, в них войти.

Разве даже в Польше, несмотря на то, что туда посылали самое низкое по своему нравственному уровню чиновничество, да еще всячески обязанное по предписаниям свыше относиться с презрением к полякам и всему польскому, разве, спрашивается, и в Польше не происходило некоторое ополячение

русских, без того, однако, чтобы они стали взаправду поляками, забыв свою принадлежность к отечеству.

На Кавказе таким чувством какого-то стремления к экзотике, к местному, к чужому, национальному, такой любовью к Кавказу проникло и мое сознание, и это никак не шло в разрыве с тем, что я слышал от взрослых.

На том же дворе, что и мы в Коджорах, жила семья грузинских князей, которых фамилию я забыл. Одна из княжон, молодая девушка, часто возилась со мною. И мне нравилось, что она одета по-своему: маленькая, надвинутая на лоб, круглая шапочка черного бархата с блестящим крестиком и темный шелковый, короткий камзол с широкими рукавами, подобный тем, какие и до сих пор в Белграде можно видеть на пожилых сербках. От шапочки на спину, закрывая волосы, спускалось нечто вроде вуали. Девушка была чернобровая, с такими правильными чертами лица, как обыкновенно у хорошеньких грузинок, но эта бросавшаяся в глаза красота как-то удивительно запросто вязалась с полным отсутствием кокетства или манерности. Хорошая, добрая, простая девушка. И я совсем не был в нее влюблен, хотя, пожалуй, и в этом возрасте был способен загораться — страстью не хуже, чем Лермонтов, к той девушке в Пятигорске, которую он считал своей первой любовью.

Княжна научила меня грузинской песенке. Я удержал в памяти только начало:

Гульши варды
Ратмин да ме

Что это значит, не знаю. Вероятно, и слова-то эти грузину показались бы дикими, и только после некоторого напряжения он схватил бы, какие настоящие грузинские слова они обозначают. Но не все ли равно? Это все-таки доподлинный грузинский лепет, вот шестьдесят два года таящийся в глубинах русской души, шестьдесят лет как покинувшей раз навсегда Кавказ.

Кизиловое дерево, джапары, грузинская княжна! Разве мало этого для романтического воображения!

Присоединю к ним очень скромное и совсем неромантическое существо: белого ишака, которого мне приводили иногда поиграть. Брату — другого, серого, и не совсем маленького. Мой был больше, и оттого на него было труднее взобраться. Но как живое существо, как личность — кто осмелится поспорить с тем, что у животных есть личность? — только мой белый ишак еще одна связь с Кавказом. Да, мне кажется, что я помню его в лицо, как позднее стольких лошадей и собак. И именно в лицо, а вовсе не ради тех или иных отметин. Отметины можно совсем как бы и не знать; есть отметины: белоногая, но которая нога или обе? Узнаешь вовсе не поэтому, а совершенно так же, как и человека, — в лицо, по выражению лица.

Ишак был очень послушный, мне хочется сказать, очень добрый, и отлично понимал, что ему поручено поиграть с маленьким ребенком, и не надо ни упрямиться, ни наступать на ножку, ни кричать, а вообще быть приветливым.

Седло на спине ишака: восточное, с двумя одинаково высокими луками и обтянутое каким-то нежным, блестящим и скользким мехом. Вот это седлецо помню всем телом, ощущаю до сих пор совсем, как и кизиловое дерево.

С белым ишаком связано одно выдающееся событие.

Всей семьей и в сопровождении еще знакомых — были и другие дети, кроме меня с братом, — мы отправились пикником в Кероглы[4]. Кероглы — это развалины замка. Не Шамиля ли, о котором было столько толков, смутных и неясных, но захватывающих своей сказочностью? То говорили, что такая-то грузинская княжна ребенком была похищена Шамилем, то восхваляли его храбрость и военное коварство. Во всяком случае, при этом названии — Кероглы — воображение было настороже и сердце вздрагивало, как крышка на кипящем чайнике.

Все взрослые ехали верхом. Я в первый раз видел свою мать на лошади. Нам с Ваней были приведены наши ишаки, и мы сами ими управляли, принимая участие в общей кавалькаде. Дорога шла в горы, скорее даже тропинка, чем дорога, а по сторонам — скалы, ущелья, пропасти. Наконец мы выбрались на узкую долину к небольшому озерку, куда с высокой скалы тоненькой струей бил водопад. Озерко было прозрачно, как ручей. Тянуло к нему. Хотелось затеять какую-нибудь игру. Какую? Разве ручонки помыть? Купаться нечего было и думать. По тем временам и детям бы не позволили раздеться, а о купальных костюмах в России и понятия не имели. Разве на картинках в «Journal pour rire» <«Смеховой журнал»>[5] их видели. А выше, на верху горы, говорят, было еще одно озеро бездонной глубины. Оттуда протекал поток, сбросившийся тонкой струей в нижнее озеро. Замок или, вернее, развалины — вероятно, гораздо более древние, чем время Шамиля, — виднелся высоко-высоко над нами, и туда никто из всей кавалькады и не пытался подняться. Вероятно, только казалось близко, а на самом деле не так-то было просто туда вскарабкаться.

Поодаль от водопада, в тени скалы были разложены бурки и скатерти. Здесь был главный привал. И взрослые тут и провели все время. Сопровождавшие нас казаки, как будто присланные сюда заранее с провизией, готовили тут шашлыки на кинжалах. Именно не на вертелах, а на концах кинжалов. Сочные, жирные, бесформенные куски баранины дополняли собою дикость окружавшей природы.

Лучезарно это воспоминание. Никакая малейшая неприятность или неловкость не омрачила прогулки; точно приголубил, угостил и нарядился для нас в самый интересный свой наряд красавец из красавцев, только что начавший принимать на лоно свое нас, русских, обворожительный Кавказ.

А вот еще одно событие. Оно уже совсем объято романтическим очарованием.

Лесной царь Закавказья

Где-то около Коджор был лагерь, и там при Офицерском собрании — Ротонда, круглое здание, в котором давались вечера.

Мать и гувернантка, Ольга Павловна, обе молодые, моя мать высокая и очень стройная, красивая, а Ольга Павловна — хорошенькая брюнетка малороссийского типа, как-то раз порхали туда, взяв с собою и нас, обоих детей, брата и меня.

Вечером должны были устроить танцы, и помощник наместника, князь Дм. Святополк-Мирский[6], убедил мою мать остаться. Как быть с детьми? Ваня еще туда-сюда. Ему было восемь лет, а ведь мне много что пять. И вот состоялось решение, для меня самой первостепенной важности. Огромный урядник Кубанского казачьего войска, в черкеске, с кинжалом, верхом на коне должен был доставить меня в Коджоры. Меня посадили на переднюю луку великого казачьего седла. Уряднику такой возок не новинка, а беспокоиться о том, что поручение не будет исполнено в точности:

— Не извольте сомневаться.

Темень. Сидеть на мягкой подушке превосходно. Ловкая и привычная рука урядника сумеет поддержать в самой удобной позе. Может быть, место мне было предоставлено и на переднем перемете. Во всяком случае, грива была где-то далеко внизу. Едем не по дороге, а тропинками. Утесы. Из-за скал месяц озаряет плывущие по небу облака, и они клубятся, то белеют, то совсем темные, и переливаются они в самые волшебные очертания. Кажется, что они вот тут, сейчас над головой. Светляки роятся где-то по бокам, и тянется куда-то сухая огромная ветка. Сначала чернеет при лунном свете, там впереди, а сейчас вот близко-близко.

Таинствен, загадочен и жуток наш ночной путь. И кажется, так далеко, далеко и та Ротонда, где остались мать и Ольга Павловна с братом, а наша дача в Коджорах зачарована в какой-то незнаемой дали. Нет ли страшна, нет ли, напротив, конца бы не было этой поездке. Главное, что ползет по сторонам из мрака жуть, и преследует, и торопит; только сильная рука урядника — непроницаемая броня против всех страхов и опасностей; не выдаст, не выпустит. Держусь ручонками. Вот она. Робость безбоязн<енн>ая, и оттого она скорее ласкает, упоительно теребит сердце мальчика. Даже хотелось бы, чтобы стало страшнее. В самом деле, пусть бы там, где блестят светляки и как будто дремучий, нахмурившийся, кто-то не очень злой — зачем? — а так: чужой и грозящий высунулся бы, и вынес бы наш хоть из опасности…

Знал ли я тогда гетевскую балладу? Без нее, пожалуй, не затрепетало бы сознание. Во всяком случае, когда гораздо позже чей-нибудь сочный бас заканчивал песню: «В руках его мертвый ребенок лежал», — мне всегда неизбежно — не отогнать — вспоминалась поездка на передней луке казачьего седла, тогда, ночью из лагеря в Коджоры.

И никогда не нравился конец баллады. Зачем? Ведь я не умер? Совсем ни к чему было заставлять ребенка за эту чарующую своей необычностью и загадочной жутью поездку поплатиться жизнью. Устал, конечно, мальчик, и от волнения, и от напряженности, и, всего вероятнее, заснул еще на седле. Наверно, уложить спать в этот вечер не было ни малейшей возни. А тут смерть? Кто этому поверит? Пугаться понапрасну нет совсем никакой надобности. Просто не знал Гете, чем закончить.

И теперь, когда через шестьдесят лет, в старости, в своем профессорском кабинете, специалист по истории литературы и теории поэтического творчества, я записываю этот пережитый эпизод, или тогда еще, или попозже разукрашенный поэтической выдумкой, я совершенно уверен в том, что именно такова была моя детская оценка гетевского «Лесного царя», а невольно, как на стержень, нанизываю на нее свою теперешнюю, ученую. Они слились. Они стали неотделимы. Их не оторвать одну от другой, потому что спаяло их то, что бесконечно поэтичнее самой высшей поэзии, — сама поэзия жизни, и восприятие стало творческим.

А разве я не был тогда не умевшим читать мальчиком с книжкой?

Не надо возить гетевской баллады. Erlkönig <Лесной царь> вовсе не такой страшный. А Жуковский его еще назвал Лесным Царем! Правда, бродил по лесу. Это было в XII в., и пели о нем французские жонглеры. Но ведь это в наказание: за грехи он мчался в вечной скачке, и так бы до конца мира. Однако там же, во Франции, это не помешало ему, названному Herlequin <Арлекин>, что ни на есть по-человечески влюбиться в фею Морг, которой он послал со своим слугой, Крокезосом, поэтическое изъявление своих нежных чувств. Так уверяет Адам де ла Галь в «Jeu de la Feuillée» <«Лиственная игра»>, а если Крокезос величает его королем, может быть, он и преувеличивает. Правда, Данте сбросил его в Преисподнюю. И, ставши Allechino <Арлекин>, он сделался одним из самых отвратительных чертей, злым, ненасытным в злобе своей шутом. Только все-таки выскочил из Ада во время религиозных действ, выбежал в публику из страшной пасти адовой и уже добродушнейшим образом пугает детей и женщин, а в конце концов, надолго, до наших дней, превратился в пестрого Арлекина. Напрасно Жуковский возвел его в Лесные Цари, и мальчик с книжкой, занесший его в Закавказье, был прав, что в царстве этом увидел бутафорию, не испугался, напротив, хотел, чтобы побольше он зачаровал самой совершенной поэтической радости жутью дразнящей.

Родители и знакомые

На Кавказе туманом затянуло того мальчика с книгой, что жил две зимы в Петербурге. Он ушел в далекое прошлое. Зато с этого момента на самом деле началось пробуждение сознания, точнее, с козел коляски, везшей нас на юг по Кубанской области. И вот так ярко встают в памяти все, кто окружал меня, не только родители, но и их знакомые. Все новое я стал воспринимать особенно легко и свежо, как ни-

когда позже, ни один урок в годы ученья. Я запоминаю страшно много и отчетливо. С головокружительной поспешностью я узнаю прежде всего свою семью и одновременно весь круг их знакомых, т. е. всю ту среду, к которой они принадлежали.

Мой отец Василий Иванович[7] — дед был Иван Васильич[8], как теперь во свою очередь мой старший брат. Отец — майор. Он только что окончил Военно-юридическую академию и теперь назначен в Тифлис военным судьей. Ему 30 лет. Он молодой майор. Чины он получил быстро, потому что служил в гвардии. И вот он назначен не прокурором и не защитником, а сразу судьей. Он важный. У защитников и прокуроров одна полоска на погонах и эполеты не штаб-офицерские. Однако вообще в Военном суде служить нехорошо. Мне казалось, что какое-то таинственное не то несчастье, не то внешнее соображение заставило моего отца пойти по этой карьере. Люди общества — а я уже знаю, что такое «люди общества», — бывают строевыми гвардейскими офицерами, командирами полков и адъютантами, а отнюдь не военными судьями. Мать моя молода и красива. Она светская женщина. И очень скоро, я ясно помню, что еще на Кавказе, я узнал, что отец моей матери Петр Николаевич Дирин[9] потерял все свое состояние, что он чудак, и мать, Ольга Петровна[10], воспитывалась в доме деда по матери Сергея Александровича Танеева[11]. Это обстоятельство было очень важно, потому что с ним было связано и самое мое появление на свет Божий. Мать бедной барышней, бесприданницей, вышла замуж за моего отца, тоже человека небогатого; однако кое-какие средства у него были. Невероятно вспыльчивая — это диринское свойство, — мать моя часто по утрам взволнованно говорила:

— Je n'ai positivement rien à mettre <Мне абсолютно нечего надеть>.

И я верил. Да, мы бедны, и вот у матери нет туалетов. Иногда только брало сомнение. Любимой жалобой в сердцах моей матери было заявление, что она должна ходить без сапог, а я знал, сколько пар элегантных ботинок образцового сафьяна стояло наготове в ее спальне.

Не знаю, так ли это бывает во всех семьях — впрочем, даже наверно не во всех, — но в нашей было так: мы с братом считали себя только Аничковыми; высшим оскорблением было сказать одному из нас: ты похож на Дирина или на Танеева. Я бесконечно был горд, что наружностью, как маленький и толстый, пошел в отца, а вот брат худой и длинный, значит, он в Дириных, но у него черные брови — признак Аничковых, а у меня нет бровей почти совсем, и это меня сокрушало всю жизнь. Аничковы — это источник всех совершенств, предмет высшей гордости, хотя почему, совершенно неизвестно. При таких обстоятельствах мать казалась какой-то пришлой. Отец мой страстно любил нашу мать, и мы любовались его отношением к ней, внутренно его одобряли, но все-таки мать из враждебного, хотя и родственного клана Дирино-Танеевых. И мать как бы поддерживала нас в таком состоянии первобытной вражды кланов. Мы всегда слышали от нее — и, может быть, не следовало бы, — что она вышла за отца моего не по любви. Мать говорила,

что когда ее отец разорился, она поняла, что она бесприданница. И вот в семнадцать лет явился жених, молодой офицер 1-го гвардейского стрелкового батальона, не очень блестяще. Но он был помещик. У его отца был еще очень большой дом в Петербурге на Садовой[12], у самого Юсупова сада. Будто бы гувернантка матери, немка Frau Mater <госпожа Матер>, говорила ей:

— Du sollest Guvernante verden <Вы должны стать гувернанткой>, — и это убедило мою мать принять предложение.

Тогда же, кажется, за год до матери, вышла уж замуж ее младшая сестра, тетя Адя — Александра Петровна[13]. Но она гораздо удачнее, за Ивана Евграфовича Новосильцова[14], бывшего лицеиста, из очень богатой московской семьи, и они с мужем уехали в Херсонскую губернию, где дядя Ваня стал управлять — и, скоро увидим, очень неудачно — большим имением в 2000 десятин чернозему. Тетя Адя почему-то считалась гораздо красивее матери, хотя была маленького роста. И сама себя она считала чуть не красавицей, а мать, теперь бы сказал, без особых оснований осталась о себе скромного мнения. Но все-таки уже очень, по-видимому, в родне принято было высоко ставить Ивана Евграфовича Новосильцова по сравнению с моим отцом.

О других наших родственниках я в то время ничего не знал, кроме очень смутных сведений о том, что у моего отца было несколько сестер, и что они были против брака моего отца, и до сих пор в плохих отношениях с моей матерью, отчего к ним было отношение скорее враждебное, особенно к двум младшим. И таким оно осталось навсегда.

Как все «люди общества», мои родители нашли на Кавказе знакомых и отчасти родственников, занимавших видное положение.

Прежде всего помощник наместника, вел<икого> кн<язя> Михаила Николаевича[15], кн<язь> Дм<итрий> Святополк-Мирский. Его брат Николай Ив<анович>[16] был женат на двоюродной сестре моей матери Клеопатре Михайловне Ханыковой[17], откуда большое состояние этой ветви Мирских. Т<аким> обр<азом> помощник наместника — он уже тогда был генерал-адъютантом — оказывался некоторым образом в свойстве. Этого старого генерала я хорошо запомнил не только из-за того, что он тогда отправил меня с согласия матери домой, в Коджоры, с казаком, а еще по одной причине, которая нас с братом очень занимала. Часто, гуляя в саду или в сквере, о котором я упомянул, мы встречали Мирского, и он гулял с нами. Говорили, что он ухаживал за нашей гувернанткой. Намерения его едва ли были особенно платонические, но обошлось без малейшего романа; зато мы с братом слегка гордились успехом Ольги Павловны. Раз как-то вместе с отцом появился и его сын, камер-паж. Это — будущий министр и создатель т<ак> наз<ываемых> дней свободы[1]. Только тогда, единственный раз, я его видел.

---

[1] Период ослабления цензурного влияния после масштабных революционных событий второй половины 1905 г. и до новых административных ограничений свободы печати в 1907 г. — *Прим. ред.*

Помощником наместника по гражданской части был в то время барон Николаи[18], будущий министр народного просвещения, рыжий, с носом крючком и в противоположность Мирскому совершенно не представительный. У него была дочь, тоже рыжая, не очень-то коротенькая, полная барышня на выданье. Она была невестой кн<язя> Чавчавадзе[19], кажется, будущего губернатора в Тифлисе. О нем рассказывали анекдот, который нам с братом страшно нравился. Будто ехал он как-то в коляске с будущим тестем, куда-то по службе, далеко. И всю дорогу только задремлет барон Николаи, Чавчавадзе начинает напевать:

C'est l'Espagne qui nous donne
De jolies femmes et du bon vin.
<Это нам Испания дает
Красивых женщин и вкусное вино.>

Несколько раз его удерживал Николаи, но не брало. Проедут сколько-нибудь верст, и опять старика клонит ко сну… Не тут-то было:

C'est l'Espagne qui nous donne
De jolies femmes et du bon vin.

Смутно помнится, что этот Чавчавадзе забежал к маме в Коджоры, но были ли мои родители знакомы домами с Николаи, сказать не могу. Между тем тут тоже, правда, совсем отдаленное свойство. Сестра Николаи была замужем за генералом Сутгофом[20], отцом Александры Александровны Аничковой[21], значит, тещей Ивана Дмитриевича Аничкова[22], владельца Зализенья, двоюродного брата моего отца. О нем часто буду говорить. Но за пребывание на Кавказе мы едва-едва кое-что слышали о родственниках. Они казались так далеко.

Оба адъютанта Михаила Николаевича, особенно Дмитрий Филозофов[23], были совсем свои люди в нашем доме.

Дм<итрий> Филозофов, бывший кавалергард, был двоюродный или троюродный брат отца. Позднее я слышал, что он стал директором театра в Тифлисе и будто ему обязана своей артистической карьерой известная актриса Александровского театра, Абарикова. Другой адъютант — Карл Петрович Баранов[24], первоначально петергофский улан, брат Петра Петровича[25], впоследствии генерал-адъютанта, женатого на Ольге Валериановне Бибиковой[26], по первому браку Борщовой. Карлуша Баранов — так тогда его обыкновенно звали, — и Дмитрий Филозофов жили вместе, и их квартира, где я будто бы раз был с отцом, казалась очень интересной и тем, что они были холостые, и потому, что она была на двоих. Холостые люди и холостяцкие квартиры всегда привлекают воображение детей: необычное и будто вне привычной строгости, что-то такое свободное

и тем притягательное. Да еще и устроено иначе; нет гостиной, а только кабинеты и спальни.

Родством или, вернее, свойством с нами считался также Михаил Федорович Ореус[27], красивый и нарядный конно-артиллерийский полковник, близкий родственник Ив<ана> Ив<анович> Ореуса[28], женатого на тете Лизе[29]. Он тогда разводил жену крупного судейского Карпенко и вскоре на ней женился. Это обстоятельство нам казалось чем-то веселым. Смешно было: как это, взял и предложил даме — да она нам еще казалась совсем не красивой: слишком полная и с очень провинциальными манерами, — чтобы она от мужа перешла к нему. И говорили, что они все втроем, муж, его жена и ее жених, отправились в Петербург, остановились в одной гостинице и исхлопотали себе такое, так сказать, changeons de cavaliers <смену гонщиков>. Всего забавнее нам представлялась эта поездка. Вероятно, рассказывали ее в комическом духе. Ни тени трагедии. А самую неприглядную роль играл тут будто бы именно муж. Мы, дети, невольно связывали эти пересуды с впечатлением от сына будущей г<оспо>жи Ореус, которого к нам приводили играть. Его одевали в курточку, коротенькие штанишки, и, о ужас, он ходил в носочках, т. е. с голыми икрами. Смотрели мы с братом на эти голые ножки и недоумевали. Еще девчонка — куда ни шло, но мальчик! Стыдно ведь, неприлично и беспокоило. Если бы мы сумели подобрать определение нашим чувствам, оно бы значило — разврат.

Зато какое очарование, когда нас водили к самым близким друзьям нашего дома Оголиным. У них была воспитанница Нина, княжна Цулукидзе[30]. Хорошенькая, стройная, приветливая, донельзя благовоспитанная, вообще какая-то образцовая и милая! Она была, вероятно, на год старше брата. С нею, как вообще с Оголиными, знакомство никогда не прервалось, и когда уже в Петербурге Нина выходила за своего первого и неудачного мужа Коваленского[31], мой брат, тогда студент, был у нее шафером. Вторым браком Нина была замужем за бар<оном> Александром Феликсовичем Мейендорфом[32], членом Думы, но скоро умерла. Вот самое прелестное существо, сохранившееся в памяти с детства. Оно и чисто, и прозрачно, и благоуханно, и я никогда не мог понять, почему так вышло, что за время ее замужества за Мейендорфом мы с женой с ней совсем не виделись, хотя Мейендорф был наш очень близкий знакомый.

Николай Степанович Оголин[33] был в Тифлисе важным судейским, а в Петербурге не сенатором ли; но позже вышел в отставку, и они с его болезненной, но какой-то из ряду вон привлекательной своими душевными качествами женой поселились в Женеве. Они не оставили по себе никакого потомства и никогда никто не упомянет о том, что жили когда-то такие хорошие муж с женой, и вот я ничего не могу рассказать о них, кроме того теплого чувства к ним, которое, если бы они узнали об этом, их, вероятно, очень бы удивило. Отчего исчезают

навсегда целые полчища превосходных людей только потому, что не проявились, чего-то хотя бы плохого не наделали. Нет-нет, вовсе не «visser senza infamia e senza lodo» <жили без позора и без похвалы>. Но они *только жили*, но хвалили их, ценили, любили их, и они любили, а ведь это очень важно, потому что без таких людей жизнь была бы совершенно нестерпима. Царская, прежняя Россия греховная и несуразная! Но понять ее нельзя, не приняв в расчет вот таких людей, только живших, и живших хорошо. Историю пишут обычно с предпосылкой, что одни были мерзавцы, а другие умело или неумело боролись с мерзостью. Но ведь и эти боролись, только, правда, не во имя и для будущего, а только в настоящем, среди окружающих, сглаживая, чаруя, успокаивая.

Вроде этого мне хочется отозваться еще об одном из близких знакомых моих родителей, хотя тоже рассказать о нем мне нечего.

Это полковник Ридигер[34], наш земляк. Некрасивый, с нависшими тяжелыми рыжими усами, толстый и неуклюжий, одетый по-армейски, не светский, он был холост и оттого тем более приятельские с ним отношения не имели никакого общего с обычным в той среде знакомством. Он командовал одним из знаменитых молодецких кавказских пехотных полков. Не эриванским ли? В его светлых глазах и улыбке, сквозь несомненную строгость и выдержку, как бы струилось то неопределенное, что нельзя назвать добротой, а чему нет названия, кроме разве симпатичности, что, впрочем, означает совершенно другое. Странно, мы ведь, при малейшей чуткости, отличаем хороших людей от плохих. С первыми мы увереннее, мы к ним подходим ближе; главное, мы им доверяем, а с другими всегда настороже. Надо быть очень недалеким или слишком погруженным в себя, чтобы не уметь разобрать этих двух категорий людей. А понятия, слова, выражения подходящего не существует.

Уж раз пришлось к слову. Я много составил контрактов и обыкновенно удачно. В контракте все должно быть оговорено и предвидены все возможности для обоих сторон не пользовать его в свою пользу; иначе говоря, все выгоды и невыгоды обусловлены, и раз контракт подписан, не о чем больше разговаривать. Но все-таки остается еще одно обстоятельство, которое надо именно иметь в виду. Самый кропотливо продуманный уговор, где, кому, что, при каких обстоятельствах, все предусмотрено, — желательно заключить лишь с известного рода лицами. И я вовсе не вламываюсь в открытые двери. Это не значит, что с мошенниками никакого вообще сладу нет. Отнюдь. И помимо мошенников есть категория деловой среды, которую надо избегать. Практически: большие, уважающие себя фирмы в силу деловой этики предпочтительны перед мелкими. Их этика соответствует порядочности, а вот то слово, какое можно было бы употребить, если бы оно не обозначало лишь минимальную только законную требовательность к хорошим людям в частной, обыденной, а не деловой среде.

Дидрихс[35] был нашим земляком по Боровицкому уезду, и с его братом мне случится встретиться. Отсюда приятельство. Значит, был ли он «человеком общества» или нет, не имеет значения.

Вот, стало быть, среда, какую я узнал, когда проснулось сознание.

Мои родители бывали при дворе. Отец получал приглашения и запросто, в Боржом, где вел<икий> кн<язь> Михаил Николаевич проводил лето. И гораздо позднее, в Петербурге, я слышал о том, что отец завтракал у бывшего наместника на Кавказе. В Тифлисе на все придворные вечера, разумеется, выезжала и мать. И было обстоятельство, по которому это несерьезное, но в жизни играющее огромную роль положение в свете загнездилось во мне на всю жизнь. Оно связано со службой отца в Военном суде. Отсюда отрицательное отношение к его судейству. Дома говорили, что председатель суда, генерал Галлер[36], недоволен тем, что мои родители при дворе наместника на ином счету, чем не только другие члены суда, но и он сам.

Однако из товарищей по службе отца двух самых образованных военных юристов — Бабста[37], брата известного дореформенного экономиста, и Тимашева[38] — я часто видел у нас в доме, и они считались друзьями.

***

Написал, и берет сомнение: надо ли было говорить о светскости моих родителей?

Приличие требует разве лишь очень вскользь дать понять: мол, сам собою разумеется и т. д. Или даже снаивничать: ах, положение в свете? Да неужели? Ну да, но разве можно — серьезно о таких пустяках? Однако прежнюю Россию, ту, что рухнула раз навсегда и, может быть, уже совсем позабыта, ее нельзя понять без оттенков, характерных черт, слоевого состава всех сословий, такого пестрого, своеобразного.

Ну а меня самого?..

Приезд Государя

Эти годы — 70-й и 71-й — не были ли самыми счастливыми в царствовании Александра II.

В 60-х шла борьба и ломка, и бороться приходилось «новым людям», т. е. сотрудникам царя, на два фронта: крепостники и старая николаевская бюрократия, а тут «Колокол»[39], студенческие брожения, Польское восстание[40], крестьянские беспорядки, покушения, политические процессы, только что — требования Петербургского и Черниговского земств, а еще недавно и дворянское из самой Москвы… Но все улеглось. Заканчивалось десятилетие полных успехом «великих реформ». А помощь, оказанная во время Франко-прусской войны[41] Германии, повлекшая за собой новые и все горшие и уже непоправимые бедствия, тогда раз

навсегда развязывала руки на Черном море, т. к. дала возможность отвергнуть соблюдение позорного мира 56-го года[42].

Лишь годом позже, в 72-м году, самарский голод, толки о неудаче крестьянской реформы, новые брожения и новые трудности и внутри России, и во внешней политике.

Во всяком случае, приезд Государя в Тифлис не мог не носить светлый, почти радостный характер. Не мрачным завоевателем является Царь. Ни о какой опасности для него лично, ни о каких мерах подавления какого-либо недовольства не могло быть и речи. И никогда и позже ни о чем подобном я не слыхал и не вычитал. Поистине прибыл в столицу Закавказья Белый Царь, который только что дал населению либеральные реформы, освобождение крестьян, гласный суд, цивилизацию. Умиротворили Кавказ не прежние николаевские войска, набранные из рекрутчины, палочные, доблесть коих заставляла забывать весь ужас тогдашней службы, а может быть, и достигалась ее сглаживанием на передовых позициях. Теперь самая форма «милютинских войск»[43]: прежде всего сниженные с разрезом, освободившие горло, удобные воротники и мягкие кепи, заменившие тяжелые кивера, свидетельствовали о еще молодом, неизжитом либерализме. Подбородки все царствование Александра II оставались пробритыми, но бакенбарды и подусники, мягко спускавшиеся от пробора волосы, вместо прежних коков, производили впечатление непринужденности. Вдобавок вне строя на парадной форме в пехоте — полусабли в кованых ножнах, носившиеся как шпаги, тупые, только для вида, а отпущенные сабли в мирное время были даже запрещены, не говоря уже о ношении заряженных револьверов. Точно взаправду какая-то идиллия. И никогда больше не повторилась!

До нас, детей, дошел только один слух, омрачивший приезд Государя, и говорили, что его самого это сильно огорчило.

По Военно-грузинской дороге Государя сопровождал почетный караул пехотного Гурийского полка[44]. Пробираясь через ущелья и тропинки, через горы, они должны были не отставать от коляски, беря напрямик, каждый раз извивалась дорога. Полк это был особый. Долго ли просуществовала его оригинальная форма — не знаю, но тогда она состояла из только облегавшей тело до талии восточной куртки, похожей на то, что носят до сих пор сербы, таких же широких поясов и длинных штан<ов> на застежках от колена до щиколотки. На ногах заостренные чевяки. Головной убор состоял из малинового башлыка, обвязанного вокруг головы, словно чалма. Стрелки, горцы, должны были молодецки щегольнуть своей особой удалью. Но вот, увы, один гуриец на глазах Государя сорвался в пропасть…

В чем состоял обязательный в таких случаях парад, на площади перед дворцом, не помню. Остался только пустой эпизод: Ридигер, верхом, перед своим полком, отсалютовал нам саблей. Какой восторг для нас, мальчиков!

Зато вот интересная подробность. Ясно вижу на уже опустевшей или еще не заполненной войсками площади грузинских князей.

Нигде на свете ничего подобного нельзя было уже больше увидеть. Кусочек далекой сгинувшей старины.

Все на лихих кабардинских конях. Седловка восточная, своя, особая. Низкие седла под широкими, покрывавшими всю спину лошади разноцветными чепраками. Только маленькая передняя лука в виде круглого деревянного торчка. Короткие путлища. Модные небольшие стремена с тяжелым подвесом, чтоб не болталось стремя. Сами князья в бархатных камзолах с закинутыми за плечи рукавами и в ярких, часто желтых, шелковых бешметах. Широкие шальвары спускались на цветные сапоги с высоким, узким, как древесная шишка, задорным каблуком. Кривые восточные сабли, кинжалы и ружья — все блестит богатой серебряной, а то и золотой чеканкой. На головах остроконечные мерлушковые папахи, а на руке тоже цветная нагайка. Приездка та же, что и у казаков и горцев. Уздечка и высоко поднятая голова лошади, не давая ей собраться, как при европейской езде, взятой у арабов.

Но что особенно поразило тогда русских, о чем много говорили и оттого это дошло до нас, детей, это появление за каждым князем его дружины в десять, пятнадцать коней и в том же туземном, блестящем снаряжении. Ведь куда, в какую глубокую древность канул наш русский феодализм. Да еще и принято было думать, будто и не было никогда у нас ничего подобного. А тут — вот он. Он еще налицо, чего, может быть, и не подозревали те, кто не так хорошо еще осмотрелся на Кавказе. Грузинские князья — феодальные владельцы спустились с гор на встречу Белому Царю и привели с собой еще недавний оплот своей власти, хотя ведь разрушил ее либеральный русский Белый Царь, вводивший европейский порядок, едва-едва на первых порах эпохи реформ мирившийся вообще с сословным началом. Что это было? Последнее прости? Наивный почет Царю? Почтивший сердца выезд напоказ: «Вот мы и наш народ приветствуем тебя, Белый русский Царь. Алла верди твоему Императорскому величеству!»

Говорили еще, что потом, на выходе одному важному, старому грузинскому князю объяснили, что при рукопожатии с Государем он должен поцеловать его в плечо, а великой княжне поцеловать руку. Но князь, никогда не покидавший Кавказа, забылся. Государю приложился к руке, а великой княжне нанес сочный поцелуй в обнаженное плечо. Ведь рука была в перчатке.

После парада, когда мы вернулись домой, под наши окна — квартира была в высоком rez de chaussée <первом этаже> — подъехал Ореус. Он был, конечно,

в полной форме и на коне. Войти не захотел. Вероятно, торопился отвести свою батарею. Но согласился выпить стакан чаю; бросил поводья, и лошадь стала, не шевелясь и опустив голову. Он держал одной рукой блюдечко, а другой стакан, щеголяя объездкой лошади.

Мы с братом были в восторге.

Назад на север

Через два года отца перевели в Вильну, и мы пустились в путь.

Ехали сначала по только что законченной железной дороге на Поти. Нам отвели чистенький новый вагон третьего класса. Других, очевидно, не было. Всегда весело путешествовать по только что отстроенным железным дорогам. Точно торжество. И все еще по-домашнему. С нами ехал генерал из армян, которого я после никогда не видел. Он впоследствии чем-то важным командовал на Дальнем Востоке. Его прозвище было генерал Кишмиш[45].

На одной из станций он угощал виноградом. Принесли огромную гроздь, которую как-то подвесили под потолком, и можно было срывать ягоды, сидя на скамейке. Врезалось. Ведь такую ветвь несут показать своим единоверным посланные в Обетованную землю «соглядатаи» на картинке из книжки по Закону Божию. Обетованную землю покидали мы навсегда, случайные пришлецы в благословенный край.

В Поти я впервые увидел море. Говорили, что Черное море бурное. И в самом деле, оно неугомонно било своими пенящимися волнами, ударявшими о набережную. Но оно не показалось мне страшным. Новая незнаемая стихия, беспокойная, тревожащая воображение, могучая, будто и жуткая — так, мнится мне, я его воспринял, и весело было проходить по сходням на пароход, разумеется, еще колесный.

Мы шли на Керчь и там пересели на другой пароход. Один из них был побольше, другой совсем маленький, с тесной, набитой пассажирами кают-компанией. И не могу отделаться от мысли, что прошли мы и по Азовскому морю, и о нем говорили свысока, мол, маленькое, не то что Черное, так, вроде озера.

Может быть, оттого сгладилось впечатление от этого первого перехода по морю, что занят я тогда был, по-видимому, совсем другим.

Именно в маленькой тесной кают-компании, пока мы плыли по морю, я испытал свой первый, т<ак> ск<азать>, общественный успех: забавил публику. Старшие останавливали, но не бранили. В чем дело? Перед самым отъездом из Тифлиса нас с братом в первый раз взяли в театр. Мне не понравился театральный зал: темный, невзрачный, словно колодец, куда смотришь сверху. Очевидно, как и должно было быть, мы сидели в ложе. Зато на сцене! Давали оперетку «Чайный Цветок»[46]. Всего поглотило, запомнились и лица, и сюжет. Я с ними жил, любил

и ненавидел. Я находил их смешными, и интересными, и особенными, и трогательными. Ну, разумеется, пылал страстью или, вернее, вчуже хотел во всех перипетиях помочь и угодить примадонне, т. е. Чайному Цветку. Я издевался над толстым китайцем, содержателем кофейни, и радовался, что он глуп и некрасив в своей короткой куртке и белых мягких сапожках, а его длинная коса, выходившая прямо из лысого черепа, ну что же это за прелесть. Его звали Сам-молочай. Такой же смешной и глупый, но уже враждебный, вызывавший как бы полнейшее презрение, был другой, худощавый, китаец. Он был шпион. Про него говорили на сцене: полицейский Крючок, и это позорное прозвище стало на очень долго самым уничижительным, какое мы с братом могли себе представить. Полицейский Крючок — какая гадость! Жаль, что видел «Гейшу». Она, наверно, вытеснила из моего сознания эту очаровательнейшую из всех опереток — так до сих пор чувствую — «Чайный Цветок». Оттого я, наверно, не могу перечислить других действующих лиц.

Сколько стишков я запомнил, и вот их-то я без удержу пел, пока мы плыли по морю, развлекая пассажиров, пел, как мне полагается, фальшиво, но ведь мне едва минуло шесть лет.

Самое острое место не испарилось. Кто-то напевал: «Вот столица, черт возьми!» Вероятно, это не совсем-то дозволенное для маленького мальчика «черт возьми!» было особенно привлекательно. А сколько в ней задора и как много сказано в немногих словах! Столица! Яркое, захватывающее впечатление не только от большого города, а от нее самой, таинственно величавой столицы. Но сейчас же некоторая ирония вовсе не смирившегося перед ее огромностью и важностью сознания, и тогда вырывается это веселое и совсем не почтительное: черт возьми. И я уверен, что ничего не преувеличил. Так, именно так воззрел во мне плод первой художественной радости.

А море только вторило вдали, чужое, не сумевшее захватить все существо.

И тут ставлю точку, потому что о дальнейшей нашей длинной дороге ничего не упомнил. Разве что некоторым образом спутницу нашего путешествия, шляпную коробку с каучуковым белым вместилищем и служившую для совершенно других целей, чем сохранение в неприкосновенности чьего-нибудь цилиндра.

<Конец 1-й тетради>
25-е июля 1916 г. Заречье — Говезна.

Продолжено в Скоплье <Скопье>
весною 1929 г.

Новосильцовы

Возвращаясь с Кавказа, мы заехали к нашим ближайшим родственникам, Новосильцовым, в их имение Пущино, верстах в четырех от Серпухова.

Это единственный раз, что я видел богатую подмосковную усадьбу.

Семья Новосильцовых жила тогда — все вместе: старик Евграф Иванович[47], в кресле, разбитый параличом, его жена Наталия Ивановна[48], урожденная Вырубова, дочь, уже престарелая дева, Елизавета Евграфовна[49], и наконец сын, Иван Евграфович, женатый на родной сестре матери, Александре Петровне. У них тогда как будто бы было пятеро детей, а после прибавилось еще трое. Старшие — Сережа, на полгода моложе меня, и Наташа на два года. Затем совсем маленькие погодки: Саша, Кики, т. е. Екатерина, и Юрий, которого звали Гого[50]; но, может быть, как раз этих двух последних еще и не было на свете; во всяком случае, тот или та из них, кто уже родился, был в пеленках.

Старик Евграф Иванович — страшный и знаменитый. Говорили, что он декабрист. Во время восстания в 1825 году был уже полковником колонновожатых, т. е. Генерального штаба. Он уцелел, но, по-видимому, карьера его тогда же прервалась. Для нас, детей, эти слова — декабрист и полковник колонновожатых, — окруженные ореолом, так как было внушено уважать декабристов, как-то сочетались с его крутым нравом. Смуглый — признак Новосильцовых, с непоседевшими черными усами вниз и с пробритым подбородком, с выразительными черными, как угли, глазами, он казался нелюдью, пугалом, а мы еще слышали, что он не переносит нашу тетю Адю и будто раз запустил в нее костылем. Он с трудом говорил и для наших двоюродных сестер и братьев не знал другого выражения, как бесенята. Вероятно, оттого тетя Адя с детьми жила внизу, и меня только раз водили в парадные комнаты наверх. Только в тот вечер я видел старика. Он возглавлял длинный обеденный стол, вокруг которого сидело не менее двадцати человек, своих и гостей, а мы с матерью на противоположном конце от Евграфа Ивановича.

Наталья Ивановна была безответная и тихая с признаками очень правильных черт лица, но уже тогда сгорбившаяся и глубокая старуха. Она ходила в платьях с пелеринами и воланами, напоминавших 30-е годы, и волосы были зачесаны густыми буклями, закрывавшими уши, а сзади возвышалась высокая прическа с гребнем. Она была в противоположность мужу совсем белая. Жила она неразлучно с дочерью, высокой, некрасивой, сутулой и с большими, болезненно выпученными глазами. Обе, по-видимому, были забитые грозным стариком существа. Но Елизавета Евграфовна, как мы увидим позднее, оказалась очень энергичным и хорошим человеком. Она была самая образованная в этом доме, говорила не только, как все остальные, по-французски и по-немецки, но и на прекрасном английском языке.

Не знаю, насколько хозяйкой, но, во всяком случае, самым самостоятельным и живым, знающим себе цену лицом в доме была тетя Адя, маленькая хорошенькая женщина с правильным профилем и немного тяжелыми — тоже диринская особенность, — но не портившими ее щеками, маленьким капризным ротиком, а характером еще вдвое более вспыльчивым, чем у моей матери. И это в Дириных. В Дириных же и то, что она была заядлая лошадница. И понимала в лошадях, и сама ими правила не хуже любого самого отменного кучера. Разумеется, также и наездница. С особым почтением показывали нам на господской конюшне ее чистокровную лошадь. Детьми она занималась без позы, без особого старанья, но и без того пренебрежения, какое слишком часто, затвердив то, что было в XVIII в., приписывалось светским женщинам. Но дети были придача к ней; не она для них, и не они для нее; как все остальное, что ее касалось, должно было быть красиво, нарядно, вообще, не как-нибудь, а как следует, так и дети. Она была московская светская дама и этим гордилась: Новосильцова. Оттого считала, что за время своего замужества научилась не так, как у вас, мол, там, в Петербурге, говорят по-русски, а как в Москве Первопрестольной. Я, однако, никогда не замечал, чем отличался ее говор от нашего. Муж и дети [обычно], правда, выдавали себя и растянутостью речи и некоторым, однако, вовсе не преувеличенным характерным аканьем, и еще кое-какими выражениями, например: встрел вместо встретил.

Из своих детей всех больше любила тетя Адя старшего, Сережу.

Муж в ней души не чаял, и этим на нет сводилась неприязнь ее свекра. А если главным украшением и оттого главным лицом в Пущине была тетя Адя, то полным хозяином, все поставившим и организовавшим по-своему, был Иван Евграфович, для нас, детей — и как это могло быть иначе, среди московских родственников, — дядя Ваня.

Не знаю, можно ли себе вообразить более характерного московского барина, чем дядя Ваня? Одевался по-английски. Нечего и говорить, что никогда, даже на охоте, не надевал он какую-нибудь русскую поддевку, как «степные» помещики, т. е. те, чьи именья были южнее Тулы. В деревне с утра — серый, плотно облегавший талию, пиджак, широкие такие же панталоны, правильно падавшие на ярко начищенные сапоги (ботинок тогда еще не знали), отложной воротничок безукоризненно белой тонкой рубашки, менявшейся ежедневно, и твердый, узенький галстук бантиком. В таком виде он хозяйничал, и столярничал, и возился с ружьями и собаками. Лошадей не любил, зато был гимнаст и садовод. У него всегда в руках было какое-нибудь «аглицкое» приспособление. А силы и ловкости был такой, что сделать флаг, т. е. упершись одной рукой в ствол дерева, а другой за него захватившись, подняться и повиснуть во весь рост параллельно к земле на высоте плеча ему ничего не составляло. Наследственное же Пущино было предметом его бесконечных и разнообразнейших усовершенствований.

Подъезжая к барскому дому, еще никаких нововведений нельзя было увидеть.

Большой каменный трехэтажный дом, а перед ним круглый довольно запущенный палисадник, окруженный простым деревянным забором из торчащих коротких некрашеных и посеревших брусков. Этот палисадник надо было обогнуть, подъезжая к крыльцу. В нижнем этаже дома — молодые с детьми; во втором — парадные комнаты и старшее поколение; в верхнем — комнаты для приезжающих по обе стороны широкого, но довольно темного коридора. Ни о каких интересных или роскошных вещах — мебели или картинах — никогда не было речи; да диваны и кресла, всего вероятнее, как полагалось, были в чехлах. Подавало за столом два человека во фраках и белых перчатках, но сервировка — попросту и без претензий. Никаких украшений или цветов на столе. Ели, разумеется, на старинном, тяжелом серебре. Никелевых приборов тогда и не существовало, а о т<ак> н<азываемых> черенках не могло быть [и] речи. Тяжелые скатерти и салфетки домашнего тканья были делом слишком обыкновенным, чтобы кому-нибудь пришло в голову принять их за роскошь. Думается, и порядку в доме было не очень-то много. Сужу по такому эпизоду. Забежали мы как-то с Сережей в буфетную, внизу, неподалеку от детской. В углу оказалась куча мусора, и он привлек наше нарочитое внимание. Недолго думая, мы на эту кучу справили наши маленькие делишки и ничего. Куча была огромная. Не годы ли нарастала: и сошло совсем нормально, точно так и надо.

Зато, если дядя Ваня показывал хозяйство, все преображалось. Огромные скотные дворы согласно последним книжкам по скотоводству: отдельно племенные телки, начищенные, в стойлах, получившие на последней выставке в Москве золотые и серебряные медали; коровы широкоспинные, высокой молочности, с красивыми тирольскими рогами и колокольчиками на шеях. Чистота и свет. За ними ходили коровницы в белых передниках, а для быка, тоже получившего медаль, было отведено особое огороженное место в саду, и он был огромен и грозен. О чистоте и современном устройстве молочной что и говорить. Здесь объясняли, что такое парижское и что фленсбурское сливочное масло, показывали последнюю модель маслобойки и стол с толщенной доской светлого дуба, на котором отбивалось масло от пахтанья. Сепаратор в те времена еще не был изобретен, и поэтому существовала особая система полок в прохладном помещении, где отстаивались густые сливки на плоских крынках; их снимали большими, непременно деревянными ложками. Для получения же сметаны каждая крынка осторожно-осторожно переносилась в другую, теплую молочную и ставилась на полки, постепенно все выше, чтобы накис в два пальца толстый, сверху пожелтевший жирный слой. И если какая-либо крынка предназначалась к господскому столу для простокваши, также бережно ее отправляли на ледник, а оттуда уже прямо, поставленную на тарелку и обвитую подкрахмаленной салфеткой, чело-

век подавал каждому из сидевших за столом, чтобы тот взял по вкусу, кто больше, кто меньше сметаны.

Придя в молочную, разумеется, полагалось, смотря по времени ближе или дальше от часов дойки, испить парного или холодного молока с кусочком посоленного черного хлеба, из которого чуть торчали, для вкуса, отливавшие золотом мякинянки.

Молочное дело было священнодействием, неустанной заботой, требовавшей большого числа искусных рук и нежной внимательности.

От молочной на гумно и в сарай сельскохозяйственных машин: молотилка с конным приводом, жнейки, косилки, конные грабли, все это еще внове, интересное, ярко окрашенное, прибывшее из-за границы, и Иван Евграфович объяснял со всеми подробностями и, хотя был лицеист, обнаруживал самые точные сельскохозяйственные знания.

Полей я не видел. Ничего о них не слышал и позднее, уже в совершенно зрелом возрасте.

Может быть, и беру грех на душу, но мне представляется, что тут сказалась характерная особенность помещичьих хозяйств, сейчас после освобождения крестьян, и в особенности подмосковных. Усовершенствования, усилия по-новому начать дело, вообще смотреть на свои земли с деловой точки зрения, вводить улучшенный скот и сельскохозяйственные машины, начинались с усадьбы. Тут щеголяли нововведениями, а за околицей, в полях, запашка и посевы оставались прежними. За глазами, там, все шло еще по старинке. Я бы не удивился, если бы узнал каким-нибудь способом теперь, через шестьдесят лет, что в Пущине при Новосильцовых продолжали пахать сохами и где-нибудь стоял себе, как некогда, старый скотный двор с мелкими прежними коровками, которых держали для навоза, а распоряжался староста, относившийся с большим недоверием к затеям барина. Между тем уже десять лет протекло от освобождения крестьян, и Иван Евграфович имел бы время достигнуть более серьезных результатов.

Он уже не был тогда молодым человеком. Уже стал превращаться в лысину его пробор по середине, «по-аглицки», от которого в обе стороны спускались гладко-гладко причесанные двумя твердейшими щетками густые черные волосы, сзади, как тогда носили, коротко остриженные в скобку. Только что отпущенные усы и коротко остриженные баки с пробритым подбородком кое-где блестели сединой. Сам себя он считал опытным и в том, и в этом, в целом ряде областей. В земстве, правда, участия не принимал, а только состоял помощником Московского уездного предводителя дворянства, отчего, кстати сказать, и имел камер-юнкерский мундир. Это именно оттого, что смотрел на себя как на исключительно делового человека. Он весь отдался ведению дел своей семьи. Состояние было большое и разнообразное. Кроме Пущина, еще одно имение в Московской

губ<ернии>, земли в Нижегородской и Тверской, большой особняк в Москве с широким двором и садами, со всеми службами, как подобало барскому дому там, где сорок сороков. Но самое ценное — это две тысячи десятин чернозема в Херсонской губернии. Женившись, туда и уезжал Иван Евграфович с молодой женой, и разводил там овец в каком-то невероятном количестве. Однако неудачно; и в том-то и дело: те годы, когда мы заезжали в Пущино, были, увы, последние счастливые и богатые… Хотел, но не был деловым.

Суть в том, что Иван Евграфович был и весь деятельность, и весь любовь, причем, где кончалось одно и начиналось другое, нельзя определить.

Любил хозяйство и любил столярничать, любил дела и большой в них размах, любил ружейную охоту и любил образованность и порядочность, но больше всего любил семью и детей, причем та душевная канавка, которая отделяла его собственных детей от племянников, была очень неглубока. И дети его любили, и с ним было всегда совсем по себе детям всякого возраста, потому что сам он был, правда, большой — милый ребенок. И оттого-то всех, с кем он имел дело — от товарищей по лицею и бывших крепостных, до, увы, не только сослуживцев, но строго деловых людей, — от всех он тоже ждал к себе любовного отношения. Разумеется, по закону о взаимной симпатии и у очень многих вызывал любовь, но в то же время какая могла быть деловитость у человека с такой детски открытой душой?

Да, ребенок, но не только хороший, но и образованный. Он много читал, даже вплоть до Карла Маркса, и вкусы его были не заурядны. Вот одна маленькая подробность, касающаяся дома в Пущине, которая меня тогда поразила и оттого никогда не изгладилась из памяти.

Раз как-то взял меня Иван Евграфович наверх в коридор третьего этажа показать, чем он был обклеен вместо обоев.

— Это лубочные картинки. Видишь Ивана Царевича и Серого Волка?

И я действительно узнал Серого Волка, на котором мчались Иван Царевич с Царевной.

Что такое — закоренились в сознании лубочные картинки? Почему лубочные? Почему они должны представлять интерес? А мне как-то понравилось, и понравилась и самая мысль их собрать и ими убрать стены. Но в ту пору это было очень своеобразно, эта любовь к броской, совсем не прославленной, забытой старине, на которую и долго спустя продолжали смотреть с пренебрежением.

А мы увидим дальше, что интерес к т<ак> наз<ываемому> кустарству в его самом изощренном проявлении будет иметь одного из своих первых пионеров, члена семейства Новосильцовых, в лице той некрасивой и затихшей старой девы, которая лишь в новых условиях жизни, когда рухнуло барство, проявит свои дарования, т. е. в лице Елизаветы Евграфовны, сердечного, вдумчивого, прекрасного человека.

Мы, дети

В обеих семьях, составлявших ту среду, что всхолила мое детство, т. е. в нашей семье и в семье Новосильцовых, старое воспитание времен Николая Павловича в душных, не знающих никакой гигиены детских, да еще в придачу с неизбежной розгой, ушло в прошлое. Оно было заменено тем либерализмом, какой вычитывался из педагогических статей Добролюбова и вообще из «хороших книжек» 60-х годов. И моя мать, и ее сестра получили весьма поверхностное домашнее образование. Ни та, ни другая не были ни «синие чулки», ни интеллигентки. Далеко нет. Но, вероятно, через общение с мужьями, а также благодаря общему подъему гуманности и образованности, охватившему всю первую половину царствования Александра II, через наших матерей и мы с братом, и Новосильцовы детьми уже целиком принадлежали новой эпохе. Никто из нас никогда не поцеловал руку своему отцу, и мы говорили родителям — ты; мы не испытали ни страха, ни унижений, ни лжи, ни забитости.

От старого оставалось, в сущности, только обязательное знание иностранных языков с самого раннего возраста и благовоспитанность.

Тот осадок горечи, какой оставило на мне детство, кроме причин, лежавших только во мне самом, был, однако, вызван одной особенностью моего воспитания, свойственной, мне кажется, и самой передовой, современной педагогике. Воспитание не может не приходить в столкновение с произволом личности ребенка. Тут неизбежная борьба. Отсутствие ее есть внутреннее противоречие, так как задача воспитания — внушать общепринятые понятия и приучать к общепринятым состояниям сознания либо данной среды, класса, сословия, либо по тому, что в данных среде, классе, сословии принято признавать нормативным для всего человечества. Но можно бережно отнестись к личности, даже когда ее светоч еще едва брезжит. Особенно чуткие родители, а может быть, и наставники, умеют ее разглядеть и понять. Чаще же всего, увы — полное пренебрежение к ней или, еще хуже, самое фантастическое, ничего не имеющее общего с действительностью о ней представление. А ведь какая-то томительная безнадежность в сознании, что ты просто мальчик, такой же, как все остальные, и единственное твое отличие от других в том, что ты толстый и зовут тебя Женя. Тогда невольно тянет к самокритике, к копанию в себе, и отсюда непременно горькое чувство виноватости. Оно меня так никогда и не оставило. Какой же ты мальчик? — невольно спрашивал я себя, и ответ всегда получался: дурной мальчик.

Хорошим считался, разумеется, Сережа, любимчик. Он, вероятно, был и послушнее. Его ставили в пример. Вот он хороший?

Так ли это? Один раз Сережа рассердился на гувернантку-немку и сказал ей:

— Ich werde Mama klagen, und Mama wird sie verjagen <Я буду жаловаться маме, и мама выгонит ее>, — и нисколько ему не досталось за это.

Меня же всего перевернуло. И, значит, впечатление было сильное, если запомнилось на всю жизнь. Показалось и глупо, и грубо, а главное, как неделикатно подчеркивать, что гувернантка находится на службе и ее могут рассчитать, как горничную. Тогда же обнаружилось, что хваленый Сережа совсем не умный мальчик. Его маленькая сестра, Наташа, никогда бы не сказала такой вещи. Значит, не все дети одинаковы, и не только взрослые отличаются друг от друга целым множеством особенностей, и бывают смешные, симпатичные, злые, интересные… Во всяком случае, мальчики и девочки делятся на умных и глупых, и только вот эти последние не понимают, что такое деликатность.

Ольги Павловны как будто бы в Пущине с нами не было, и, значит, все мы были под надзором вот этой толстой немки, уже немолодой и совершенно безличной.

Все дни мы проводили в большом саду, отлично содержанном и спускавшемся от самого дома, с противоположной стороны — той, где крыльцо и запущенный палисадник, до самой реки Нары. Если стоять к дому спиной, то направо сад переходит в расчищенную березовую рощу, Андреевку, отделявшую владения Новосильцовых от Коншинских фабрик[51].

Никакие спортивные игры, в особенности же такие, в которых принимали бы участие и взрослые, тогда не были в ходу. Даже жалкий, обязательный немного позже во всех усадьбах и на дачах крокет до России еще не дошел. Купаться на Нару нас тоже не водили. Мы просиживали часами на какой-нибудь полянке сада, под тенью дерева, и в чем состояли наши развлечения, не помню. Ну, конечно, бегали, смеялись, догоняли друг друга, кувыркались и лазили на дерево, но все это оставляло много времени для самой пустой и незамысловатой болтовни. Событием была только более далекая прогулка в Андреевку. Ярко блестели здесь своей белой корой достигшие полного роста березы, и роща казалась уходящей так далеко-далеко. Радостью веяло в Андреевке. И пролетали день за днем незаметно, беззаботно, не то что весело, а, главное, скоро.

Новосильцовы любили животных, и это меня позднее с ними особенно сближало. Однако в Пущине не было таких, которые, как у нас, как бы считались членами семьи. Там на господской конюшне особым почетом пользовались только два старых, серых в яблоках рысака, Хапун и Соперник, московские выездные лошади. Кроме них и верховой лошади тети Ади стояла только пущинская разгонная четверка, на которую принято было смотреть лишь как на способ передвижения. Оттого я не могу их перечислить по именам. Правда, у Сережи была своя собственная очень маленькая понька, Крошка. Но вот эпизод, показывающий, что она не могла вызывать к себе наших детских симпатий. Она была презлющая, с норовом, плохо объезженная.

Только раз мы должны были отправиться на ней покататься. Ее запрягли в беговые дрожки. Сережа сел впереди, править, я сзади. Но, очевидно, дело было не

так-то просто, потому что нас должен был сопровождать молодой кучер верхом. Он держал конец вожжи, застегнутой с одной стороны удил Крошки. Какая была у меня в этих делах опытность, уж не знаю, но сразу мне показалось: какой толк может быть от этой единственной вожжи. Зачем она? И в самом деле. Только мы как-то выехали, миновав круглый палисадник за ворота, на дорогу, обсаженную высокими березами, Крошка возьми да бросься в противоположную сторону от верхового. Завезла в канаву, дрожки опрокинулись, мы полетели, а Сереже еще и ушибло ногу, и ему потом прикладывали примочки тогдашнего универсального в таких случаях средства: арники. Этим закончилась единственная попытка проехаться на Крошке. Больше о ней не было больше речи.

Не показателен ли и этот случай для большой барской усадьбы, где все было как-то растяписто, точно не на самом деле, точно не всерьез?..

И катастрофа надвигалась…

Примечания

[1] Столыпина Наталья Михайловна (урожд. Горчакова) (1827–1889) — княжна Горчакова, фрейлина императорского двора, замужем за Аркадием Дмитриевичем Столыпиным, мать будущего реформатора Петра Аркадьевича Столыпина. Во время Русско-турецкой войны (1877–1878) была сестрой милосердия, награждена бронзовой медалью «Знак милосердия».

[2] Аничкова Анна Митрофановна (урожд. Авинова) (1868–1935) — писательница, переводчица, писала под псевдонимом Иван Странник. Замужем за Евгением Васильевичем Аничковым. До революции 1917 г. супружеская пара подолгу жила в Париже, где А. М. Аничкова содержала литературный салон, в котором часто бывали А. Франс, М. Горький и др. В Советской России Анна Митрофановна жила частными уроками и преподаванием иностранных языков.

[3] Шамиль (1797–1871) — предводитель кавказских горцев, в 1834 г. был признан имамом теократического государства — Северо-Кавказского имамата. В 1840-х гг. одержал ряд побед над русскими имперскими войсками, включая и победу в Даргинском походе имперских войск 1845 г. В 1859 г. сдался в плен, ему и его семье была отведена для жительства Калуга. На Западном Кавказе война после этого продолжалась еще пять лет.

[4] Кероглы — крепость Коджори или замок Короглы (XVIII–IX вв.), сегодня входит в состав Тбилиси. Крепость Коджори до XV в. называлась Агарани, названия Кероглы и Каджори закрепились с XVIII в. Долгое время крепость считалась обителью грузинских царей.

[5] «Journal pour rire» — учрежденный Шарлем Филипоном журнал выходил в 1848–1855 гг. В 1856 г. его сменили «Le Journal amusant» <«Журнал для развлечения»> (1856–1933) и «Le Petit Journal pour rire» <«Малый смеховой журнал»> (1856–1900).

[6] Святополк-Мирский Дмитрий Иванович (1825–1899) — князь, генерал, участник Кавказских походов, Крымской войны, Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Во время Русско-турецкой войны состоял при главнокомандующем Кавказской армией, в 1879 г. был награжден орденом Св. Владимира 1-й степени с мечами, в 1880 г. был назначен членом Государственного совета.

[7] Аничков Василий Иванович (1838–1881) — подполковник, член Кавказского, затем Виленского военно-окружного суда, актер-любитель.

[8] Аничков Иван Васильевич (1800–1961) — полковник лейб-гвардии.

[9] Дирин Петр Николаевич (до 1810 — 1905) — поручик Лейб-гвардии Семеновского полка, генерал-майор. Автор краткой полковой истории (Краткая история Лейб-гвардии Семеновского полка, 1883).

[10] Аничкова Ольга Петровна (урожд. Дирина) (1840-е — ?) — жена Василия Ивановича Аничкова, мать Ивана Васильевича и Евгения Васильевича Аничковых.

[11] Танеев Сергей Александрович (1821–1889) — высокопоставленный чиновник, дипломат, действительный тайный советник. Троюродный брат композитора Сергея Ивановича Танеева.

[12] Дом Аничкова на Садовой улице в Санкт-Петербурге (адрес: Садовая, д. 48) принадлежал полковнику лейб-гвардии Ивану Васильевичу Аничкову (1800–1862), деду Евгения Васильевича. Дом был построен в 1836 г. по плану архитектора Федора Брауна на месте деревянных построек и принадлежал семье Аничковых до 1870 г.

[13] Никаких данных касательно Новосильцовой Александры Петровны (урожд. Дириной) обнаружить не удалось.

[14] Новосильцов Иван Евграфович (? — 1904) — камер-юнкер, сын Евграфа Ивановича Новосильцева.

[15] Романов Михаил Николаевич (1832–1909) — великий князь, четвертый и последний сын императора Николая I и его супруги Александры Федоровны, военачальник и государственный деятель, генерал-фельдмаршал (1878), председатель Государственного совета (1881–1905).

[16] Святополк-Мирский Николай Иванович (1833–1898) — князь, военачальник Российской Империи, генерал от кавалерии. С 1853 г. участвовал в военных действиях во время Крымской войны, в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг., отличился в сражениях под Плевной и на Шипке, а также организацией перехода через Балканы, на помощь корпусу генерала Ф. Ф. Радецкого. Вторым браком был женат на Клеопатре Михайловне Ханыковой, дочери полковника Михаила Николаевича Ханыкова и Софьи Васильевны Энгельгардт, от которой имел семь сыновей.

[17] Святополк-Мирская Клеопатра Михайловна (настоящее имя Капитолина; урожд. Хныкова) (1845–1910) — кавалерственная дама ордена Св. Екатерины 2 ст., дочь полковника Михаила Николаевича Ханыкова и Софьи Васильевны Энгельгардт, жена князя Николая Ивановича Святополк-Мирского.

[18] Николаи Александр Павлович (1821–1899, Лачино, Тифлисская губерния) — барон, государственный деятель Российской империи, действительный тайный советник (с 1873), член Государственного совета (с 1875), министр народного просвещения (1881–1882). Службу начинал в канцелярии кавказского наместника князя М. С. Воронцова. Женат на княжне Софье Александровне Чавчавадзе, дочери поэта, генерала, князя Александра Гарсевановича Чавчавадзе (1786–1846). У них была дочь Мария (Мака) Александровна Николаи.

[19] Ошибка памяти мемуариста. Дочь барона Николаи Мария (Мака) Александровна Николаи (1859–1919) была замужем за князем Георгием Дмитриевичем Шервашидзе (1847–1918), бывшим губернатором Тифлиса в 1889–1897 гг.

[20] Сутгоф Александр Николаевич (1800–1874) — генерал от инфантерии, директор Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, член Военного совета и инспектор военно-учебных заведений. Участвовал в походе 1828 г. в Турцию и в военных действиях 1831 г. против восставших поляков.

[21] Аничкова Александра Александровна (1835–1883) — дочь генерала Александра Николаевича Сутгофа, замужем за Иваном Дмитриевичем Аничковым.

[22] Аничков Иван Дмитриевич (1829–1907) — сын Дмитрия Васильевича и Анны Ивановны Аничковых, женат на Александре Александровне Сутгоф.

[23] Философов Дмитрий Александрович (1861–1907) — государственный деятель, член Государственного совета (с 1906), министр торговли и промышленности (с 1906).

[24] Фон Баранов Карл Петрович (1842 — ?) — генерал-майор с 1887 г.

[25] Фон Баранов Петр Петрович (нем. Peter Paul Alexander von Baranoff, 1843–1924) — из эстляндских дворян, русский военачальник, генерал от кавалерии. Участвовал в подавлении Польского восстания 1863 г. и в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Был управляющим (1898–1902), а затем гофмейстером (1902–1910) Двора великого князя Михаила Николаевича Романова. С 1910 г. генерал-адъютант.

[26] Баранова Ольга Валериановна (урожд. Бибикова) (1846–1933) — дочь Валериана Александровича Бибикова и Елизаветы Андреевны Линквист-Белей, замужем за Петром Петровичем Барановым.

[27] Ореус Михаил Федорович (1842–1920) — генерал от артиллерии, командир гвардейской конной артиллерии и Гренадерского корпуса, член Александровского комитета о раненых. В 1871 г. Ореус был назначен для особых поручений при Главнокомандующем Кавказской армией великом князе Михаиле Николаевиче Романове. Принимал участие в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг.

[28] Ореус Иван Иванович (1830–1909) — генерал от инфантерии, военный историк. В 1863 г. назначен начальником Военно-исторического и топографического архива, в 1866 г. переименованного в Военно-ученный архив. На этой должности оставался более 40 лет. Женат на Елизавете Аничковой, от которой имел сына — поэта Ивана Ореуса, писавшего под псевдонимом Коневской, утонувшего в 1901 г.

[29] Аничкова Елизавета Ивановна (1839–1891) — дочь полковника Ивана Васильевича Аничкова и Натальи Дмитриевны Барыковой, замужем за Иваном Ивановичем Ореусом.

[30] Цулукидзе Нина Асламовна (1863–1906) — княжна, первым браком замужем за Коваленским Сергеем Григорьевичем, вторым за бароном Александром Феликсовичем фон Мейендорфом.

[31] Коваленский Сергей Григорьевич (1862–1909) — государственный деятель, сенатор, тайный советник, директор Департамента полиции в 1905 г. Покончил с собой. Был женат дважды — на Нине Асламовне Цулукидзе и на Марии Андреевне Верещагиной.

[32] Фон Мейендорф Александр Феликсович (1869–1964) — барон, сын барона Феликса фон Мейендорфа и Ольги Михайловны фон Мейендорф, внук командующего времен Крымской войны князя Михаила Дмитриевича Горчакова, двоюродный брат Петра Аркадьевича Столыпина. Юрист и политический деятель, избирался в III и IV Государственную думу. В 1907–1909 гг. — товарищ председателя Государственной думы. Первым браком был женат на Нине Асламовне Цулукидзе, вторым на Варваре Михайловне Цулукидзе.

[33] Ошибка памяти мемуариста. Речь идет об Оголине Александре Степановиче (1821–1911) — государственном деятеле, витебском и кутаисском губернаторе, сенаторе, действительном тайном советнике.

[34] Ридигер Александр Николаевич (1838–1910) — генерал от инфантерии, член Военного совета, герой Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

[35] Дидрихс Адам Вильгельмович (?–?) — военный врач.

[36] Фон Галлер Иван Владимирович (?–?) — государственный деятель, генерал-майор, гродненский и виленский губернатор.

[37] Бабст Александр Кондратьевич (?–?) — военный юрист, судья Московского военно-окружного суда, генерал-майор, старший брат Ивана Кондратьевича Бабста (1823–1881) — историка, экономиста, профессора Московского университета.

[38] Никаких данных касательно Тимашева обнаружить не удалось.

[39] «Колокол» — русская революционная газета, издававшаяся А. И. Герценом и Н. П. Огаревым в эмиграции в 1857–1867 гг.

[40] Польское восстание — восстание 1863–1864 гг. на землях бывшей Речи Посполитой, отошедших к Российской империи.

[41] Франко-прусская война — война 1870–1871 гг. между империей Наполеона III и германскими государствами во главе с Пруссией. Закончена поражением Франции и созданием единой Германской империи.

[42] Имеется в виду невыгодный для России Парижский мирный договор, который в 1856 г. подписали Россия, с одной стороны, и союзники по Крымской войне (Османская империя, Британская империя, Франция, Австрия, Сардиния, Пруссия) — с другой.

[43] «Милютинские войска» — реформа Дмитрия Алексеевича Милютина (1816–1912), назначенного императором Александром II военным министром России в 1861 г. Коснулась преобразования военно-административного деления, воинской повинности, системы военного образования, военной формы. Здесь речь идет об изменении в обмундировании войск.

[44] Пехотный Гурийский полк — 159-й пехотный Гурийский полк, существовал в 1863–1918 гг. Во время войны с Турцией в 1877 г. вошел в состав Кавказского корпуса, сражался на Аладжинских высотах, принимал участие в блокаде Карса и Эрзерума.

[45] Никаких данных касательно генерала Кишмиш обнаружить не удалось.

[46] «Чайный цветок» — оперетта Шарля Лекока (1868).

[47] Новосильцов Евграф Иванович (1809–1870) — поручик, помещик, владелец вотчины под названием Троекуровщина.

[48] Новосильцова Наталия Ивановна (урожд. Вырубова) (1810 — ?) — дочь Ивана Петровича и Елизаветы Петровны Вырубовых, замужем за Евграфом Ивановичем Новосильцовым.

[49] Новосильцова Елизавета Евграфовна — сведений обнаружить не удалось.

[50] Никаких данных касательно детей Евграфа Ивановича Новосильцова и Наталии Ивановны Вырубовой обнаружить не удалось.

[51] Коншинские фабрики — фабрики Николая Николаевича Коншина (1833–1918), предводителя дворянства, благотворителя, генерального консула королевства Сербии и княжества Болгарии, купца первой гильдии, основателя торгового дома «Николая Коншина сыновья» и «Товарищества мануфактур Н. Н. Коншин в г. Серпухов». На предприятии работало более 11 тысяч рабочих.

DOI 10.17323/2658-5413-2020-3-1-224-277

ГЛАВА II
Виленское пятилетие

Детское томление. — На Жданях. — Новая окраина. — Цивилизация и женский монастырь. — Вильна — маленький город. — Знакомые и друзья. — Обстановка и нравы. — Мои игры. — Три гувернера. — Мальчик с катка. — 13-я Кавалерийская дивизия. — Брат и я, турки и славяне.

Закончилось первое пятилетие моей жизни, и будто тогда родилось это таинственное внутреннее, принадлежащее только самому себе, от всех, даже самых близких обособленное *я*.

Да, до сих пор рассказывал кто-то, мне, в сущности, чужой и о каком-то чужом мальчике. И вот он остался там, далеко, на Кавказе. Все, что было дальше и что я буду теперь рассказывать, это уже я сам и духовно и во плоти, и я чувствую до сих пор, что это я, тот самый старый профессор, заброшенный в город Скоплье <Скопье>, о существовании которого никогда не подозревал.

Детское томление

Я не люблю своего детства.

Оно тянулось несуразно, томительно, точно отбывалась какая-то повинность. Не то чтобы я торопился стать взрослым, зажить, высвободиться. Этого не было. Но никогда потом я не мог вспомнить ни одного эпизода из моего детства, окрашенного для меня светлым. Нет. Что-то всегда давило, даже тогда, когда прояснялся в памяти какой-нибудь отдельный, по существу радостный эпизод. Игры? Они всегда оставляли во мне осадок неудовлетворенности. Как будто думалось: не глупо ли? Да из них я, строго говоря, очень мало что помню.

Мне кажется, что я не пережил ни одной минуты, когда бы я не чувствовал себя виноватым. В чем? Виноватым за то, что я вот такой толстый, ленивый и, твердо верилось, ничего хорошего из себя не представляющий мальчик. В конце концов: дрянной, некрасивый, неуклюжий мальчишка, которому решительно ничего настоящего никогда и не предстоит. Мальчик с книжкой стал фикцией: пустяки, не стоит об этом думать.

Однако то первое разочарование в себе — а сколько их было после, всю жизнь, — разочарование, обнаружившее неспособность, гнетущую меня и до сих пор, до старости, вовсе не оставило по себе какого-нибудь больного чувства.

Первое разочарование — я не говорю о моей невзрачной наружности — это моя полная немузыкальность. Меня, конечно, учили играть на фортепиано,

и у нас всегда оно составляло часть полагавшейся меблировки, хотя мать моя очень редко когда за него сядет. Но я не делал никаких успехов и приписывал это, как и мои родители, просто лени. И вот однажды, возвратясь из Риги с сессии военного суда, отец привез детскую виолончель. Нашли виолончелиста, какого-то невзрачного старика, и пошли уроки. Тянулись месяцы, а я все никак не мог справиться с первыми тактами «Чижика»[1]. При этом я узнал, что другой мальчик, начавший учиться одновременно со мной, давным-давно уже овладел инструментом. Тогда меня оставили в покое. Почему? Оказалось, что нет слуха.

Уж не буду сейчас вередить это больное место своего сознания. Да, смешно и глупо. Я очень люблю музыку и особенно серьезную, запоминаю, чувство ритма у меня совершенно нормальное, но что такое верная и что фальшивая нота, осталось навсегда недоступной для меня тайной. Калека.

Когда прекратились уроки на виолончели, разумеется, было стыдно. Вот тут уже совсем острое ощущение виноватости, но оно все-таки было тупо. Именно тупо: ну вот, обнаружилось что-то отвратительное, а зареветь, даже в самом деле огорчиться, не смог. Эту неспособность зареветь я и зову тупостью, а она — следствие наболевшего чувства виноватости, никчемности, отсутствия самого права на что-то блестящее, действительно захватывающее, возвышающее в глазах других. Да, томление. Даже, может быть, хуже. Я часто замечал у испытавших много горя старух такое остановившееся выражение глаз, которое уже не делает им больше никакой возможности отразить новое несчастье. Если бы детские глаза были бы зеркалом души, мои тоже были бы потухшими. Да ведь стоит и посмотреть на мои карточки детского возраста — на них всегда я имел вид какой-то сонный.

Гувернер-немец, Шёве, когда сердился, говорил:

— Толстый такой, противен такой, в угол с тобой.

И я шел в угол, уверенный в том, что не только уродливо и постыдно толст, но именно противен. Ну, разумеется: калека! И думалось: отчего говорят, что горбатые всегда злы, потому что они калеки, вот я калека, а я не злой?

На Жданях

Погостив в Пущине, мы с матерью направились в наше наследственное, родное гнездо, на Ждани, в семи верстах от Борович.

Сколько ни напрягаюсь, странно, не могу восстановить, каково было мое первое впечатление, когда, сделав около шестидесяти верст на лошадях от станции Валдейки, мы въехали к себе домой. По всему выходит, что в хоть сколько-нибудь сознательном возрасте я видел Ждани в первый раз. Мне не было шести лет, два года мы провели на Кавказе. Неужели же трех-четырехлетний ребенок может настолько запомнить расположение усадьбы и самый дом, что, вернувшись после двух лет, проведенных там, далеко, в такой новой и своеобразной

стране, как Кавказ, ему все покажется знакомым? А ведь, по-видимому, нет сомнений. Отчего иначе дом в Пущине стоит перед глазами так ясно, точно это было вчера, именно таким, каким я его увидел впервые, а от жданского дома впечатление стерлось? Или я никогда и не мог в первый раз увидеть Ждани, совсем в такой же момент, как и свои руки и ноги, потому что и руки, и ноги часть меня самого, а Ждани тоже часть, не что-то внешнее, сколько бы оно ни было родным, а именно что-то телесно связанное со мною самим. И вот теперь, когда я пишу эти строки, мне так ясно и несомненно, что я калека, инвалид, безрукий или вообще лишенный какой-то части самого себя, потому что нет больше у меня Жданей. Дело вовсе не в собственности, а в сродстве, в некоем едином целом, развалившемся теперь на отдельные куски, один на недосягаемом берегу Мсты-реки, а другой тут, на Вардаре[2], уже и не человек или, вернее, не я, а только сохранившийся от меня обломок.

И были особые обстоятельства, вследствие которых тогда же сразу это чувство сродства должно было обнаружиться или лучше действительно врасти раз навсегда.

Пока отец служил на Кавказе, он поручил свои дела по Жданям мужу своей младшей сестры Александры Ивановны[3], Николаю Григорьевичу Дьяконову[4], только что вышедшему из Преображенского полка. Дел наших Николай Григорьевич как будто не усовершенствовал, и напротив, что же касается жданской усадьбы, то она поступила в пользование обеих младших сестер отца, Александры и Елизаветы, очень дружеских между собой и, вероятно, с великой радостью проводивших вместе два лета в своем родном гнезде. Обе они души не чаяли в маленькой дочке Елизаветы Ивановны, жены Ивана Ивановича Ореуса. Девочка очень скоро, чуть не тогда скончалась, а она была единственная. Ее звали Маруся. И вот она-то и была первым лицом на Жданях за время нашего отсутствия.

Сразу почувствовалось ее недавнее присутствие. Особое это было чувство. Отнюдь не ревность. Может быть, даже и на нас с братом отразилось то пламенное чувство, какое это маленькое существо сумело к себе возбудить. Говорили, что она была очень хорошенькая. В мать. И фотографии это подтверждали. Но ведь, чтобы вещь стала особенно дорога, когда она нравится, не достаточно ли ее на время отнять. Вот так было и со Жданями: раньше здесь была хорошенькая девочка, наша двоюродная сестра, а теперь вот мы приехали. Не надо отнимать своих игрушек, когда другие дети хотят ими поиграть. Это очень дурно. А все-таки приятно получить обратно.

Вот так.

И срослось на всю жизнь, срослось и духовно, и телесно мое сознание со Жданями. Каждый уголок в саду, в усадьбе, на конюшне, каждое деревцо, лощинки и канавки далеко от усадьбы, и в полях, и даже на Высоких, и за рекой стали

как бы частью своего собственного тела. Все это и жило, и болело, и радовало. Вон там повыше острова торчит в мелководье огромный камень, а островок, за которым, не умолкая, журчит порог, каждое лето менял форму и продолжался вниз по течению длинной отмелью нижнего песка. Мста, родная Мста, на которой стоит усадьба, она тут тоже родная и своя. Но никакого и тогда, когда я сам стал хозяином Жданей, не было чувства собственности: мои — Ждани. Даже подумать так мне до старости казалось святотатством, разве что — наши, т. е. всех нас Аничковых. Но в том-то и дело, что привязанность к своему родовому гнезду совершенно другое. Не Ждани — наши, а мы им принадлежим. Мы ихние. Они владеют. Что мы без них? И ведь деревенские жители: и помощники, и крестьяне понимают это, потому что во всех них — тоже своеобразное, совсем ни с чем не сравнимое чувство. Оттого ведь нас всегда звали вовсе не Аничковы — Аничковы есть разные, несколько семей, — а именно жданские: жданские господа, такая же принадлежность Жданей. Жданская тройка, жданский конь, жданская глина.

Да, с этого первого уже сознательного пребывания на Жданях, на всю жизнь, а после и вся моя семья, все мои стали жданские.

Тем обиднее было и мне и брату, когда мы узнали, что ни тот ни другой мы не родились на Жданях. Брат в Петербурге, а я на т<ак> наз<ываемой> Протопоповской даче около Борович, где поселились мои родители, пока отстраивался на Жданях после пожара новый дом. Пожар этот — событие, о котором еще будет сказано.

Но мы только наезжали на Ждани по летам, а жили в Вильне.

Новая окраина

Может быть, это свойственно не только русским детям, но и вообще русским людям. Когда судьба перекидывает их из одной части нашей необозримой родины в другую, они очень быстро, как бы походя, без всякого нарочитого напряжения, приспособляются к новому климату, новой природе, новому народу или племени. Все это совершенно не удивляет. Да, по-другому жил в центре России или на той или иной другой окраине, но это просто в порядке вещей. Вероятно, от этого мои воспоминания о Вильне носят самый узкосемейный характер.

И в той среде, в которой вращались мои родители, по-видимому, о крае, о Вильне, о литовцах, евреях, поляках, белорусах если и говорили, то очень вскользь. То, что я запомнил — а ведь мы жили там целых пять лет, — носит какой-то справочный характер. Да, Вильна прежде всего еврейский город, и евреи бедны и грязны. У них особая улица: Немецкая. Они лавочники или ремесленники. Существуют еще факторы, через которых можно достать все, что угодно. К нам ходила факторша Рахиль и предлагала разные товары, главный интерес

которых составляло то, что они — контрабанда, и поэтому продаются дешевле, чем в магазинах. Народ, т. е. окружающие Вильну крестьяне — жмудяки. На этом очень настаивали. Не просто литовцы, а жмудяки. Есть и особые не то русские, не то поляки, и их не разберешь, потому что на вопрос, кто они такие, они отвечают одно из двух, или — православный, или — католик. Поляки, конечно, особое дело. Не могло не сохраниться еще живых воспоминаний о 63-м годе. Но я не слышал, чтобы о поляках говорили с ожесточением. Правда, помню смутные рассказы о каких-то «жандармах-вешателях», некой тайной организации против русских. Однако и это скорее с сожалением. И когда много лет позднее я узнал, что писали о Западном крае Батюшков и Юрий Самарин, то не было сомнений: да, восстание делала шляхта, т. е. исключительно одно определенное польское сословие, а народ остался в стороне, тем более что народ-то вовсе не поляки; такое мнение мне оказалось очень хорошо знакомым.

Памятника Муравьеву-вешателю[5] тогда в Вильне еще не стояло. И не только восторженных, но и одобрительных отзывов о нем я не упомню. Времена были Александра II, а не Александра III.

Итак, поляки, литовцы, евреи, белорусы, католики и православные — сами по себе, а мы, русские, отдельно, пришлые, делающие свое служебное дело и живущие по-своему, не задираясь, но в полнейшей убежденности, что Вильна — город Государства Российского. В те времена сомнений о том не было и в самом местном населении. Да были ли они тогда и среди поляков?! Если и были, то они или оттуда, из самой Польши, даже из зарубежья, из Кракова.

Только все-таки вот один молодой человек, которого ориентацию, как теперь стали говорить, я и до сих пор не понимаю, но она была какая-то местная.

Первых наших квартир в Вильне, пока мы еще не устроились и не появилась обстановка, было две: одна где-то на Антоколе, с садом, дача, а другая, напротив, в самом центре города, на большой широкой улице, которая ведет к Остробраме.

На этих квартирах мы себя с братом впервые ощутили мальчиками, которых надо учить. Брату настало время готовиться в гимназию. Ольга Павловна Кованько с нами в Вильне побыла недолго и вышла замуж за какого-то бородатого господина, чиновника в городке около Вильны. Мы у них были один раз в гостях. Маленькая скромная квартирка. Жаль нам почему-то стало Ольгу Павловну: и муж невзрачный, и живут убого. Больше мы ее никогда не видели. [И вот] начались поиски за воспитателями и учителями. Одно время при мне дядькой состоял бывший артиллерийский фейерверкер. Бравый был, но еще чуть усики закручивались, а он наводил страх, когда проходил по казармам. Мне он совсем не казался грозным.

Среди поисков за наставниками и появился очень молодой человек, что-то такое странное окончивший, и ему и предстояло готовить брата в гимназию. С этой целью, когда подоспело лето, он ездил с нами на Ждани.

И вот в Вильне на вокзале он явился в таком виде, что все поразились. На нем было какое-то тяжелое пальто полувоенного покроя из местного домашнего серого сукна, как ходили литовские крестьяне, и о ужас! — это еще что такое? — на голове высокий кожаный кивер с фуражечным козырьком, вроде казачьего. Так он и щеголял на Жданях, а когда садился на одну из деревенских лошадок, на которых мы все гарцевали, то очень лихо подбоченивался: казак, да и только. И таким он себя, по-видимому, и ощущал. Но отнюдь не казаком с Дона, а каким-то таким особенным, даже, всего невероятнее, вовсе не потомком запорожцев; Тарас Бульба тут оставался ни при чем. Он был пламенный белорус. Значит, была же такого своего рода ориентация. Как будто белорусский гайдамак, не хуже шевченковских! Были ли такие? Но, очевидно, он что-то в этом роде или знал, или думал. Славный, веселый был молодой человек. Впрочем, почти мальчик. И сошелся не только с нами, но и с моими двоюродными братьями Козиными[6], о которых еще будет речь, пажами, на несколько лет старшими моего брата. Кавалькады под его воинственным предводительством и происходили в числе всех нас четырех, т. е. белорусского гайдамака, Мити, Козиных и нас с братом. Кажется, он даже раздобыл какое-то казачье седло для полноты картины.

Другой также местный молодой человек, учивший моего брата, был совершенно другого склада, не романтик, а, по-видимому, интеллигент писаревского направления. Его звали Карпинский. Преподавал он, как и полагается позитивисту, арифметику.

Раз как-то он был в спальной матери, а там всегда стояла резная красного дерева на точеных ножках божница. Карпинский посмотрел и неожиданно для всех изрек своим шибко шепелявым произношением:

— Совершенно лишняя обуза.

При этом *с* и *з*, разумеется, выходили вроде английского th. Огромный успех имел Карпинский этой мудрой фразой. Навсегда стала знаменита. Долго потом мы с братом, как посмотрим на эту божницу, сейчас — на уме шепелявый выговор Карпинского, которому я умел подражать:

— Совершенно лишняя обуза.

И, пожалуй, вот все, что осталось от столкновений с местными людьми.

Кроме еврейки Рахиль, разве еще два лакея — терпеть не могу этого слова, но и человек не лучше, — Доминик и Людвиг, оба поляки, служившие одновременно. Доминик был шляхтич, но весьма невзрачный, и его доподлинное дворянское происхождение ни в чем не проявлялось. Человек был тихий, и приставлен к нам, детям, хотя раздевать нас, даже снимать сапоги было отцом строго воспре-

щено. Сами должны были справляться, а его дело только порядок наводить. Когда же мы уляжемся, и свечка потушена, он опять заходил и говорил почему-то по-немецки:

— Kinder schlafen <Дети спят>.

Кажется, единственное, что он по-немецки знал. Совсем другое дело буфетчик Людвиг. На Жданях, также подбоченясь, ездил верхом. Хват и на все руки. Этот на лошади мечтал, конечно, о кунтуше с закидными рукавами и шпорах гусарских, да чтобы кривая сабля при бедре. Ну, разумеется, и охотник. А когда ходил не во фраке, как ему полагалось, галстук сиял всеми красками радуги.

Обоим полагалось говорить — вы. Потому что поляки.

Разве еще о евреях.

При большой квартире-особняке за Остробрамой сад был на склоне горы, спускаясь к улице, а наверху дощатый забор, за которым маленькая улочка. Нас с братом научили влезать на забор и кричать еврейским мальчикам не особенно приветливые слова на жаргоне:

— Кус мир ан тохас[1].

Тогда надо было поскорее соскочить назад в сад, потому что в забор с улочки летели камни. На этом, впрочем, и заканчивается мой детский, виленский антисемитизм. Позднее я учился в Рисовальной школе, где ученики были сплошь еврейские мальчики, а я там сдружился с одним из них, по фамилии Сегаль[7], будущим художником. Сказать о нем, пожалуй, и самое важное, что касается еврейства.

Приятельство с Сегалем всего более характерно, однако, тем, что еврейство его тут, в сущности, не играло почти никакой роли: ни за, ни против. Не важно было и то, что в Рисовальной школе он считался самым талантливым. Об искусстве мы совсем не говорили. И речи не было о каком-нибудь соревновании или чем-то в этом роде. Совсем другое. Меня захватило невиданное и неиспытанное, только умом понимаемое, потому что в моем, т<ак> ск<азать>, органическом сознании нечто подобное тогда совершенно отсутствовало: мальчик, стремящийся выйти в люди, пробиться. Вся семья, бедная, совершенно простая семья с кучей детей, смотрела на его призвание как на дела. Упорно, сознательно, приняв во внимание все возможности и все препятствия, мальчик всего на два, на три года старше меня начал трудную и сложную карьеру. Разве я тогда хоть на минуту задумался о том, что со мной будет, чему я стану учиться, главное, на какие средства жить? Все это было даже не в тумане. Просто и тени чего-либо подобного не проскользнуло, не было ни через какое раздумье. Только не это. А тут такая определенность. Точно рассказ читал я в его

[1] Правильнее [куш]. Букв: «Поцелуй меня в задницу» (идиш). — *Прим. ред.*

душе. Захватило воображение. Вот оно что. Почувствовал. Вроде как за него и с ним, мечтал. Оттого и на его способности — мы только еще рисовали черными карандашами и углем — смотрел совсем не с какой-то, надо бы сказать, художественной точки зрения. Он был для меня ремесленник, который этим своим ремеслом достигнет лучшей жизни, может быть, и родителям облегчит. А он, как все евреи, был нежно привязан ко всей семье, особенно к маленьким братьям. Художник, ремесленник.

Таким он и стал. Кончил Академию, и через много-много лет в Петербурге мы с ним встретились на улице лицом к лицу и узнали друг друга. Меня еще удивило, что он оказался меньше меня ростом. Там, в Вильне, он производил впечатление почти высокого. Сегаль тогда многое уж знал обо мне из газет. Это стало ясно, только мы разговорились. Но тем меньше нашлось, что сказать друг другу. Почему-то ни одной секунды не подумалось мне во время этой встречи, что он может быть чем-нибудь иным, как ремесленником, и перекинулись лишь несколькими фразами, так сказать, биографически-делового характера. Мол, да — портретист и есть заказы. Слава Богу. На этом и разошлись.

С точки зрения отношений к местному населению или, вернее, в данном случае к впоследствии неизбежному или даже чуть не обязательному антисемитизму, характерно в этом приятельстве было полное безразличие родителей. Даже как будто поощряли, потому что, покровительствуя даровитому мальчику, заказали ему мой портрет, и мы часами просиживали наедине в нашей с братом комнате. А ему заказали еще с фотографических карточек портреты деда и отца. То и другое карандашом. И портрет деда очень удался. До конца старого режима он висел в гостиной на Жданях в круглой рамке. Только с отцовским вышло неважно. Сходство схватил, но в смысле художественном было отврати<те>льно. Отец потом, смеясь, говорил:

— Разве на семейной на Жданях повесить?

Пожалуй, даже напрасно родители слиберальничали, потому что Сегаль мне объяснил, чем женщины отличаются от мужчин и откуда дети. Он уверял, будто офицеры заводят молодых девушек за город в рощи, особенно те, что за горой, на которой был клуб, и там лишают их невинности. Девушкам больно, но нравится. И когда я ходил с гувернером гулять в ту сторону за город, думалось, а вот-вот где-нибудь в сосновой чаще офицер и барышня. Он делает ей больно, а ей нравится. Очень интересно.

Цивилизация и женский монастырь

Когда незадолго до войны я еще раз увидел Вильну, потому что читал там публичную лекцию, в ней издавалось пять газет на пяти языках. Русской газеты, кроме официальной, кажется, не было; но зато выходило два издания белорус-

ской «Нивы», одно латинским шрифтом для католиков, а другое кириллицей для православных. Так же точно и две еврейские газеты: одна на жаргоне[1], а другая по-древнееврейски. Не упомню, были ли еще две газеты: польская и литовская, или только одна, на одном из этих двух языков. Как бы то ни было, вот сколько маленьких центриков различных цивилизаций. Та среда, в которой я рос, не принимала никакого участия в какой бы то ни было местной жизни, меньше всего умственной. Жили «между собой», и оттого очень удачно назвали сборник стихов и рассказов, какой издали, «Между нами». Сами по себе. Как увидим, составляли какой-то занесенный на западную окраину кусочек столичной русской цивилизации. Однако врезалось в память. Говорили об этом. Говорили даже с некоторой стыдливостью. Ведь в Вильне когда-то был университет. Он, разумеется, был польский. В нем учился Мицкевич. В нем преподавал Лелевель[8]. Этот культурный центрик был разрушен при Николае Павловиче, и даже библиотека отослана в Киев. А на месте Университета, кажется, в том же здании, была основана русская классическая гимназия.

Теперь в Вильне опять польский Университет. А что было бы, если бы Россия поступила, как теперь Югославия в турецко-арнаутско-цинцарско-македонско-болгарско-сербском городе Ускюбе, ныне Скоплье, где я по-сербски читаю со студентками и студентами Данте, Шекспира и Сервантеса? Что если бы действительно был основан русский культурный центр? Какой город Вильна? Запомнились эти безбородые крестьяне в серых кафтанах, фасона пальто, из самотканого сукна, в черных фуражках и белых, тоже самотканых рубахах с прямым воротом. Приезжали на базар в маленьких узких телегах, в одну лошадку, запряженную с другой. Они-то и делились на православных и католиков, и для них впоследствии возникла белорусская «Нива». Не знаю статистики. Кого больше в окрестностях, литовцев или белорусов? Во всяком случае, не польский же город Вильна. И если город царя Душана стал сербским, то и столица regni Lituanorum Ruthenerumque[2] <королевства Lituanorum Ruthenerumque> имела все основания стать русским городом; скажем: Ruthenorum Lituanorumque.

Великий грех в спорах между различными церковными иерархиями! А великое благо в единстве церковном, особенно, когда оно может органически слиться с единством национальным, единственной здоровой и плодоносной почвой государственности! С тех пор как я живу в Югославии, где как будто и уживаются все три религии: православие, католицизм и магометанство, я вновь и еще сильнее чувствую, насколько был прав Хомяков, когда считал православие славянским вероисповеданием христианства. Спор православия и католицизма, т. е., правильнее сказать, натиск Рима сказывается. И особенно горько, хотя и косвен-

[1] Имеется в виду идиш. — *Прим. ред.*

[2] Русских и литовцев (лат.). — *Прим. ред.*

но сказался он в том кризисе, из которого пришлось выбраться умному королю Александру[9], путем, надеюсь временной, отмены парламентаризма. Оттого разве можно без внутреннего беспокойства подумать о белорусском крестьянине, вот этих безбородых русских, в серых самотканых кафтанах-пальто, которые и теперь, наверно, приезжают в Вильну из окрестных сел. На своих узких маленьких телегах в одну лошадку. Католицизм или православие?! А тут еще вклинивается, точно мало внесено смуты в сердца и умы, — униатство.

Спорятся теперь Шептицкий[10] с д'Эрбиньи[11]. Оба служат делу Вселенской Церкви, и оба не знают, что Церковь Вселенская в Духе, и оттого она Вечна, и оттого она Едина; во плоти же она не Едина, а Соборна, ибо плоть церковная — языцы, нации, народы Божии, населяющие просторы Земли. Но Шептицкий и д'Эрбиньи пекутся не о пастве, не о церкви верующих, не о спасении душ многих и многих малых сих, грешных, в скудости души пребывающих простолюдинов и просто верующих, простодушных и простых сердец. Весь спор о высшей иерархии. Оттого оба они могли бы по наивности попытаться, как это и сделал д'Эрбиньи, прельстить патриарха Варнаву[12] участием в Конклаве на выборах в Святые Отцы. Наивно, конечно, потому что никак не захочет кто-либо из православных патриархов снизойти до положения кардинала. В чем согласны и солидарны Шептицкий и д'Эрбиньи — традиционная игра, фикция, и сами верят ли они в то, что неудачи властного Иннокентия III и интриги Поссевиновы[13] когда-либо могут перестать быть неудачными и интригами при ком-либо из нынешних или грядущих пап? Но спор Шептицкого и д'Эрбиньи — не фикция; он действительность; он о смуте и скорби, об искушениях и совести живых людей. И мы все, православные, должны быть на стороне д'Эрбиньи. Мое с ним недавнее лобзание в его Instituto Orientale <Институте Востока> в Риме, по крайней мере с моей стороны, совсем не было лобзанием Иуды, а скорее снисходительным поцелуем ребенку, который игрушечных курочек приставил клевать настоящие зернышки. Верит или не верит, что поклюют? Вся малая паства в сотню с лишним человек архиепископа древней Трои и современной Москвы, отпустившего по этому случаю длинную бороду монсеньора д'Эрбиньи — курочки игрушечные, включая сюда и искреннего, как мне мнится, отца Кузьмина-Караваева[14], и не ведающего, что творит, по скудоумию своему отца Александра Волконского[15], говорят, будущего православного кардинала. Особенно же, да, особенно надо включить сюда и его великого друга, гениальную игрушку, играющего как верой отцов, так и причудами стиха и русской поэтической речи, Вячеслава Иванова. Совсем другое Шептицкий. И, кажется, так и докладывал он в Ватикан, что, мол, играется только и тем в искушение вводит д'Эрбиньи и с ним заодно весь т. наз. греческий рит (rito greco). Церковную политику, увы, кует он, Шептицкий.

Все сторонники и сотрудники д'Эрбиньи, к которым надо прибавить еще и беспомощно соревнующихся с ними монахов из Гротты Ферраты[16], в один голос проставляют и чин, и благочестие Православия. Особенно благолепными и прекрасными считают они наши службы и нашу церковную музыку: либо ту, что в наши годы великой русской эмиграции всюду, где есть русские, в 15 церквях Парижа, и по всему Западу, и по всем славянским землям, и в Америке, и на Дальнем Востоке любовно хранят и по ней молитвенно воспевают наши современные певчие, либо ту, древнюю, греческую, еще X в., что вычитали недавно ученые в греческих рукописях Гротты Ферраты. И замалчиваются догматические разногласия. Точно и нет их. Не спорят с нами, а хва<л>ят нас теперь самые важные католические прелаты. Только бы мы, т. е., конечно, не кое-какие немногочисленные миллионы греков, сербов, болгар и сирийцев, а именно *мы*, целых 150 или больше миллионов русских, согласились принести дары нашего благочестия главе великого и пресвятого Интернационала, Папе Римскому, спасая душу свою от III Интернационала, нечестивого и впавшего в безбожие. Не на зло, а на пользу эта игра. Только бы самим не стать игрушками. А как, разве можно это подумать, хоть одну единственную минуту, согласятся русские мужики, все равно — в косоворотках или в рубахах с прямыми воротами, усатые или в бородах или даже напялившие лохмотья блуз III Интернационала, духовно подчиниться Римско-католическому Интернационалу. Самую что ни на есть Римскую Папу над Церковью Христовой поставить. О Царе Православном, пожалуй, что и порядочно позабыли; нет к нему возврата! А вот уж совсем никак не потащатся, оправившись от пятилеток, горемычные, голодные и безземельные, как ни зазывай, под самую Римскую Папу; в Ватикане не пойдут в Каноссу.

Совсем другое Шептицкий. И только оттого вот и написались эти как будто лишние страницы, что вспомнились те виданные в раннем детстве безбородые белорусы на своих узеньких одноконных телегах. Тогда были полевшане; богатейшие леса Полесья покрывали их болотистые земли. Теперь сведены леса, остались одни болота, и живут и горюют, пашут на тощих песчаных боровых местах; в колтунах и нищете, нищете с голодными брюхами, набитыми картофелем. От комсомольских харчей не отъешься.

Те из них, которые униаты, давным-давно подчинились Риму. Но Католическая Церковь все-таки, как и для православных, была тем же важным польским паном, разъезжавшим кругом. На колени должны они были падать перед ним, а он звал их: быдло, скот. Скоты, а не церковь верующих. Парии, нечестивцы, вечно виновные, виноватые за те самые богослужебные древние великолепия, какие теперь принято в Ватикане прослав<л>ять и расхваливать. Такими были и остались, а под Шептицким и под нынешним польским режимом, как предмет нарочитой пропаганды. Ибо: — Какой там rito greco?! — возражает Шептиц-

кий, — добьюсь, вытравлю из них дурь! Сделаю из них самых что ни на есть католиков! И горше им, чем православным, за которых может заступиться и теория меньшинства, и демократизм, и особая православная автокефалия. Мучается за веру и о вере, а не просвещается униатское быдло!

Не сумело православие ни приласкать, ни привязать к себе униатов. Как вместо польского пана стремились посадить русского барина, так и вместо поляка-католика явился на смену Москаль. Хуже. Бедна землица, и ищут заработков белорусы. Одни на земляные работы, другие в прислуги; а вот третьи, те, что из полуинтеллигенции, на какую только службу не нанимались. Ну и в чиновники, в губернские управления, в полицию, т. е. в москали. А что это значит: в москали? Как становились москалями, так сейчас, что дольше, то больше, и тогда и над нами природными москалями возвышались: из белорусов набиралась опричнина Каткова. Кояловичи[17], Сазановичи[18]. Беда! Намучались намученные, раздробленные, но не перемолотые между двух жерновов, Ягеллонов и москалей, скорбные души и шли чуть не с отчаяния либо в то, что позже называли черной сотней, либо, по противоположности, в революционеры. Не складывалась и не сложилась местная жизнь, ни церковно, ни вне церкви. А что если бы памятник в Вильне поставили не Муравьеву-вешателю, а Симеону Полоцкому? Напомнили бы о князьях Острожских[19], отозвали бы Кояловичей от опричнины Каткова. Рассказывать бы Кояловичам о том, как в Виленской Иезуитской Коллегии, потому что скудно было учение на Москве, учились местные, и пришлые, и белорусы, и малорусы, как прибирался в Италии доктор Скорина[20], каким поистине авангардом, но не Польшу делить, а воспринимать цивилизацию еще задолго до Петра, помогали нам, москалям, ихние предки, и тогда тяготели к Москве, не пугались москалями, несли туда знания в обмен за подспорье против католической шляхты.

Я только двух помянул белорусских интеллигентов, какие запомнились. Позднее и других видел. Репетиторами часто нанимались и виленцы, и могилевцы, и витебцы. И слышал я от них белорусскую «Шуточную Энеиду», да поэму о том, как на самый Парнас пробрался Тарас, полесовщик. От обоих веет бурсой, XVIII веком, старинной, теперь изжитой, но своеобразной интеллигентностью. Может быть, и презирал эту литературу юный материалист-математик, называвший божницу лишней обузой; а тот другой, романтик, уж наверно, если бы знал, презирал бы создавший их упадочный классицизм. Но была же, была давно, вовсе не только в пяти газетах на разных языках, как после 1905 года, своя была, исконная, от Симеона Полоцкого — и оттого ему непременно надо было поставить памятник — местная и русская, православная и строго западническая культурная традиция, и ни при чем тут Катков.

Слышал ли я о чем-нибудь подобном тогда, ребенком? Нет, конечно. А все-таки какие-то чуть брезжившие в сознании проблески <о> роли православия и культурном русском влиянии в этом разноплеменном городке потеребили мое любопытство. Что-то смутное запомнилось.

Нас возили в женский монастырь. Родители были знакомы с игумен<ь>ей, и вообще нас принимали там как своих: не только на службу, в церковь, но по кельям.

А запомнилась мне только мать-игуменья. О ней принято было говорить: какая моложавая. Как ее звали и из каких она была, может быть, и тогда не знал. Во всяком случае, образованная. И, наверно, дельная. Чистота и порядок врезались в память. Чинно все было. И приветливо, с особым тактом, принимала эта моложавая, с правильными чертами лица, чуть что не совсем красавица, мать-игуменья в залитой солнцем гостиной своих покоев. Ну, конечно, диван, тяжелый, красного дерева, перед ним — стол, накрытый пестрой салфеткой, с вышивкой на сюжет из Священного Писания. От стола в два ряда кресла того же фасона, что и диван. Между окнами простеночные зеркала, против окон клетки с веселыми канарейками. Портреты владыки и членов императорской фамилии по стенам. И неслышно скользят по ярко начищенному паркету проворные молодые послушницы, угощая гостей чем-нибудь необычным, сластями своего изделия и самыми что ни на есть русскими. И разговор чинный и такой по-особенному русский. Островок или, лучше бы сказать, маленький живой музей исконной московской России.

Разве это не центр новой, насаждаемой здесь после 1863 года, обрушавшей край цивилизации? Разве не должна была служить прикрасой моложавая мать-игуменья? И разве не для того была она именно сюда назначена, чтобы оказать влияние, чем-то послужить. Ведь не спасенье от суеты мирской было назначением этого женского монастыря под Вильной. Будто чего-то такого и ждали от него.

Раз отец спросил мать-игуменью что-то вроде чего-либо подобного, будто: ну, как подвигается ваша деятельность? Не этими, понятное дело, словами.

— Да вот на этой неделе одного еврея крестили, — ответила игуменья.

— Ну, еврея, это не важно, — возразил отец. — Вот вы бы католиков обращали в православие.

Евреи на то и евреи. Им так полагается. Зачем их крестить? В этом отцу, очевидно, не виделось никакого ни политического, ни вероисповедного интереса. А может быть, и в искренность таких обращений не очень-то верилось. Надо было помнить: не тот жид, кто еврей, тот жид, кто жид. Под этим заглавием я видел в Польше пьесу, и ей евреи придавали большое значение. Правда, помню я от этой пьесы только то, что какой-то чернобородый человек со сверкавшими направо и налево глазами, может быть, и потому, что не знал роли (едва ли не

он-то и был жид), лез в картонное окошко по лестничке, которую с собой принес, и я запомнил, что это с его стороны был очень худой поступок. Вот если такого окрестить — зачем? Все равно будет лазить в окна.

Едва ли мог отец серьезно верить и в возможность обращения католиков в православие. Не в этом, конечно, было дело.

Не об униатах надо, конечно, думать.

И разве не могли такие моложавые матери-игуменьи — пожалуй, именно женщины — омолодить задряхлевшую после Симеона Полоцкого западнорусскую цивилизацию? Дождались мы, когда пошла совсем другим путем, с ближайшего запада, от польской шляхты, с отравой сепаратизма, сея новую смуту, с лукавством, с историческими и иными подтасовками, и точно мстит за свое закрытие Виленский университет, вскормивший Мицкевича и Лелевеля, и теперь воскресший для распространения шляхетской для того края, польской цивилизации.

Вильна, маленький город

И теперь — небольшой город Вильна, а в дни моего детства совсем был крошечный.

Выйти за город ничего не стоило. И было две, т<ак> ск<азать>, классические прогулки. Одна вверх по Вилии в Закрет. За большим зданием Юнкерского училища тянулся густой сосновый лес, куда-то далеко по крутому берегу реки. Стройные, ровные деревья не давали траве густо разрастаться, и словно парк, нарочно для гулянья был этот лес. А в противоположном направлении от центра города сейчас, за Соборной площадью, тоже кончался городок. Надо было взять простой грунтовой дорожкой вверх по ручью, за которым возвышалась высокая гора. Ее как будто звали Замковой. По этой дорожке зимой доходили до полянки, где устраивался из замерзшей лужи ледяной каток. Летом же дальше в гору сад Клуба, а за ним уж опять совсем конец города, и тянулись по холмам те самые сосновые рощи, о которых мне мой товарищ по рисовальной школе, будущий художник, Сегаль, рассказывал такие интересные вещи.

За Остробраму и за Вилию мы никогда не ходили гулять. Незачем было. Но и там рукой подать до окраины. Дальше протянулся разве Антоколь; это предместье: мы там прожили одну зиму. Если идти от центра города, дорога на Антоколь потянется левее Клуба.

Главное украшение теперешней Вильны составляет прелестный городской сад по склонам той высокой и крутой горы, что я назвал Замковой. В те далекие годы, т. е. полста лет тому назад, ничего и похожего не было. И какой-то таинственностью была окружена эта гора. Ведь она подымалась сейчас за Соборной площадью, а рядом с собором высилась старинная башня Ольгерда или Гедимина, и сказывали, что некогда там было капище огнепоклонников. А гора-то тоже

Ольгердова или Гедиминова, оттуда и от нее тоже веяло тайными преданиями. А туда еще совсем не пускали, значит, еще таинственнее. Да и как было к ней проникнуть — совсем неизвестно. Запретное, заклятое место. Отсюда как же это мальчику, проходя чуть ли не каждый день мимо, не строить проектов, как бы это все-таки взобраться, да на самую вышку, и своими собственными глазами убедиться, что же там такое необыкновенное: какой это там замок?

Как-то один, вероятно, это было в какой-нибудь промежуток между двух гувернеров, я этот долго таившийся в моей душе план возьми да и осуществи.

Самое трудное — и я это превосходно знал — переправа через окаймлявший основание горы ручей. Не то что широкий, а глубина — чего там? Не по пояс же. Нет. Дно у ручья гиблое, трясина. Однако, не помню как, я ухитрился, наверно, по какому-нибудь суку, — самое главное удалось: оказался по ту сторону ручья. Тогда началось — просто. Только снизу бы не увидели. По зарослям, по-за деревьями, все выше и выше, и наконец добрался до самой верхушки. Ну, конечно, вид чудесный. Теперь это все самые прозаические виленские жители прекрасно знают. Но разве в этом был интерес для меня, десятилетнего мальчика? Нет, вовсе я не попал в мир сказочных чудес. Вот одно из разочарований моей души. Оказалось, что передо мной какое-то серенькое зданьице, и это на самом верху! Какое оно, кто его знает? Но приспособлено под обсерваторию, и хранит его сторож, совсем добродушный инвалид, от которого пахнет табаком и ржаным хлебом. Даже не уди<ви>лся, когда меня увидел. Пробормотал, разумеется, для порядку:

— Не велено.

Однако даже трубу подзорную показал и научил, как вниз спуститься.

Дома, где был, я, конечно, не рассказал.

Когда вторично, через четверть века, я подымался на ту же гору по дорожкам городского сада, чуть не на каждой скамейке сидела курсистка-еврейка или во всяком случае еврейка, похожая на курсистку. И непременно с книжкой. Может быть, к экзаменам готовились в каком-нибудь нашем или заграничном университете. Наверное, ни одной из них и не снилось, что вот тут теперь, в самом центре города, можно было иметь даже и рискованное, а во всяком случае занятное приключение. В самом деле. Так мещан<с>ки прилизана и благоустроена стала гора.

Спустившись, только перейти через площадь, направо — краса города, Георгиевский бульвар, правда, все еще, вероятно, и теперь довольно жалкий, а налево или миновать прежний генерал-губернаторский дв<о>рец (что-то там при поляках?), сейчас, рукой подать, главная улица, расширявшаяся в площадь, раньше чем подползти под священные ворота Матки Божки Ченстохо<в>ской[21], а еще ближе немецкая улица, в ино<е> время — еврейский квартал.

К достопримечательностям тогдашней Вильны надо, однако, еще прибавить генерал-губернатора Альбединского[22].

Мои родители не принадлежали к его двору, хотя и были, конечно, знакомы. Я же видел Альбединского все больше в спину. Даже, помнится, хотелось посмотреть его спереди, потому что он носил особенно пышные подусники и считался красавцем. Однако все не удавалось. И вот почему. Нас водили по воскресеньям в дворцовую церковь. А Альбединский с дочерьми, сыном: девочки, подростки, и сын совсем маленький, всегда стояли впереди на ковре, возле правого клироса. Оттого всю службу приходилось видеть в спину самого Альбединского, носившего форму Гродненского гусарского полка, и любоваться его статной фигурой и великолепным задним пробором через всю голову. Спереди был клок, и виски зачесаны вперед, и тем сильнее было влечение удивить ею с лица, а не только с затылка. Между тем и его семью — значит, и детей я видел тоже только в спину, никогда не оборачивались и ни с кем не здоровались, простаивая так чинно и неподвижно всю службу, как это умели делать все благовоспитанные православные. Вдобавок позади девочек стоял еще их гувернер, учитель Пенкин, в вице-мундире, и это обстоятельство еще больше напрягало интерес: как это, у девочек — и вдруг гувернер? О гувернантке же никогда не было речи. Еще дразнило воображение и то, что г<оспо>жа Альбединская, урожденная княгиня Долгорукова[23], в церкви не показывалась, а говорили, будто было нарочно проделано для нее из внутренних покоев большое окно, и она присутствовала на обедне, не входя в церковь. Ну, разве это не великолепно?! Такой особый этикет в таком маленьком городке!

Моя жена гораздо позднее была знакома с барышнями Альбединскими, хотя и старшими ее на порядочно лет, и когда я о них вспоминал, всегда вспоминал тот придворный этикет, каким они были окружены, хотя теперь барышни как барышни. А гувернер? А окно в церковь из внутренних покоев <?> Но особенно красавец отец, в гусарской форме, как будто даже не совсем подходившей для пожилого человека, да еще и генерал-губернатора, чуть что не наместника. Да, красавец, и говорили о нем, что карьеру сделал красотой и нарядностью. При дворе принята была такая репутация.

— Первый на коне и первый на паркете!

Вот оно что.

Знакомые и друзья

Я стою рядом с каким-то органчиком, похожим на закрытый рояль. Со мной рядом на коленях красивая девушка с грустными глазами. Она старшая в семье. Значит, очень на возрасте, и мне как-то ее жаль: такая красивая, а замуж не вышла. Девушка вертит рукоятку органа, и слышатся звуки. Это она забавляет меня, маленького мальчика. Не могу забыть, как она сказала:

— Ведь это — «На пути село большое»!

Сжалось сердце, и до сих пор волнует. Знал, что есть такая песня: «Вот на пути село большое», но, очевидно, не узнал мотива, и это обнаружилось! Срам какой! Скрывать хотелось — но как? не спрячешься: нет слуха, нет слуха, немузыкален, нет слуха!.. Вередило. И сейчас больше всего вот этого не могу себе простить.

Произошел этот случай в низеньком особняке, на самой опушке Закрета, где жила семья Урусовых. Говорили, что они бедны, но что старая княжна — урожденная графиня Толстая, родная сестра тогдашнего министра Народного просвещения, знаменитого поборника классицизма. Зачем эти Урусовы жили в Вильне, не знаю. Сам князь был уже старый, весь белый, с большой круглой бородой и зачесанными вперед висками. Монокль на черном шнурке так своеобразно гармонировал с широкой бородой. Впечатление от него сохранилось как от не в меру шибко пожившего барина, теперь немного опустившегося и живущего скорее в прошлом, несмотря на подросших детей. Вдобавок все члены семьи, сама княжна, четыре дочери и сын-мальчик, были крупные, даже как будто дородные, а только старичок, не в меру шибко поживший когда-то отец, казался или на самом деле был среди них затерян.

Та девушка, что, стоя на коленях, вертела для меня ручку органчика, была самая старшая из четырех барышень, княжна Мэри[24]. Она потом вышла за какого-то не очень удачного князя Голицына[25], служившего по коннозаводству. Дальше шла Китти и еще две взрослые барышни, имен которых не помню, хотя с одной из них, вышедшей замуж за Бельгарда[26] (главного цензора), мы с женой обменялись перед самой войной визитами. Княжон я особенно хорошо помню, потому что они приезжали в четырех местных санях, запряженных парой очень ненарядных лошадей, кататься на коньках. Так и приезжали в коньках. А тогда еще были они с деревяшками, привинчивавшиеся к каблукам и туго зацепленные ремнями. Ото всего этого веяло оскудевшим, хотя все еще важным, благовоспитанным и самым что ни на есть приличным барством. Потрепанные шубы и отличный английский язык, мрачный и даже неряшливый особнячок на окраине и та изощренная простота в обращении, которая самый лучший из признаков светскости.

У этих барышень был брат, Коля[27], возрастом посередине между мною и братом. Он после кончил Лицей. Не он ли тот либеральный князь Урусов, написавший «Записки губернатора»?[1]

Странно, почему мне так врезалось в память это семейство Урусовых. Как живые, они сами и их домик да их пара серых лошадей стоят передо мною через целое полустолетие. А вот как жили Столыпины, совсем улетучилось из памяти, хотя ведь это г<оспо>жа Столыпина назвала меня: le petit Tiers <маленький третий>, а ее сын, Петя, будущий премьер-министр Петр Аркадьевич, сохранил

[1] Автор «Записок губернатора» — С. Д. Урусов. — *Прим. ред.*

с моим братом самые дружеские отношения до самой смерти. Со вторым же из живших тогда при родителях мальчиком, Сашей[28], будущим журналистом, я по-разному и в разное время, от самого университета и до беженских лет здесь в Сербии, и встречался, и сталкивался.

Отец этих братьев Столыпиных, по-видимому, командовал в Вильне пехотной дивизией. Был статный и очень выдержанный в манерах генерал, но больше о нем ничего не знаю. Ну, конечно, гораздо больше о его жене, урожденной княжне Горчаковой[29]. Курносая, как все Горчаковы, живая, простая в обращении и очень образованная, она имела репутацию все слова говорить без всякого стеснения, какие обыкновенно дамы и между собой не имеют привычки выговаривать. И одевалась она сама и дети, а у них это осталось навсегда, не то что просто и не по моде, а как попало. Пока не заговорят своим шепеляво-картавым произношением с каким-то семейным всхлипыванием, ни за что не определить, кто такие, разве что рослые. И уже студентами в Петербурге, принадлежа к тому, что называется золотой молодежью, братья Столыпины носили какие-то длиннополые черные пары, какие можно было видеть на семинаристах. Впрочем, кончали гимназию оба брата Столыпиных где-то, кажется, в Саратове и, может быть, оттого в Петербург, в Университет, приехали провинциалами.

Семья их, как и Урусовых, была большая. Старший брат, уже взрослый, не жил с родителями и как будто только раз приезжал в Вильну: толстый, в усах, штатский и, не знаю, так ли это, с репутацией литератора. Второй брат — тоже взрослый, офицер Преображенского полка. Его я никогда не видел. Он рано умер, и говорили, что Петр женился на его бывшей невесте, сестре его товарищей Нейдгардтов[30]. Была и дочь, барышня-подросток, будущая г<оспо>жа Нейдгардт. Ее и лица не помню. Самым блестящим в семье считался младший — Александр. Он такой и был. Петр напротив. Оба они по возрасту подходили к моему брату, одновременно с ним поступили в гимназию, и, конечно, мне никак не компания. Однако едва ли я ошибусь, если скажу, что тогда — настолько я их знал — нельзя бы счесть Петра будущим энергичным и решительным, большим оратором и человеком значительных государственных способностей, как о нем принято теперь думать. Совсем напротив: довольно бесцветный, будто даже и не очень умный, вот какое он производил впечатление.

Семья Столыпиных дала в лице Петра — историческое лицо. Оттого было естественно, раз я их знал, оговорить это знакомство. Но мне не утерпеть внести в мою портретную галерею одну семью знакомых, которые ничем не выдавались.

Это — Крыловы. Памятны они мне лишь потому, что дочь, еще подросток, некрасивая, но очень милая, часто каталась на коньках, и оттого ее немного неуклюжая фигура Back-fisch'a <девочки-подростка>, неправильные черты лица и приветливая улыбка — будто я только что ее видел. Отец семейства, генерал Крылов,

командовал кавалерийской бригадой. Тоже был неказист, а на лошади казался сутуловатым, с одним плечом выше другого. Жены его наружность тоже не сгладилась, сейчас бы узнал. Светская женщина с чертами лица, которые дочь унаследовала, увы, не впрок. Еще не старая, и за ней ухаживали, кому-то нравилась. Два младших сына были еще меньше меня возрастом. Одного из них я после видел. Он кончил Пажеский корпус и вышел в лейб-уланы. В Петергофе я с ним и встречался.

Но пора перейти к семьям не знакомых, а друзей, с кем близкие отношения продолжались в Петербурге.

Только отчего мне стало жутко от того, что я написал. Добро бы были, действительно, портреты. Сами бы они имели свою ценность, независимо от живых людей, которых изобразили. Но ведь у меня это не так, я почти только назвал или, вернее, вызвал, да, вызвал, потревожил, не спросясь; хуже, я потревожил тени чьих-то матерей, отцов, дедов, точно покощунствовал над чужими семейными склепами. Так это или нет?

Так, так! Но прежняя Россия не состояла из холодных формул, какие создают историки, из социологических выкладок. Выйдите же, тени прошлого, из вашего святого небытия, тени сжившие, а, может быть, кое-кто из вас и сами живые. И не стыдитесь, что не облечены вы в четкие контуры и яркие краски, в какие бы одели вас умелые портретисты! Разве вы не победили мрак тем самым, что вы проснулись?

Вот сейчас мне надо писать о семье Веревкиных, а Петр Владимирович Веревкин[31], друг моего покойного брата, жив, и у него есть дети, вернее всего, и внуки. Он член литовского Парламента в том самом городе Ковне, где он был губернатором и где я его видел при совершенно особых обстоятельствах, о которых гораздо дальше. Общественные люди, писатели, художники, ученые, политики, все они по необходимости должны говорить о себе, как Лев Толстой, когда Репин захотел его зарисовать во время молитвы, и они — девушки, потерявшие стыд своей наготы. Но П. Вл. Веревкин частный человек, и для него я также частный человек. Какое ему дело, что я писатель! Оттого тут еще одно волнующее меня обстоятельство. Оно может быть разрешено уже только на моральной почве. Даже когда дает рекомендацию, которая ведь непременно хвалебна, принято не запечатывать письма, чтобы то лицо, о ком идет речь, могло само знать, что о нем сказано, а я собираюсь, никого не предупредив, т<ак> ск<азать>, пересуживать с самим собою людей, с которыми сталкивала жизнь. А разве я это делаю только с самим собою. Нет, должно быть ясно: эта моя книга подымает в моей совести не разрешенную в ней этическую проблему.

Не преодолев этих последних сомнений, я и стану, все-таки стану рассказывать, какою помню семью Веревкиных в Вильне, когда мне едва минуло десять лет.

Главным лицом в доме была мать г-жи Веревкиной, решительная, властная старуха Дараган. Она заведовала воспитанием детей, и не знаю, сам ли слышал или только рассказывали, что при гостях она не стеснялась прикрикнуть.

— Viens que je te donne un soufflet devant tout le monde <Иди сюда, чтобы я тебе дала пощечину у всех на глазах>.

Причесывалась она с буклями на ушах и платья носила с пелеринками, прямые и отороченные воланами.

Ее мои родители знали и раньше, т<ак> к<ак> Дараганы были боровицкими помещиками. И там, в деревне, оставшись вдовой со многими детьми, эта энергичная дама справлялась — надо думать, особенно-то в крепостную пору! — по всей своей воле.

Рядом с ней совсем в тень отходила ее дочь-красавица, с правильными чертами Дараганов, тихая и очень добрая, нежная к детям женщина. Даже сам генерал, Владимир Николаевич, отец семейства, как будто вовсе не проявлял своего сурового, как говорили, характера. Севастопольский герой и Георгиевский кавалер, он имел репутацию особой жестокости, и даже в молодости не из-за какой-то истории со своей ротой вышел из лейб-гвардии Измайловского полка? Говорили, что в день своей серебряной свадьбы он подарил жене браслет с Георгиевским крестом в знак того, что прожить с мужем, у которого заведомо такой тяжелый характер, как у него, настоящий подвиг.

Однако никогда за долгое и близкое знакомство с Веревкиными мне не пришлось ни присутствовать, ни слышать о проявлении его суровости или вспыльчивости. Разве в глазах, совершенно прозрачных, можно было прочесть жестокость. Напротив. Надолго оставшиеся почти что розовыми полные щеки, не топорщившиеся усы и закругленный овал лица, под светлыми волосами, казалось, говорили скорее о мягкости. Особенно руки его, когда он здоровался, бывали до приторности мягки. В Вильне Вл. И. Веревкин был начальником местных войск, и, значит, не было повода особенно муштровать своих подчиненных.

Детей было трое. Старшая, Марианна[32] — тогда уже подросток. Она была старше и своего и моего брата больше чем на год. В конец нашего пребывания в Вильне ходила уже в полудлинных платьях, по щиколотку. Без корсета, как полагалось девочкам до 12 лет, я ее не видел. Похожая на мать, но не такая красивая и высокая, она выровнялась гораздо позднее, девочкой ее портили немного свислые щеки, тоже особенность Дараганов. Статная и с очень самостоятельным характером, она и этим казалась старше своих лет. Ее художественные вкусы, будущего живописца, уже сказывались, но еще резче и решительнее, чем вкус к живописи, и что проявлялось особенно по отношению к младшему брату, Вале, — Марианна была воспитатель, руководитель, натура властная, вся в бабушку. И если я вспоминаю ее через много лет в Петербурге, когда между нами даже как будто

завязалась некоторая дружба и она стала образованной, отзывчивой и уже добивавшейся известности художницей, точно это другая Марианна, теперь такая симпатичная и приветливая, выдающаяся из обыденных, блестящая девушка.

Главный предмет ее педагогических и властолюбивых вожделений, маленький Вала был некрасивый, в уродливых очках, нежно-забитый и бесцветный. Какое-то чувство жалости вызывал его не перестававший, неестественный и какой-то хриплый, точно заискивающий смешок, привычка, оставшаяся у него навсегда.

Любимцем и настоящим героем в доме был, конечно, Петя — Pierre, будущий красавец, с отцовскими злыми глазами, но на деле вовсе не такой. Статный и широкоплечий, выше отца, с правильным профилем на круглом лице, тогда в Вильне он знаменит был шалостями. Из гимназии выгнали за дурное поведение, и его пришлось перевести в прогимназию. Странное прошлое для будущего фельдфебеля Пажеского корпуса. А все, и бабушка, и мать, и сестра, и маленький брат — в нем души не чаяли.

Веревкины стали друзьями главным образом через брата, мои только косвенно. Ни с отцом, ни с матерью особой близости не было. Напротив, Лермонтовы и Карцовы — друзья через мать, кроме одного Сережи Лермонтова[33], — Боже мой, уж сколько десятилетий! он Сергей Александрович, — с которым временно мы с братом очень сблизились.

Странное это было семейство Лермонтовых; что-то и чисто физически было в них неестественное.

Александра Федоровна Лермонтова[34], урожденная баронесса Стюарт, вышла замуж за своего очень близкого родственника, может быть, и двоюродного брата и своего тезку, Александра Федоровича Лермонтова[35], красивого и статного, только в молодости был довольно полон — не Кирасира ли Его Величества? — который, когда мы жили в Вильне, командовал драгунами Военного ордена. Уверяли, что именно из-за этого только старший сын, Миша[36], вышел только нормальный, т. е. высокий и статный. Сама Александра Федоровна была тоже скорее высокого роста, но вот следующие дети один за другим — Сережа, Дина и младший, моложе меня, которого звали Зокль, все оказались почти карликами. Только у самого младшего не было в лице карликовых черт. И в чем иначе тут было дело, как понять? Дурной наследственности предположить трудно. У брата Александры Федоровны, бар<она> Стюарта[37], служившего довольно важно в Министерстве иностранных дел, известного остряка, оба мальчика были хоть куда. А сам Лермонтов, неугомонный бабник, от кого-то прижил совсем хорошенькую дочку, почти ровесницу Дины. Разве что как-нибудь в сердцах на свою быстро ставшую совсем некрасивой, сутулую и с капризно вывороченными ноздрями, еще вдобавок и с отвратительным характером, законную подругу жизни красавец Лермонтов нарочно таких детей не вывел.

Да, характера Александра Федоровна была бедового. Доставалось от нее детям. Раз Дина мне сказала:

— Мамаша дерется, как на войне.

А Сережу, пользуясь его маленьким ростом, как по железной дороге ехать, одевала совсем как bébé <ребенка>, чтобы четверть билета платить. И тяжесть какая-то легла на это семейство. Позднее, в Петербурге, я обедал у них из посторонних только один. И сам тогда генерал Лермонтов, и все дети сидели за столом. Но гробовое молчание. Весь обед никто не проронил слова. Только Александра Федоровна что-то наворчала на подававшего человека. Когда встали из-за стола, я спрашиваю:

— Что это случилось?

— Да у нас всегда так.

И Мишу, старшего, я долго считал самым неразговорчивым молодым человеком на свете, пока не встретил его уже уланом в Петергофе, и тогда оказалось, что он превеселый, остряк и мастерски рассказывает анекдоты про прусских офицеров.

Но, очевидно, как было им разойтись? Держало всех вместе, в том числе и отца, состояние Александры Федоровны, которое было в Бессарабских землях. Очевидно, и по службе лучше было по крайней мере считаться, что живут вместе. Особенно позднее в Петербурге, когда Лермонтов получил Кирасира Ее Величества в Гатчине. К тому же семья в Петербурге, а он в Гатчине.

В Вильну Александра Федоровна только наезжала, и я помню их жившими в гостинице. Только лето раз мы провели одновременно в Дуббельне под Ригой. Знакомство и дружеские отношения моей матери восходили к девичеству матери. Александра Федоровна и всю нашу родню по матери отлично знала. Лермонтовы были самые петербургские из всех наших знакомых. Но так же, как мы, давно не жили в Петербурге, и Александра Федоровна все разъезжала больше, как говорилось, по заграницам, преимущественно в Германии, по курортам местным. И налет на них был такой особенный, ничего помещичьего, деревенского, строго русского: вещи, привычки, даже кушанья за обедом, все было заграничное; оттого и по-немецки хорошо знали, а дети учились неопределенно. Миша был паж, но Сережа какого-то полудомашнего воспитания и после с большим трудом выдержал экзамен в Лицей, но как-то там не пошло, и не кончил. Дина, думается мне, совсем никакого образования не получила и так ни в каком учебном заведении и не была. Младший, которого я запомнил в кандидатской пажеской форме, т. е. в мундирчике и кепи, только без погон, не успел никуда поступить, потому что рано умер.

Такое заграничное семейство были и Карцовы. И они были в Вильне только наездом из-за какого-то процесса. Г-жа Карцова была вдовой уже старой, очень

приветливой, и с детьми у нее были самые сердечные отношения. Детей у нее было трое. Старший, Юрий[38], не жил с ними: он либо кончил курс в Лицее, либо уже поступил в Министерство иностранных дел. Я и познакомился с ним, когда уже был женат, в Лондоне. Его тогда после ранения где-то в Малой Азии перевели нашим консулом в Hall. Младшие, Андрей[39] и Ольга[40], были подростки. Они тоже ни в каких учебных заведениях не учились, как и Лермонтовы. Но Андрей готовился в Лицей, куда и поступил. Судьба всех мальчиков тогдашнего времени, родители которых их слишком долго возили с собою по заграницам. Зато и Андрей, и особенно его сестра — я думаю, что я уже тогда ее называл Ольга Сергеевна, — были очень начитанны. Запоем читали. Ольга Сергеевна рассказывала, смеясь, как они пойдут купить французский роман в книжный магазин и, принеся домой, скоро-скоро пробегут, не разрезая, и затем назад в магазин: мол, не понравилось, дайте что-нибудь другое.

Очень была милая и живая Ольга Сергеевна. Черты лица не то чтобы красивые, но миловидные, а сама вся круглая, как шарик игрушечный, и очень меня одобряла за хороший французский язык. Когда меня брали к ним, было легко и уютно. Главное, меня не развлекали, а давали, как тогда про меня говорили, «разглагольствовать». Ведь и был «le petit Tiers», а не совсем было забыто и прозвище «премудрый Соломошка». Но что я такое говорил и вообще можно ли было меня тогда назвать умным мальчиком, совсем не помню. Во всяком случае, никакого не был о себе мнения.

Еще два семейства. На этот раз сослуживцев моего отца, которых, впрочем, как и на Кавказе, мы мало знали.

Одно из них — барона Остен-Сакена[41], женатого на Зыбиной[42]. Но о них дальше.

Другие — это Фаминцыны. Мы виделись с ними в том году, когда жили на Антоколе. Скромные люди. Памятен мне сам капитан Фаминцын[43], может быть, потому что часто после я видел его фотографии. Какой-то испуганный был у него взгляд. Вся его фигура говорила: вот я выбился из нищеты армейского офицера, кончил Академию, состою по Военно-судному ведомству; но все еще тяжело, когда-то штаб-офицерство! Тогда легче станет нам жить с моей большой семьей. А семья была правда немалая. Не очень-то помню его детей, но, когда мы приходили, неприятно было от спертого воздуха детской и какой-то общей, всей семьи, забитости. Книжки свои показывали дети. Книжки-то и врезались в память. Старинные, много были читаны, потрепанные. Главное, странно напечатаны: не дитя, а *дишя*. Выходило *диша*. Тогда же я узнал, что в XVIII веке еще не было знака Т, а писали Ш. И произвело своеобразное впечатление. Как-то слилось с убожеством семьи. Вот так у бедных людей: *диша*. Что-то спертое, как воздух в ихних детских. Хочется отворить форточку. Нет-нет — не надо. Подальше от этой спертости, застарелости, забитости. Совсем не было чувства: нет, вот мы

не такие. Какое-то чванство. Совсем нет, а именно какой-то внутренний голос: не хочу, не надо, не дай-то Бог, чтобы с нами было так. Преследовало, словно угроза, это застарелое: *диша*.

А так дома красные томики, тисненные золотом Bibliothéque Rose <«Розовой библиотеки»>, и эти излюбленные книжки: «Le bon petit Diable» <«Добрый маленький чертенок»> и «Les mémoires d'un âne» <«Записки осла»>[44]. Через семейство Фаминцыных как будто лучше, яснее, почти сознательно оценивались французские книги, и просто знание французского и немецкого, и скажу без обиняков, и та среда или тот слой общества, к которому мы принадлежали.

Да, Урусовы, Веревкины, Карцовы, Столыпины, Лермонтовы — там простор, там нет спертости. И когда я теперь, стариком, пишу эти строки, не боясь дешевого демократизма, мне кажется, что в душе ребенка — все в будущем, пророчество о себе, его едва пробрезжившее сознание. Не жизнь ведет и приказывает, а ребенок с малых лет пророчествует свою жизнь. Оттого при наших скромных средствах и, конечно, полном отсутствии знатности — кажется даже, что наша линия из всех Аничковых единственная мало-мальски светская, — словно сказочный перекресток оказался перед нами с братом еще детьми: или кое-как, без напряжений и усилий, хоть не опуститься и тогда — Фаминцыны, которые, разумеется, были такие же дворяне, как и мы, или — что? не опускаться, почваниться — и не убоюсь этого слова — и кое-какие усилия, чтобы это удалось…

<Конец 2-й тетради>

Скоплье <Скопье> и Париж
начато 4/XII 29

Обстановка и нравы

Вот и вызвал из забытья мертвых и еле живых. А к тому времени, когда эти очерки, может быть, и увидят свет, не останется в живых и этих последних.

Как же жили больше чем полстолетия тому назад эти люди прошлого режима, безвозвратно ушедшего в даль времен, проклятого одними, а другими, напротив, восхваляемого, но, по существу, и для тех, и для других оставшегося неразгаданным?

Та по преимуществу военная среда, к какой принадлежали наши знакомые и друзья, была в Вильне пришлой. И это важно, потому что требования, предъявляемые к окружавшей обстановке, были минимальные. Удовлетворялись самые необходимые и считавшиеся необходимыми потребности. Только то, без чего никак нельзя. Найти подходящую квартиру значило куда-то въехать, где как-то можно было устроиться. И вот первое, самое простое: гостиная, столовая и кабинет, кроме нескольких внутренних комнат, спален, детских, шкапной, туалетной,

буфета и комнат для прислуги. Все это требовало простора. Располагались широко и, что составляет непременную особенность той среды, о которой здесь идет <речь>, никаких только или нарочито парадных комнат не полагалось. Над этим смеялись. Сколько бы ни было гостиных: одна, две, три, все были жилые. Только одна особенность, какую вывела последующая гигиена. Спальня считалась тоже жилой. И в ней, соответственно, мягкая мебель, рабочий столик, вообще в ней сидела хозяйка дома и даже принимала более близких знакомых. Кровати же обыкновенно были закрыты альковами или перегородкой.

Главная особенность самой меблировки 70-х годов, еще преувеличенная в 80-х, выражалась в расточительной трате материй. Мода точно вторила потребностям текстильной промышленности, переживавшей медовый месяц своего фабричного производства. Низкие, мягкие, обитые кретонами, полушелками, репсами, без признака дерева кресла, диваны и пуфы, сидя на которых, надо было либо неестественно подгибать, либо вытягивать ноги, не зная, позволительно ли совсем в них развалиться, а главное убранство — тяжелые портьеры на окнах и дверях, с воланами, плиссе и подхватами, и все это еще отделанное бахромой с кистями и какими-то толстыми шнурами. Вместе с коврами на полу и коврами на стенах все это придавало какую-то подушечную приторность. Но надо отдать справедливость, что никогда не были так уютны гостиные, как именно в 70–80-х годах. От хозяйки дома требовалось особое умение расставить мебель. Моя мать это искусство проникла в совершенстве. Прежде всего никак нельзя было допустить, чтобы мебель стояла у стены. Вся выдвигалась на середку и расставлялась так, чтобы оказалось несколько, смотря по величине гостиной, отдельных compartiments <отсеков>, т. е. комбинаций диванчиков, кресел, столов и геридонов[1], чтобы можно было нескольким людям рассесться для разговоров, никакой мебели не переселяя и отделяясь группами от других сидящих в той же гостиной. И все это должно было принимать жилой вид. Это значило, что на всех столах должны были лежать какие-нибудь вещи. Вообще гостиная должна была быть завалена не то что безделушками, а именно вещами. Тут входили в свои права и старинные вещи, альбомы, лампы, переделанные из масляных под керосиновые, подсвечники, канделяб<р>ы, бюсты, пепельницы и спичечницы (на случай, что позволят курить) и, наконец и непременно, несколько книжек с вложенными в них причудливыми ножами резать бумагу, а то еще начатая работа хозяйки дома: какая-нибудь broderie anglaise <английская вышивка>.

На стенах, конечно, картины, и непременно масляными красками. Фотографии еще не приобрели права гражданства, и их развешивали только в кабинетах и спальнях. Самое же недопустимое — это новинка того времени — олеографии.

---

[1] Круглых столиков на одной ножке. — *Прим. ред.*

Если были замысловатые зеркала, напр<имер> венецианские, они тоже могли украшать гостиные. Однако артистизма не было вовсе. Природный вкус заменял художественное понимание. Так, вкус предписывал, что лучше придерживаться каких-нибудь старинных, по наследству доставшихся картин — какой они там школы, кто их знает? — чем что-нибудь современное, разве пейзаж. Вообще же градация такая: иностранный сюжет лучше русского, пейзаж лучше жанра; все, что постарше и оттого не так ярко красками, тоже; во всяком случае, что бы оно ни изображало, все старое гораздо приятнее. И необходимо прибавить: ничто, находящееся в гостиной, не рассматривалось. Гость или гостья должны были обращать внимание только на собеседника, даже осмотреться по сторонам считалось признаком дурного тона. И только уже пожилой человек, особенно если он слыл знатоком, мог себе позволить похвалить какую-нибудь вещь. Нечего и говорить, что для развлечения гостей в приличном обществе не полагалось заставлять гостя рассматривать альбомы или смотреть картинки в каком-либо издании.

Согласно с теми же правилами были устроены и кабинеты, и спальни, с прибавлением необходимого в кабинете письменного стола, а в спальне, кроме рабочего стола, еще туалетного, либо отделанного кружевами, либо старинного, с движущимся на шарнире зеркалом. Строги и холодны, только с одной деревянной мебелью, были столовые.

Но столовые принадлежали скорее к внутренним комнатам. Оттого считалось очень неудобным, если столовая прямо из передней. Да, кстати сказать, в той среде, в которой прошло мое детство, и у всех моих родственников хлебосольство, в смысле непременного угощения гостей, когда бы они ни пришли, вовсе не полагалось. Дневной чай в те времена еще не был принят, потому что обедали рано, от пяти до шести. Только вечерний чай — если кто-нибудь то, что называлось «заходил на огонек» — подавался немного тщательнее, и уж без чая гость или гостья уйти не могли. Хлебосольство же имело определенные градации, т<ак> ск<азать>, формулы, касаясь исключительно завтраков и обедов. Градации были такие: можно было «дать обед»; это, конечно, самое торжественное, и приглашения заранее, со сложными соображениями, кого с кем, когда, по какому случаю. Проще «пригласить обедать» обыкновенно с прибавкой «запросто» или, интимнее, «чем Бог послал». Следующая стадия хлебосольства, и она, пожалуй, и есть хлебосольство: когда кто-либо приходил в близкую к обеду пору, не дать ему заторопиться. Называлось это: «останьтесь обедать» и тогда прибавка: à la fortune du pot <чем Бог послал>. И это зналось. Естественно было подумать: «наверно оставят обедать» или наоборот: «хороши: обедать не оставили». Но вот высшее хлебосольство: «Вы, пожалуйста, прямо к обеду, мы обедаем в половину шестого». И готовили на лишнего. Были дома, где каждый день один-два посторонних.

Даже и еще такую формулу можно вспомнить: «Ваш прибор всегда Вас ждет». Завтрак или обед, разумеется, разницы — никакой. Только бы в урочные часы. И как можно меньше приготовлений.

Если широко жили, что касается количества комнат, то прислуги надо было много. При этом одна привычка, от которой, каюсь, до самого конца старого режима я не мог отвыкнуть. К столу непременно должен был подавать мужчина, «человек», как принято было говорить, строго избегая слова: лакей. Человек во фраке, а к столу в белых нитяных перчатках, только у военных заменялся денщиком в особой денщичьей форме, т. е. в сюртуке, похожем на офицерский, с черными костяными пуговицами и без погон. Когда-то отомрет этот предрассудок? Но в богатых домах ведь он твердо держится и до сих пор. Каким кодексом определено различие в функциях горничной и мужской прислуги? Однако я с тех пор, как горничным присвоен своеобразный костюм с кружевным передником и чепчиком, и они так нарядно и так отлично выглядят в элегантной столовой, все равно та традиция, в какой воспитаны одни только такие поколения, как мое, и, в сущности, ничтожная кучка людей такого происхождения, какое одним словом и не определить, эта традиция все-таки остается непоколебимой и в частных домах, и, что важнее, в гостиницах. Кажется, уж всего достигли женщины: всех прав, и высшего образования, и адвокатства, и министерских постов, вагоновожатых на трамваях и депутатов в парламентах, но чести подавать за торжественным или с претензией на торжественность обеда или завтрака так до сих пор и не сподобились.

В те далекие времена горничная — то, что называлось «ходила за госпожой». Без горничной было трудно. Женщинам, даже девушкам, еще предстояло искуситься в том достижении, которое называлось «научиться одеваться самим». Они сильно отстали в этом отношении от мужчин. Мы с братом едва ли составляли в этом отношении редкое исключение, а нам было с детских лет приказано не прибегать к услугам приставленного к нам человека. Запрещалось даже дать ему стянуть сапоги. Почему женщинам нужны были горничные, обыкновенно, дразнясь, указывалось на корсеты: где, мол, самой затянуться. Я приведу другое. На улицу в открытых башмаках не полагалось выходить. Для этого предназначались — и долго еще потом — ботинки на пуговицах. И вот спрашивается: как их надеть[1], собираясь со двора? Платья длинные, под ними крахмальная юбка, корсет мешает нагнуться, а еще — и это очень существенно — вероятно, от такого ухода во время родов большинство женщин того времени наживали уродливо большие животы. Отсюда обычная процедура: дама или даже барышня сидит в спальне на кресле, приподняв свои юбки почти до икр, и перед ней на коленях

[1] Грамматическая норма XIX в. оставлена. — *Прим. ред.*

горничная крючком застегивает пуговичку за пуговкой ботинки модной тогда бронзовой кожи. А сколько было всяких кружевных, накрахмаленных с лентами и broderie anglaise <английской вышивкой>[1] необходимых принадлежностей женского туалета? Все это надо было умело и осторожно и замыть, загладить и накрахмалить. Платье состояло из корсажа и юбки, и когда был снят корсаж, оказывалось, что на шее и на руках манишка и рукавчики, прикрепленные на плечах к рубашке. Воротничок, манишки и манжеты на рукавчиках — крахмальные, как у мужчин, но только более причудливой формы. Да наконец достаточно посмотреть на модные картинки того времени, чтобы бросилось в глаза, сколько материи наворочено, намято, превращено в буфы, воланы, плиссе — и что еще?! — совсем под стать и к модной тогда мебели. Все это надо было вытрясти, вычистить, где надо зашить, выгладить! Одни подолы, да еще шлейфы чего стоили, которые не могли не набирать пыли.

Никаких косметик, румян, ни цветной пудры приличные женщины — о девушках что и говорить — в то время не употребляли. Разве пудра, да и то вовсе не на лицо, а на плечи и руки, когда одевали открытые платья. Но прически?! Мало своих волос, у кого их недоставало, добавлялись еще фальшивые косы. Опять, все это надо было приладить на шпильках, заколоть, укрепить наколку… Как было не просиживать чуть не час перед зеркалом за своим туалетом, с горничной, которая, если и не умеет причесать барыню, то то, то другое подаст, поддержит, поможет. Но ценились опытные горничные. Они были прислугой особо чтимой: кушали от господского стола. Такая у матери была горничная Генриетта.

Однако все это — внешнее. Все это только обстановка. А внутреннее содержание, чем жили эти люди, кроме служебных обязанностей, но прежде всего, о чем же разговаривали между собой, раз гостиные того времени так удобно были устроены, особенно для разговоров?

Разговор должен был быть светский, т. е. прежде всего не о своих или чужих делах, не о прислуге и домашнем обиходе, не о службе и ни в коем случае не биографического характера. Когда я делал визиты профессорам в Киеве, меня поразило, сколько я выслушал от них рассказов о ходе разных болезней их самих, их детей и даже их жен.

Но что же тогда остается? Политика, литература? Ну да, и о политике, и о литературе, но больше всего непринужденной болтовни, немного злословия, сколько выйдет остроумия, а для этого так необходимо и посплетничать. Основное правило светского разговора — пустота, она обязательна.

Впрочем, вовсе этим не исчерпывалось. Доказательством служит сборник «Между нами». Но о нем в другом месте и в другой связи.

---

[1] «Английская белая работа» — вышивка ришелье или гладью белыми нитками по белой ткани. — *Прим. ред.*

Мои игры

До сих пор записываю все о взрослых. И именно взрослые и то, что от них слышал, чаще всего, разумеется, мельком, все это только и запомнилось. Из детей старшие приятели брата, очевидно, тоже гораздо больше заинтересовывали меня, чем сверстники, о которых я ничего не сумел сказать, потому что ничего, кроме имен, не осталось в памяти. Я рос в Вильне один. Особенно с тех пор, как брат поступил в гимназию, разница лет между нами стала казаться огромной. Правда, меня водили к другим мальчикам, но мне это было скорее обузой, чем развлечением.

Я играл один, самостоятельно и вдобавок без игрушек.

Игрушек вообще у нас в доме не водилось. Забывали или не хотели мои родители их покупать, но только и пристрастья к ним, интереса к игрушечным магазинам, привязанности к какой-нибудь игрушке, ничего подобного я никогда не испытывал. С игрушками даже связан такой случай, оставшийся для меня незабвенно противным. И сейчас неприятно будет о нем рассказать.

Взяли нас как-то родители в гости к одним людям, которых звали Шванебах[45]. Отец семейства был генерал-майор. Чем командовал или на какой должности, не знаю. Вероятно, мой брат тогда еще не поступал в гимназию, потому что нас обоих отправили в детскую к единственному сыну этих Шванебахов, такому же самому мальчику, как я, но только рослее. Возрастом он больше подходил ко мне. Детская была благоустроенная, с ковром, чтобы играть, и, главное, полным полна разных игрушек, аккуратно прибранных, и ни одной ломаной. Казалось бы, раздолье. Вот мы и расположились с братом не то играть, не то рассматривать игрушки. Не тут-то было. Что мы возьмем в руки, маленький Шванебах отбирает и смотрит букой: мое, мол, не ваше, не смейте мои игрушки трогать. Даже в угол забился и за спину себе совал игрушки, которые от нас одну за другою отнял. Удивились мы с братом и подумали: нехороший мальчик! И с этого времени стала у нас неприязнь какая-то, вроде отвращения. Насчет того, что la propriéte c'est le vol <собственность — это кража>, только гораздо позднее, мы узнали из «Обрыва» Гончарова, но все-таки, смутно, как будто забрезжило: не такое уже священное это право собственности, а оно связалось наглядно и вещественно именно с игрушками.

Я играл главным образом вещами матери. Особенно я любил ее принадлежно<сти> письменного столика. Они были желтой бронзы. Больше всего мне нравился желобок на двух низеньких ножках, чтобы класть перья и карандаши. Но доставалось и туалетным вещам, включая браслеты и даже башмаки, тогда легко налезавшие на мои ноги. И никогда не попадался; не помню, чтобы что-нибудь сломал или не положил на место. Раз только отец меня неожиданно поймал на месте преступления. Как раз я напялил браслеты и башмаки. Отец сделал вид,

что принял меня за даму и хочет поцеловать мне руку. Я так переконфузился. Играл ли после этими вещами? Едва ли. Но отец очевидно не понял, в чем состояла моя игра. Может быть, и все, что ему надо было — самое простое, чтобы я оставил в покое драгоценности. Однако в том-то и дело, что и я сам ни тогда, ни теперь, никогда совершенно и не в состоянии был бы сказать, во что я играл. Какие-то позы принимал перед зеркалом, вертелся, зачем-то раздевался чуть не догола.

Про меня существует такой рассказ. Несколько раз я его слышал от матери. Будто однажды я исчез. Ищут, ищут, и там и сям, зовут, беспокоятся: нет и [нет] мальчика. Куда девался? Никак не сыскать. Нет и нет. А мы жили в то время за Остробрамой. Как раз против, через улицу, — Крыловы. Там увидели кутюрьму и из саду слышали — дело было, очевидно, весной или ранней осенью, — как называют мое имя. Тогда и дали знать от Крыловых:

— Что вы Женю ищете, да он вон на дереве голый сидит.

Ну конечно, приказали лезть, и было решено, что я играл в дикого.

Уж не знаю, действительно ли так было. Не помню, но что я подолгу сиживал на дереве и почему-то радовался голый, это верно. Высокое, развесистое было дерево в саду, принадлежавшем к нашей квартире за Остробрамой. И сад шел от улицы вверх по сколу горы. Дерево росло на урез и оттого, как заберешься на него, высоко-высоко. Заменило мне это дерево то кавказское, любимое мое кизиловое дерево в Коджорах. Но чтобы я именно в дикого играл, это вовсе не достоверно. Может быть, и выходило, что в дикого, даже сам себе давал такое объяснение, но замысел, почин, первоначальное усилие воображения было совсем не какое-нибудь сознательное изображение дикого. Отнюдь нет.

Сколько раз и на лекциях, и черным по белому я отзывался на «Spiele der Tiere» <«Игры животных»> и «Spiele der Menschen» <«Игры людей»> Грооса[46]. Каждый раз я соглашался, что в основе игры лежит подражание последним действиям и игра есть «действо», а его биосоциологический смысл в упражнении. И не стану спорить. Но, вспоминая эти свои игры с материнскими вещами перед ее большим зеркалом с пола, никак не могу им дать такое объяснение. Оно безнадежно рационалистично. Мне совершенно ясно, что в моих играх, если в них и оказывался какой-то замысел, если они что-то изображали, то отнюдь не сначала или заранее. Напротив. Замыслу предшествовало движение. Прежде всего какие-то позы, жесты, т. е. какое-то действо, в конце концов бессмысленное. Мысль тут совсем не участвовала. Может быть, только одни рефлексы направляли эти жесты, движения, позы. Вернее всего, что именно так. И только после, как некий придаток или некое полусознательное и смутное рационализирование поступка, возникали ассоциации, а отсюда толкование: это, мол, изображает то-то или, вернее, я — то-то. Процесс, схожий с народными этимологиями. Крестьянку-мо-

лочницу научили обращаться с сепаратором. И она слышит: сепаратор, сепаратор. Но ей знакомее слово «аппарат», и она видит, что это слово подходит, тогда сепаратор будет называться «сапарат». Также точно почему я раздевался голый, это другой вопрос, но я знал, что голыми ходят дикари; значит, я играю в дикаря.

Отличный пример такой психологии игры я случайно подметил у сына, когда ему было лет пять, а то и меньше. Анна Митрофановна останавливала меня каждый раз, как я, смеясь, вспоминал эту сцену. Ей казалось, что это унизительно для Иги. Но никогда он мне не был так близок, как тогда. Это происходило зимой на Жданях. Ига в одной слишком короткой рубашонке бегал по детской, вскакивая то на одну кровать, то на другую, а в руках держал какой-то самодельный кнутик. Он делал вид, что кого-то им бьет. И он приговаривал: le bébé terrible! <ужасный ребенок>. Так, по-видимому, и называл<ась> игра, но по секрету. Кажется, только сестра Вета смела понимать смысл его беготни. И вот я слышу:

— Il donne un coup à sa mère, sur le dernière, et il s'enfuya <Он ударил свою мать последним и убежал>.

Тут самое беганье и игранье кнутиком, несомненно, предшествует этому нелепому объяснению смысла игры. Только не обошлось и без личного вклада. Le bébé terrible, конечно, сам Ига, и таким он себя и играл. Действо было лирико-драматично.

Вот еще одна вспоминается игра.

Это уже на Завальной улице, т. е. гораздо позже. Мне, пожалуй, уже стукнуло десять. Игра была вдвоем с Диной Лермонтовой. Содержание вполне и, так сказать, строго продуманное: играли в корабль. Для этого клались плашмя стулья из столовой, а к одному из них привязывалась половая щетка, изображавшая мачту. Оставалось только усесться в середину между стульев, т. е. бортом корабля, и плыть. Разумно и, может быть, служило нам с Диной упражнением в нашей будущей деятельности мореплавателей. Но вот зачем самое интересное место игры составлял тот акт «действа», когда, покрывшись с головами пледом, мы ложились, притворяясь, что спим?

Однако вполне готов допустить, что я плохой наблюдатель детских игр, потому что и участник в них тоже был из рук вон несообразителен и бездарен. Никогда я не умел понять игры, когда участвовал в ней с большим количеством детей.

Меня водили к сыновьям попечителя учебного округа Георгиевского. Целые воскресенья происходила беготня по большой светлой квартире, и я помню, как чья-то гувернантка, русская девушка, восторгалась игрой мальчиков, противополагая ее тому, как играют девочки. Но никак не мог понять, во что и зачем мы играем, и мне совсем не было весело, а маленькие Георгиевские оставались вовсе посторонними. И то же самое в дружеском доме Веревкиных, куда, помнится, всегда ходил с большим удовольствием. Веревкины занимали большой особняк

с обширным и запущенным садом где-то в стороне Закрета. Весной и осенью играли в разбойники. И старшие, сам Петя и мой брат, увлекались, бегали, осуществлялся какой-то замысел. Я так и не понял смысла того, что происходило, и бродил и бегал безучастно и бессмысленно.

Оттого я, может быть, и не люблю своего детства. Мне кажется, что не был симпатичным мальчиком. И никто меня не любил.

В сущности, моей единственной игрушкой и единственным товарищем игр был породистый, коричневый, без отметин, английский понтер Эми.

Эми значит: купил. Отсюда ясно, что появилась у меня собака, когда меня уже стали учить по-латыни и я ее купил маленьким щенком, на свои собственные деньги. Но Эми был со мной не только в Вильне, и о нем речь впереди.

Три гувернера

Чтобы меня воспитывать за время службы моего отца в Вильне, трое взрослых мужчин потратили каждый по году жизни. И я говорю: меня, потому что брат за эти годы успел уже дойти до четвертого класса гимназии. Значит, ему гувернеры были вовсе не нужны.

Капитализм есть факт, а коллективизм — теория. Вот положение, недавно формулированное в книге, имевшей большой успех. Но что такое коллективизм, из-за немедленного осуществления которого калечится величайшая держава мира? Коллективизм — теория, это одно, а коллективизм как социологический процесс совсем другое. Может быть, покажется странным, если я скажу, что коллективизация народного образования в принципе уже осуществлена в странах, где коллективизм как теория играет в жизни еще очень малую роль. Страны, которые я имею прежде всего в виду, — Франция, Германия и молодая Югославия. И в этой последней этот процесс коллективизации особенно ярко выражен. В нынешней Югославии совсем нет ни частных, ни церковных учебных заведений. Все — государственные. В нынешней Югославии все учебные заведения от низшей школы, т<ак> наз<ываемой> основной, до университета включительно — бесплатны и находятся в ведении Министерства народного просвещения. На каждой индивидуальной семье лежит лишь обязанность питать и одевать своих детей за все то время, что они учатся, и то «студенческие дома» коллективизировали прохождение через университеты. Значит, что же, собственно, остается до полной коллективизации? Гимназические общежития сами собою навязываются вслед за университетским. Так же точно и организация внешкольного времяпровождения гимназистов. А дальше еще шаг, и еще ряд лет, и ученики лучших школ, с двенадцати часов дня предоставленные себе, улице и родителям, неизбежно вызовут попечение, как в смысле физического воспитания: пищи, гигиены, жилищ, так <и> духовного, т. е. игр и внешкольных занятий. Низшая

школа сама собою и неизбежно стремится и должна стремиться стать тем, что мы, русские, уже осуществляем в Югославии — детскими домами, где ребенка приводят утром, чтобы взять домой около 4 ч. вечера. Последнее самое сложное, связанное с физической заботой матери с питанием младенца.

Самый яркий пример воспитания индивидуалистического, вплоть совпадающего с принципом капитализма, мне представляется то, какое получил сын богача А. А. Половцова[47], Саша Половцов[48]. В лице известного тогда преподавателя-латиниста Мусселиуса[49] было основано особое Министерство народного просвещения. Он заведовал преподаванием и приглашением учителей. Однако и тут пришлось посчитаться с коллективизацией: и программу пришлось проводить, утвержденную Государством Российским, и даже сначала в гимназии от 6-го класса, а после в Училище Правоведения все-таки заменить домашнее воспитание школьным. Домашнее, т. е. индивидуальное, правда, вновь пригодилось, но это уже не так важно: в офицеры Конного полка Сашу Половцова, отбывавшего там повинность, опять готовили частные учителя.

В моем детстве коллективизация народного образования еще остановилась на той же стадии своего развития, на какой она была при основании казенных учебных заведений: народные школы не были согласованы в своих программах со средними учебными заведениями, кроме этого, они никак и ни в коем случае не были предназначены для зажиточного класса.

И вот, когда моему брату минуло 9 лет, а мне 6, согласно тогдашним понятиям о целомудрии, с гувернантками было покончено. Нас должен был начать воспитывать мужчина. Попробовали было дядьку, артиллерийского фейерверкера, но он пробыл только несколько месяцев. Французский язык, французский язык! Его знание, и знание совершенное, без ошибок в разговорной речи и без малейших запинок, при этом с тем особым русским произношением, какое и до сих пор французы называют: parler sans accent <говорить без акцента>, такое знание считалось в той же мере обязательным и совершенно необходимым, как обладание руками и ногами. Кто не говорит по-французски — калека. Мы с братом уже тогда не были калеками. Но как для развития рук и ног нужны упражнения: гимнастика, танцы, верховая езда, фехтование, плаванье, так и для французского языка. Какое же тогда могло возникать сомнение в необходимости французского гувернера, и гувернер явился. Через кого и каким образом он был вытребован из Франции — не знаю, но во всяком случае его не нашли на месте, в Вильне. Он был выписан прямо с места, из-за границы, был самый что ни на есть выводной, как бывают выводные чистокровные жеребцы и кобылы.

Этого выводного и чистокровного француза звали Дюга. Кто определил, какие были у него данные, чтобы стать воспитателем русских мальчиков? Откуда было его умение учить языку, который он знал только потому, что не знал никакого

другого? Нам пригодится аналогия с воспитанием Саши Половцова. Большие капиталистические предприятия необходимо прибегают к услугам инженеров, юрисконсультов, финансистов. В этом зародыш коллективизации. Индивидуальный почин неминуемо подпадает под нее, а когда государство либо считает нужным направить производство по какому-нибудь им назначенному руслу или, проще, при несостоятельности, расточительности владельцев, при особенно острых кризисах берет предприятие под опеку, наконец, когда является потребность в основании треста, во всех этих случаях и наступает, и все усиливается процесс коллективизации. Мусселиус, заведовавший воспитанием Саши Половцова, представлял собою зародыш коллективизации или по крайней мере его суррогат, может быть, правильнее сказать, компромисс с коллективизацией образования. Напротив, малые предприятия остаются всецело коснеющими в индивидуализме и индивидуальном почине. Это мой отец решил, что Дюга, не знавший никакого языка, кроме родного, будет ему превосходно учить. Это отец решил, что Дюга имеет все данные, чтобы стать воспитателем.

Ошибся ли отец? Я не хочу этого сказать. Через несколько месяцев я заговорил по-французски, может быть, даже лучше, чем сейчас им владею. Помнится, что у Карцовых, строгих судей, мое знание по-французски пользовалось большим успехом. Говорю о себе, потому что брат вскоре поступил в гимназию, и Дюга был главным образом моим гувернером. И о нем как о воспитателе я не сохранил в памяти ничего плохого. Ничему худому он не учил. И привязался к нему. Раз именно у Карцовых моя мать что-то не совсем хорошо о нем отозвалась, я стал горячо его защищать и заслужил этим большое одобрение от обеих Карцовых, и матери, и дочери.

Дюга был уже пожилой пехотный капитан войска Наполеона III и был ранен во Франко-прусскую кампанию. Был ранен в ногу, и рана так и не зажила. Я несколько раз видел это кровавое отверстие на его волосатой голени. А был весь волосатый, с черной курчавой бородой, приземистый, темный и едва ли особенно опрятный. Кто его знает, как это он стал гувернером. Но я часто слышал от него, что какое-то большое зло ему сделала его жена, дурная женщина, и будто не из-за нее ли он уехал из Франции. Точно даже боялся, как бы она не явилась в Вильну. Что-то сорвалось в жизни Дюга, и как-то не задалась его военная карьера. А никак не мог забыть ни свое капитанство, ни в особенности войну с немцами, которых звал, конечно, прусаками. И помнится, гуляем мы по Закрету, и только о том и разговоры: прусаки, Бисмарк, как дошли до самого Парижа, как изменил Базен. Ему, его сдаче Седана, приписывал мой Дюга поражение храбрых французов и рассказывал о Francs-Tireurs'ax <свободных стрелках> и их подвигах. Горел позором потерянной кампании и ненавистью к Бисмарку — главное: Бисмарк! — и я с ним горел, и вместе мы с ним мечтали о реванше:

— On les aura! <Мы их покажем!>

Нет, не дожил до той светлой минуты, когда уже только я один — и ведь во французской форме, французским лейтена<н>том, — слышал, как радуются и сам радовался:

— On les a eux! <Мы им показали!>

С тех прогулок с Дюга по Закрету каждый раз, как вижу на картоне папиросной бумаги известную картинку «Les drenières cartouches» <«Последние патроны»>, вспоминается старый капитан Наполеона III, и бьется сердце, и так много говорят эти поломанные ружья — чтобы не достались неприятелю! — и фигура солдата в красных штанах и измятом кепи, которого ждет позор сдачи в плен. С тех пор, словно какое-то пророчество, связалась моя судьба с Францией и не может развязаться узел.

Но Дюга скоро сменил другой гувернер, тоже для французского, но совсем не похожий на Дюга и, в сущности, другой национальности, потому что он был швейцарец, Мюллер, с ударением, разумеется, на последнем слоге. Сын разорившегося банкира, пустой малый, еще молодой и, по-видимому, без всякого образования, он был весь тело, мышцы, руки, ноги, физика. Времена своего детства, когда родители были богаты, он характеризовал тем, что никогда не пропускал ни одной кондитерской; в каждой в те блаженные времена мог всласть наесться сладких пирожков. И жаловался, что у нас его плохо кормят. Мало ему. Когда моя мать услыхала об этом, она раз, помню, говорит:

— Et bien vous allez avoir à chaque repas en plus un bifteck <Ладно, у вас к каждому обеду будет еще дополнительно бифштекс>.

— C'est ce que me convient, madame <Это меня вполне устраивает, мадам>.

И он ел свой бифштекс в дополнение ко всем блюдам, и, казалось, что этим как-то не то что наслаждается, а обильно смазывается, как машина, его сильное, мускулистое тело. Я не был на его стороне, и разговор этот с матерью о бифштексах мне совсем не понравился, но, казалось, что же делать? Уже такой аппарат, не человек, а именно какое-то сплетение всех тех частей и органов, из которых состоит человеческое тело, и вот не заржавеет, не заскрипит, не зацепится, а, как локомотив, тянет поезд и весь в жиру поворачивающий колеса поршень!

Мюллер был с нами, когда мы проводили одно лето на море по<д> Ригой в Дуббельне. Там было несколько знакомых: Лермонтовы, Панютины, но почему-то особое впечатление произвели на меня два брата, больших франта, князья Радзивилы, Доминик[50] и Константин[51]. Особенно первый. Про него говорили, что он ухаживает за г-жей Панютиной и они куда-то ходят ловить рыбу, но маленький Панютин, мальчик меньше меня, нет-нет да прибежит туда, и это им мешает. Старший, Константин, будто позднее женился на дочери Blanc <Блан>, содержателя рулетки в Монте-Карло, и стал богачом. Вообще от пребыванья

в Дуббельне у меня сохранилось какое-то легкомысленное, слишком разбитное впечатление, и оно слилось с картинками Гревэна[52] из «Journal pour rire». Дамские ножки, дамские туалеты, ухаживанья, купальные костюмы, казино, и ко всему этому так подходил наш легкомысленный гувернер, хотя, конечно, в светских развлечениях никакого участия не принимал.

Мюллер предводительствовал целой кучкой мальчиков старше меня, и я за ними только увязывался, не желая проводить время с дамами, как другие маленькие, или с девочкой Диной Лермонтовой. Мальчики, кроме моего брата, были следующие: мой двоюродный брат Митя Козин и Миша Лермонтов, оба пажи еще общих классов. От них на пляже во время купанья в мужские часы я и узнавал о похождениях обоих князей Радзивилл, пока Мюллер, красуясь собой, далеко уплывал в море и возвращался назад самодовольный и самоуверенный, чтобы опять уплыть, скрываясь далеко-далеко в серых, орошившихся водах Балтики. Мы не восторгались морем с его однообразным, беспокойным набеганием волн на скучный песчаный берег. Всем нам оно осталось чужое, даже, можно сказать, непонятное. И не сумел ни приохотить к нему, ни по-настоящему учить нас плавать слишком занятый собою Мюллер. Зато настоящая для нас была радость, когда нас брал Мюллер на реку да кататься на лодке. Далеко, свободно выгребая на тихой реке, можно было плыть между низких берегов до соснового леса. Тут родною казалась не серая, а прозрачная и не враждебно соленая речная вода. Пожалуй, только эту реку да и вспоминаю с удовольствием от лета на морских купаньях.

Но Мюллер считал себя великолепным не только мускулами, выносившими его на хребты волн. Он порывался давать светские наставления, чего, по-видимому, никто от него не ждал. Особенно искусным он себя считал в поклонах и объяснял: вот так надо поклониться даме, особенно когда хочешь ей понравиться, вот как, входя в гостиную, а вот еще какой поклон надо отвешивать особенно важным и знатным людям. При этом он очень забавно выгибал талию и особую элегантность усматривал в том, в какой мере вытаращиться при этом задняя часть тела. А когда доходило дело до поклона знатному человеку, тогда вдобавок еще обе руки опускались висеть, подобно полотенцам, которые повесили сушить, но при этом кисти рук надо было держать, повернув ладонями на себя. И эти его пустые разговоры еще усиливали чувство легкомысленной скуки. И навсегда именно с этого лета ненавистны мне остались всякие дачи, курорты, купанья, воды.

Мюллер исчез внезапно до возвращения в Вильну. И не один. Вместе с ним и француженка, гувернантка Дины Лермонтовой. Роман. Не только Доминик Радзивилл не терял времени. Только роман Мюллера и французской гувернантки осложнился тем, что Александра Федоровна Лермонтова заметила, как ее сын Миша пробирался к гувернантке или, что не меняет дела, она к нему.

За Мюллером последовал гувернер для более серьезных педагогических заданий.

Настало время учить меня по-латыни. Почему-то было решено, что я поступлю прямо во второй класс гимназии. И вот однажды я оказался в нашей с братом комнате, в квартире на Завальной, с новым, только что прибывшим гувернером, который читал мне сказку из «Тысячи <и> одной ночи» в немецком переводе. И по-немецки я уже знал, и так же точно, как не помню, когда и при каких обстоятельствах я выучился по-французски, совсем не помню себя не знающим и языка тех победителей, о реванше которым мы мечтали с Дюга. Новый гувернер — Эмиль Давидович Шеве[53] — сразу принялся за дело, и я только не понимал, при чем тут сказка из «Тысячи и одной ночи», а главное, почему он вставляет какие-то исковерканные русские фразы с очень сильным польским акцентом. Одно слово он все усиленно повторял для моего вразумления по-польски, хотя я давно понял и только думал, не сказать ли ему, как это будет по-русски.

Эмиль Давидович Шеве — совсем другое дело, что оба его предшественника. Тут сразу все оказалось совершенно ясно: все зачем и для чего.

Эмиль Давидович тоже был участник Франко-прусской войны. Но, точно извиняясь, он объяснил, что он из Кенигсберга, и в кампании участвовал, привлеченный в ландвер. Он был артиллерист. Но только один раз стрелял по французам. Какая-то виднелась вдалеке белая лошадь. Дали залп. Лошадь исчезла, но это совершенно незначительный эпизод, а до Бисмарка и славы Немецкой Империи ему в данном случае никакого не было дела. Он прибыл учить меня по-латыни, а походя — и едва ли не это было главное — учиться самому по-русски, дабы выдержать соответственный экзамен и зачислиться к нам в России учителем немецкого языка. Это ему и удалось. Во II-й Гимназии он даже был моим учителем. И вот пошло у нас все превосходно. Никаких теплых чувств он в моем сердце по себе не оставил, но латинским неправильным глаголам выучил меня назубок, причем я не остался в долгу, так добросовестно и с большим удовольствием учил его по-русски, гораздо успешнее, чем он меня по-немецки. И, увы, не вспомнил об этом Эмиль Давидович, когда в седьмом классе II-й Гимназии вкатывал мне тройки по-немецки, что явно свидетельствует о врожденной людям неблагодарности.

Эмиль Давидович был человек важный и с положением. Он получал тысячу рублей в год жалованья на всем на готовом, т. е., пожалуй, столько же, сколько теперь я в качестве ординарного профессора Скоплянского полуфакультета. И памятна мне его некрасивая синяя шуба, подбитая какой-то рыжей лисицей. На голове большая бобровая шапка. В таком виде он катался со мной на коньках.

Что касается же немецкой цивилизации, то единственное, что я от него узнал, это существование в Вильне немецкой колонии. Немцы же любят музыку и хоровое пение. Оттого у них существует свой Music Verein <Музыкальное сообщество>, и там Эмиль Давидович поет баритоном. Он бывал в самом сенти-

ментальном настроении, когда там побывает накануне вечером. И вспоминал, как прекрасно они пели:

Oh wie wohl ist mir am Abend,
mir am Abend,
Wenn die Glocken läuten.
<О как хорошо вечером,
вечером,
когда звонят колокола.>

Но мне гораздо больше нравилась песня, содержащая рассказ о каких-то чертях, и какие они оказались глупые, но —

Du sagte Pipifax der kleine.
Ihr seit dumm wie Bonenstroh
Ich allein, ja, ich alleine
Bin ein Teufel comme-il-faut.
<Вы сказали, Пипифакс маленький.
Ты тупой как солома,
Я один, да, я один
Дьявол комильфо.>

В чем выразилась комильфошность маленького задорного чертика Пипифакса, я так и не дознался. Это осталось упущением в моем воспитании. Но я все-таки сохранил полный восторг перед Пипифаксом и полное презрение ко всем другим.

В конце своего пребывания у нас Эмиль Давидович женился на очень некрасивой немке, и когда заходил через несколько дней после свадьбы, я заслышал его разговор с моим отцом:

— Es ist alles so rein und so nett <Все так чисто и так приятно>, — говорил Эмиль Давидович.

И я, уже приобретя довольно глубокое знание жизни от рисовавшего мой портрет будущего художника Сегаля, понял, что дело шло о впечатлениях Эмиля Давидовича от его первой ночи и о том, насколько она ему показалась прекраснее, чем те случаи, когда он холостым отправлялся к публичным женщинам. Отец мой как-то рассеянно слушал признания педагога своего сына. Как будто была даже какая-то неловкость. Едва ли отец считал себя вполне достойным такой немецкой откровенности. Мне, по крайней мере, подумалось, что, пожалуй, лучше не говорить таких вещей о своей подруге жизни и матери будущих детей. Но это, может быть, тоже пробел в моем воспитании, не восполненный Эмилем Давидовичем.

Два приключения

Действующие лица — Эмиль Давидович, мой пойнтер Эми и я.

В одну из наших прогулок за Клубом, там, где начинаются холмы и сосновые перелески, интерес которых мне открыл Сегаль, я отбежал к урезу песчаного обрыва над самой речкой, окаймлявшей Замковую гору, теперешний городской сад. Под ногами песчаные уступы, похожие на скалы. Ну, конечно, надо потребовать спуститься вниз. Решено и — с уступа на уступ. Забавно и весело, что эти уступы точно живые. Зыблется мягкий, желтый, мелкий песок. Иногда с ним вместе сползаешь вниз. Но вот как-то оказался на одном таком уступе и под другим, нависшим над головой. Ни вправо, ни влево. Отрезан. С обеих сторон песок сполз крупным скатом. Даже Эми не мог до меня доскочить. Все пространство, на котором я стою, меньше квадратной сажени. Ни шагу не могу сделать. А там, под обрывом, довольно далеко, каменистые берега речки. Упадешь — непременно разобьешься. Того и гляди и до смерти. Опасность явная. Еще если плавным оползнем рассыплется подо мною песок, тогда и я плавно и мягко мог бы скатиться без всякого ушиба. Но возможно и то, что резко, сразу оторвется мой уступ, тогда уж лети прямо на камни. Мне, однако, представлялась всего хуже — третья возможность: так продержится, не трогаясь, мой уступ, и я на нем один, сколько дней и ночей! Потом когда-нибудь найдут труп умершего здесь голодной смертью мальчика.

Кричу. Никто не отзывается. Ведь вижу вдалеке, как пожарные поят в речке лошадей. Не слышат или не хотят помочь. Потом я узнал, что мой желтоватый летний костюм сливался с желтизной песка, и я был невидимкой. Слышат пожарные детский голос, а где? откуда?

И Эми исчез.

Но он-то и был героем дня. Мы очень несправедливы к животным. Непременно — или инстинкт, или просто — недоверие. Не хотим признать самого обыкновенного и настоящего ума. Точно обидно. Зачем как у нас? Эми, как я потом узнал, бросился искать Эмиля Давидовича и лаем, прыганьем привел его на урез горы. Только Эмиль Давидович не мог понять, в чем дело, потому что нависший над моей головой уступ мешал меня увидеть. Вернее всего, именно лай не унимавшегося Эми гораздо лучше, чем мои крики о помощи, обратил внимание пожарных, наконец разобравших, что случилось.

Тогда пожарные достали канат, стали сами подыматься по уступам и наконец забросили мне конец, уцепившись за который, я сбросился со своего неприступного утеса и был втянут к пожарным, к великой радости Эми. Он уж, конечно, был тут как тут, суетился, волновался, только что не давал советов. Зато, когда состоялось мое спасение, сколько благодарности он выказал пожарным, скакал им на грудь, терся около них, и мне тут досталось, потому что не раз лизнул меня

прямо в лицо, чего я терпеть не мог. Но что поделаешь? Собачья участь. И за свое участие Эми наверно только слышал это грубо несправедливое:

— Пошел ты вниз. — Но собаки не обидчивы или редко когда.

Через час мы с Эмилем Давидовичем уже спокойно сидели за обедом, в нашей столовой на Завальной улице.

И похождение мое обсуждалось, только выделив следующее, единственно важное: дал ли Эмиль Давидович пожарным на чай. Раз — да, значит все благополучно.

Жаль, что я не стал знаменитым альпинистом!

В другом происшествии действующие лица будут появляться по мере развития действия.

Приезжал однажды в Вильну дядя Ваня — Новосильцов. Московский родственник и сам прирожденный москвич. Этим многое сказано. Прежде всего от чистого сердца перецеловал и обнял нас всех, так что не вздохнуть. Все его родственные чувства излились на нас, как роса в ясное, теплое летнее утро. И, разумеется, весь дом был полон им, его любовью к нам, его рассказами, его ни на минуту не останавливавшейся кипучей деятельностью. В связи со всем этим — подарки. Подарки, опять-таки, не какие-нибудь, это были подарки из Москвы, значительные, не безделушки какие-нибудь, а все вещи, имеющие все три значения древней мудрости, т. е. помимо реальной ценности, еще и моральную и, наконец, метафизическую. Первое место и занимало в них ружье для нас, детей, настоящее, стреляющее настоящими патронами ружье. Ну, разумеется, монтекристо. Тогдашнего образца эти ружья отличались толстым шестигранным стволом с прямыми нарезами и высоким неуклюжим курком. Мальчикам пора научиться обращаться с оружием, и первый шаг — стрелять в цель. Неописуема была, разумеется, радость нас обоих, брата и меня. Ну что за прелесть, что за славный и симпатичный наш дядя Ваня! И навсегда осталось это чувство, твердо и неизменно до самой его смерти. Вот уже и метафизическое, объединяющее воедино, а не разъединяющее значение этого детского ружья.

Метафизическое значение ружьеца, собственно, и было преобладающим. Во-первых, для нас с братом оно навсегда осталось подарком дяди Вани. Иначе и не оценивалось, а во-вторых — приключение.

Стали мы, т. е. брат, Эмиль Давидович и я брать с собою ружьецо на прогулку в Закрет. Стреляли и так и эдак. Прицелившись в галок, попадали в то или иное дерево, еще в реку стреляли. И вот осенило брата. Он стоял в ту минуту у самой воды, а Эмиль Давидович наверху, на высоте обрывистого берега. Брат возьми и прицельсь в гувернера.

— Эмиль Давидович, я выстрелю.

— Стреляйте!

И самое необыкновенное в этом происшествии было именно это: стреляйте. Как оно могло вырваться? Правда, расстояние между братом и Эмиль Давидовичем было не малое: шагов пятьдесят, а брат ведь стрелял вверх. Не долетит? А если долетит? Как бы ни было: стреляйте, было сказано — и раздался выстрел.

Я стоял поодаль от брата и намного выше по урезу. И вот слышу сверху:

— А ведь попало, — и так хладнокровно сказал это наш Эмиль Давидович. И, вижу, наклонился ощупать рану на правой ноге, как раз посередине между коленом и ступней.

Сомнений не могло быть. Дело вышло совсем не шуточное. И Эмиль Давидович зашатался, хромает. В первую минуту, очевидно, не ощутил и боли, а дальше — дело другое. Брат был в отчаянии, совершенно растерялся. Эмиль Давидо<вич> крепился, будто это пустяки. Ведь сам же виноват. А до дому далеко. Не может же Эмиль Давидович идти пешком, да рану, рану-то, какая бы она ни была монтекристная, надо же перевязать.

Я побежал в город. Главное, достать извозчика.

Бегу, тороплюсь. Туда-сюда. В одну уличку, в другую. Нет извозчика. Надо же было, чтобы только на Завальной улице у самой нашей квартиры нашел какие-то утлые дрожки. Вскакиваю:

— В Закрет!

Но только поднял глаза, вижу, на угловом балкончике стоит отец.

— Ты куда?

— Да я так, — не знаю, что сказать, и погоняю извозчика.

— Стой!

Отец сейчас же сошел вниз и сразу, не говоря ни слова, сел рядом со мною. Как я ему объяснил, что случилось, уж не помню. Но, конечно, и в моем рассказе важную роль играли эти совершенно непонятные и совершенно презрительные слова по отношению к монтекристо Эмиль Давидовича: «Стреляйте». И не стану скрывать, что, хоть это и не сказалось, а осталось совсем затаенно в глубине наших с братом взволнованных душ, героем дня, так сказать, молодчиной сказался «подарок дяди Вани». Думали, мол, игрушка, дрянь, всего на каких-нибудь двадцать-тридцать шагов хватает, а вот, на-ка, человека ранило, да еще на пятьдесят шагов, никак не меньше.

Недели три провалялся бедный Эмиль Давидович. И в больнице лежал, и дома маялся. Тогда ведь не было Рентгеновых лучей и вообще теперешних усовершенствований. Какой-то зонд ему в рану опускали, все искали маленькую пульку, а она куда-то сползла, и так и не нашли ее. Только надеялись, что она обнаружится. И еще слава Богу, что не было заражения крови.

Мальчик с катка

— Вот и мальчик с катка прибежал.

Этими словами меня встретила графиня Маврус, когда я пришел на детский танцевальный вечер в особняк Маврусов на Георгиевском бульваре.

И правда: я был мальчик с катка. Там проводил я с Эмилем Давидовичем неизменно и каждый день все время от завтрака до обеда. По катку меня знали все не бывавшие и бывавшие у нас знакомые моих родителей, потому что тут на всю зиму был центр русского общества. А меня еще принарядили для катка. Я приходил в особом костюме: короткой, отороченной мерлушкой, темно-синей куртке на вате и таких же штанах в сапоги; на голове мерлушковая шапка с бархатным верхом. В таком виде и портрет с меня писал Сегаль. Большой портрет тушью, но только не очень-то удался и никогда никакой рамки не удостоился. Думаю, что и эти графы Маврусы, местные богатые люди, пожелали меня иметь на своем вечере именно из-за некоторого моего светски конькобежного успеха.

Для меня это первое приглашение к чужим людям на танцевальный вечер возымело большое значение. Что брат мой уже не маленький ребенок, с этим все свыклись: еще бы, гимназист, да еще и третьеклассник. А я? Тоже, оказывается. И было решено, что эти ужасные детские курточки с большими круглыми крахмальными воротничками и бантиком в виде галстука — терпеть их не мог — уже не по возрасту. Не в этакой курточке надо вести большого мальчика на танцевальный вечер. Конечно, большого! Уже были вызубрены при посредстве Эмиля Давидовича латинские неправильные глаголы. Пора поступать в гимназию, надеть синий мундирчик. Да еще и прямо во второй класс меня готовили. Что не бывать мне в Виленской гимназии, еще не зналось. Еще только самая первая кончилась моя пятилетка, и таинственный смысл этого срока не выявился. Но все равно, явно или тайно, еще только потенциально или на самом деле, но уже последний год отец мой служил по военно-судебному ведомству и последнюю зиму мы доживали в Вильне.

Для меня это новое, что сулила судьба, и новое, что и я ощущал, и ощущал остро: конец детских лет до поступления в гимназию, слилось с моим преображением. К вечеру у Маврусов мне был заказан костюм у настоящего портного и из настоящего сукна, как у мужчин, а не из какой-то бабьей материи. Тоже курточка, но с одной только пуговкой под подбородком и с круглым воротником, а под нею жилет, мужской жилет с карманами; все как следует. Короткие штаны, туго потянутые чулки — какие-то такие я себе купил подвязки, что до крови стирали, из проволоки, прижимистые — и высокие ботинки на пуговках. По случаю такой нарядности, вполне подходящей для мальчика, которого приглашают на танцевальные вечера, я и прическу себе изменил. Научился старательно проводить себе пробор по середине. Тогда была такая мода, и надо было, чтобы волосы

двумя правильными полукругами спускались на лоб. Это не был «капуль», а, так сказать, допустимое хорошим вкусом его уподобление.

Толстый, щекастый, неуклюжий, некрасивый, но все же, насколько позволяла неудачная наружность — ведь тут ничем не поможешь, — очень приличный мальчик.

Однако, увы, я не умел танцевать.

Впрочем, как будто детей, умевших танцевать, на вечере у Маврусов не оказалось. Ни у кого танцевальных уроков, как помнится, не устраивалось, значит, откуда же научиться. И вечер прошел ни шатко ни валко. У меня сохранилась в памяти скука. Ничего хорошего. Определенно неудачен был этот мой первый светский выезд. И такое же бледное, никудышное впечатление произвел этот вечер и на моего брата. И никогда после мы не вспоминали ни о нем, и об этих графах Маврусах. Мы только помнили, что они были очень черномазые.

Но это прозвище, данное мне графиней Маврус, которой и лица не помню, осталось. Не то чтобы его подхватили. Нет. Оно осталось во мне.

Мой портрет в костюме конькобежца, нарисованный Сегалем, не удался. И ведь и сам я не стал конькобежцем. Как и во всех других спортах, разве что править лошадьми и спускать с ледяных гор на санках, я не достиг ничего, что выше посредственности. Может быть, и мускулов довольно твердых не было и пальцы слабы, может быть, и куда там с таким несуразным сложением, как мое. Но вот тот другой костюм, сшитый у настоящего портного для вечера у Маврусов, словно прирос ко мне, словно стал не одеждой, а оболочкой, формой, исходящей из сути.

В нем я снят, вместе с братом, на большой фотографии, всегда стоявшей у матери в гостиной. Он был оправлен в круглую рамку под желтую бронзу. Я стою в том нарочитом костюме, а брат рядом сидит верхом на стуле, облокотившись скрещенными руками на его спинку. Брат уже подросток, ему пошел четырнадцатый год. Он стройный, с живыми глазами. На нем гимназический мундирчик. Волосы с пробором сбоку неряшливо, но совсем прилично зачесаны. Я всегда любил этот портрет брата. И всегда мучила противоположность со мною. Тут как-то воочию, всей моей фигурой и выражением почему-то сонных глаз отобразилась нелюбовь моего детства. Словно через магическое зеркало, через гороскоп я читал себя на этой фотографии. И неспроста этот полукапуль. Разве не хлыщеватость какая-то в позе и в костюме. Что это? Никакой непосредственности, как во всей фигуре и в выражении лица у брата. Внутренние противоречия и недовольство собою, какое-то и внутреннее и внешнее преодолевание, именно это чувство, будто кем-то во имя чего-то приказанного, преодолевание: наружности, характера, врожденных недостатков, но не упорное, а глухое, без настоящей веры ни в себя, ни в какие-то устои понятий и верований, все это долго,

всю жизнь я видел ясно сквозь это свое изображение и отворачивался от него. Не надо! Сгинь! Зачем? И без этого невмочь! Нет-нет, так! Гляди! Гляди! Себя гляди и никуда, ни через сколько лет, ни после скольких испытаний не уйдешь, вот от этого одиннадцатилетнего мальчика, даже не двойника, а самого себя, непреодолимого, безысходного, неотвратимого!..

13-я Кавалерийская дивизия

Мы еще жили в маленькой квартире на главной улице, наискосок от Собора и не доходя до Остробрамы, когда как-то раз нам с братом говорят, что у нас на кухне улан. Настоящий и во весь рост улан в шапке с султаном, с желтыми канатами по всем швам синего мундира, с желтым лацканом на груди, огромной саблей и грохочущими шпорами.

Скорей, скорей побежать своими глазами увидеть.

Оказывается, Кузьма, нашей барщины, из деревни Ненагожник. Взят по набору для отбывания воинской повинности — она тогда только что была введена, — и вот — улан. Узнал, что в Вильне есть свои господа, и пришел. И долго после все годы, что мы жили в Вильне, вроде как воспитанники закрытых учебных заведений, приходил к нам на побывку Кузьма. Мы брали его в детскую, и на всю жизнь сохранилась эта дружба. Так это было в те времена: своей барщины, в первые годы после освобождения крестьян, значило что-то вроде родственника. Отпало все тяжелое, и если оно не тяготело над отношениями, тогда, напротив, оставалось какое-то сентиментальное, никакими практическими или вообще деловыми или правовыми отношениями не определяемое, тяготение друг к другу. Любопытно, что у моего брата, хотя и он родился после освобождения, это чувство к своим крестьянам оставалось неизменным во все годы старого режима. И крестьяне — конечно, не все, а более близкие — ему платили тем же. Медленно, но, разумеется, само собою исчезла эта связь. Смысла в ней больше не было, она была атавизмом и, значит, я бы сказал, и с той, и с другой стороны ее стыдились. Про себя скажу, что именно так: заглушал в себе это чувство, такое живое у брата. И именно потому, что стыдно. Ну что за глупости? И думать надо перестать?

Однако не к тому вспомнил о Кузьме, а потому, что он служил в 13-м Уланском Владимирском полку, и тут — совсем другая связь, не прошлого, а будущего. 13-я Кавалерийская дивизия, первая, которую я почти через сорок лет встретил, когда приблизился к фронту и в которой сделал Великую Войну, стояла в 70-х годах около Вильны. А ведь Владимирские уланы — мой полк, родной и до сих пор, и так будет до смерти.

Тогда, ребенком, я видел всю 13-ю дивизию на каком-то параде. И был я тогда совсем маленьким. Одно по-своему характерное воспоминание говорит за

то, что на этот парад меня взяла мать, когда-то еще раньше, чем появился Дюга. А брат, по-видимому, уже поступил в гимназию, потому что я с матерью был вдвоем. Вот какое маленькое обстоятельство. Мы ехали на парад не на извозчике, а в коляске, вероятно, нарочно для этого нанятой, и ехали долго. Когда вошли на какую-то трибуну с отдельными ложами, встретили знакомых. Вероятно, тут была и Ал<ександра> Фед<оровна> Лермонтова, потому что ее муж должен был проводить свой полк, и мы с особенным вниманием на него смотрели. Даже, помню, меня удивило, что скомандовал он высоким тенором, а это, показалось, не вязалось с его плотной фигурой. Случилось же то, что мать мне что-то сказала по-французски, а я по-русски ответил. После Дюга это было бы невозможно. А мать не то что рассердило. Это бы при ее воспитанности было совсем естественно, но в том-то и дело, что обидело, а не рассердило, и жаль ее мне стало. Вон что я такое гадкое сделал. Мать объяснила потом, что так неприлично, когда из снобизма — тогда говорили: из чванства — какая-нибудь дама при других в обществе заговорит по-французски, а дети-то вовсе и не знают. Дешевое, неприличное чванство. Значит, люди плохого тона. И вот я — а я ведь превосходнейшим образом мог ответить по-французски — так нет-таки. Осрамил. Что-то подумают. Стыдно.

И отравило мне это удовольствие видеть парад.

Еще и это уже по неопытности вполне простительной — неприятно было, зачем это приходят войска в облаках пыли, и формы-то едва разберешь.

Как бы то ни было, вот первый полк дивизии, полк Лермонтова — драгуны Военного ордена. Черные кивера и черные мундиры, чуть видны желтые канты. Драгуны без них, с винтовками за плечами. Проходят рысью, эскадрон за эскадроном. Их тогда было всего четыре. И будто отлично прошли, а мне показалось, совсем не стройно, как-то подпрыгивали кивера, тряслись драгуны. А ведь тогда еще только-только была ослаблена посадка с оттяжкой с каблука и на длинных стременах. Об облегченной рыси и помину не было. Сбора на задних ногах уже не требовали, но езда еще была в два повода и все-таки в крутом сбору. А за драгунами, на рыжих конях, — уланы на гнедых. Владимирцы! Болтались белые султаны на лихо набекрень заломленных шапках. И только уланы с пиками. Кирасирские армейские полки были уже все переформированы, как орденцы, в драгуны. Но плохо помню, как шли владимирцы, и неприятно, точно я тогда провинился, не угадал, не видел вперед даже самым затаенным смыслом, взором предугадывания. Дальше Нарвские гусары в голубых доломанах и красных чакчирах, в таких же, как и у драгун, нагнутых вперед и кверху суживающихся киверах, но только желтых. Они на серых конях. Какие казаки — не помню.

Знал ли я тогда эти частности? Формы — разумеется. Но Кавалерийскую седловую, мундштуки, ленчики, вьюки — едва ли. И никогда, ни тогда, ни после,

я не знаю за собой стремления к войску. Не хотел быть военным, и в солдаты играл без увлечения. Да и наша семья не была кавалерийская. Отец всегда держал верховую лошадь, любил ездить, но я всегда знал, что и он и дедушка были пехотинцы. И не бывало у нас в доме кавалерийских офицеров.

Только один, и о нем нельзя забыть, потому что тут опять 13-я Кавалерийская дивизия и ее зовущая вперед, в будущее, связь с моей судьбой.

Этот офицер, гусар Нарвского полка, был наш однофамилец, тоже Аничков, нашего же рода, только какой линии, так и не выяснилось. И вообще, мы о нем — ни откуда, ни кто его отец — ничего не узнали, но он стал ходить к нам запросто и выдавал себя за племянника отца. Он был высок и грузен, некрасив и даже с довольно неприятным выражением лица. Потом во время войны, когда отец был комендантом Сан-Стефано, он опять стал состоять при нем, и вместе они ездили в Константинополь. Позднее, уже взрослым, я встретил его в Петербурге интендантским полковником. О прежнем не вспоминали ни я, ни он, и что было вспомнить, каким-то статистом он побыл и исчез, не оставивши по себе ничего.

Однако с сыном его повторилось очень схоже. Какое-то на очень малой шкале, ну не вечное, но вроде того возвращение.

Уже во время Великой Войны я пришел с восемью Владимирскими уланами для связи со штабом которого-то корпуса. Когда спешился, вижу: еще такие же кавалеристы для связи: Гродненские гусары. Меня еще поразила их отчетливая седловка. В первый раз я видел гвардейскую часть на фронте. Нечего и говорить, так и следовало ожидать: гвардия. Вхожу в штаб, являюсь и как-то неожиданно, несколько раз слышу — произносится моя фамилия. И с прибавкой: корнет, а я еще был прапорщиком. Поправляю. Оказывается, речь вовсе не обо мне, а о корнете Гродненского гусарского полка, моем однофамильце. Это был сын того Нарвского гусара. И стал он со мной дружить без всякой охоты с моей стороны. После узнав, что мой Ига — паж Ускоренных курсов, он ходил к нему, во время своего отпуска в Петербурге и зачем-то настаивал, чтобы Ига вышел в гродненцы. Что ему было надо? Именно в этой никчемности вся соль. Привяжется иногда, когда едешь по лесу, паутина, и тянется. Что это? Нет, оборвалась. Или когда я шел с Мурмана до самых берегов Англии, над пароходом реяли все те же чайки. Спутницы наши. Какое расстояние перелетели, а вот оборвалось, и не стало чаек. Только может быть и через этих неожиданных, похожих на статистов, как будто совсем неосмысленных и пустых спутников передается связь событий?

Два гусара: отец Нарвский, сын Гродненский, а в какой-то ненужной смежности — два улана. Отец Владимирский, а сын Варшавский Его Величества. Хоть на расстоянии скольких лет, но отцы одной дивизии, а сыновья одной бригады.

А странная она была, 13-я Кавалерийская дивизия, во время Русско-турецкой войны: драгунами Военного ордена командовал Лермонтов, а Нарвскими гусара-

ми — Пушкин[54], да еще родной сын поэта. Еще и бригадный командир Крылов. Только владимирцами будто какой-то случайно попавший в эту компанию командовал Дохтуров[55].

Брат и я, турки и славяне

Пять лет, проведенные в Вильне, разъединили нас <с> братом. Сказалась разница лет: мне — от шести до одиннадцати, ему — от девяти до четырнадцати. Совсем разные мальчики. Брата Ваню сразу стали готовить в гимназию, и он ушел от меня в этот еще запертый, незнаемый, почти таинственный мир учения и проказ. Он со сверстниками Столыпинами, Веревкиными, и там свои шалости, дурные отметки, учителя, уличные драки. Раз за что-то очень бранили моего брата, но он будто исправился, и ему не грозило быть исключенным, как его другу Пете Веревкину.

Так уже в далекое прошлое ушло то время, когда мы жили общими интересами, особенно рассказывали друг другу от первого лица небывалые похождения. Последнее общение этого рода был мой роман — кажется, три-четыре страницы были даже написаны — с его особенно знаменательным эпизодом, на котором и прервался роман. Высоко трагическое это было место: «вдруг приезжает американец с пистолетом». Долго потешался брат надо этой фразой. Она у нас стала синонимом литературной нелепости. «Вдруг» — еще туда-сюда; но почему «с пистолетом»? А для меня главное-то было именно в том, что у американца оказался наготове пистолет. Для чего, это дело другое и даже осталось невыясненным. Но пистолет! Разве не страшнее и не интереснее всяких привидений. Но я нисколько не обиделся. Напротив. Мы вместе смеялись. Критика была уничтожающая, но основательная.

Уже прошло время радовавших нас вместе, а позднее таких же любимцев и моих детей, книжек о Степке Растрепке с великолепными картинками и такими звучными стихами, из которых и теперь помню:

В страхе маменька сидит
Ничего не говорит.

Ну разве не высочайшего трагизма достигает сцена, когда длинный-длинный, с развивающимися фалдами портной бежит отрезать Степке огромными ножницами палец за то, что он совал его в рот. Да всего разве перескажешь? Но любимой книгой брата, и она осталась такой до Бог знает какого времени, был роман Купера в русском переводе «Лоцман». Было целых три томика. Я же никогда не мог одолеть и одного. Пока брат читал затем Майн-Рида и Купера, я оставался верен «Bibliothèque Rose». Особенно эти зачарованные «Le bon petit diable» и «Les mémoires d'un âne». Столько раз пересматривались картинки и особенно похож-

дения осла! Он был героем, учителем жизни, высшим проявлением и добра, и мудрости, и показателем несправедливости, к какой способны люди. Он был живой до осязаемости. Я был совсем на его стороне, когда он сбросил злого мальчика в пруд, я гордился им, когда, попав к ярмарочным фокусникам, он сразу проник во все хитрости их ремесла, и я ненавидел здорового кучера, который бил его огромной палкой за мнимую провинность. Из того, что через брата я узнавал по книгам Майн-Рида, меня интересовали разве мустанги. Индейцы совсем не останавливали моего внимания. Всего интереснее был какой-то старый плантажер, который никогда не спал. Мне долго хотелось, хоть на Жданях, вот так как он, когда все улягутся, взять стул и выйти с ним на балкон, просидеть всю ночь. Особенно же — судьба злого Шакры. Также до осязаемости живо переживал его борьбу с течением, когда его лодку тащило в сторону водопада и, как наяву, я видел его труп, который крутило под водопадом.

Зато вместе с одинаковым увлечением мы читали, впрочем, больше смотрели картинки иллюстрированного издания «Детей капитана Гранта» во французском переводе. Наш общий любимец был, конечно, Паганель. Пожалуй, и весь интерес сводился к Паганелю, к личности, а вовсе не к сюжету рассказа и не к результату поисков.

Тянулись годы, жили вместе. Всегда спали в одной комнате и сохранили эту привычку до смешного долго. Но если, вспоминая о брате, я невольно перешел на книги, которые мы читали или вместе, или врозь, то это оттого, что, строго себя проверив, я должен прийти к выводу на первый раз очень странному: *я совсем его не знал*. Ну, конечно, я знал его привычки, вкусы, взгляды, знал, чем все это отличается от моих, но я разумею другое. Я часто и потом замечал, насколько мало знают друг друга самые близкие родственники: родители детей, дети родителей, братья, сестры. Надо совсем особое и довольно редко дающееся напряжение, чтобы наконец — и это приходит очень поздно — как-то прояснилось: вот что это был за человек, вот основные его качества и недостатки. Во всяком случае так было со мной относительно брата. Если этим воспоминаниям суждено пойти так далеко, как это предполагается, скажем проще, если я доживу до того, когда об этом хронологически надо будет рассказать, продолжая эту своего рода работу, тогда я постараюсь объяснить, как и почему долго-долго я пребывал в этом поразительном непонимании моего брата и каким ударом, мучительным до острой боли, оказалось прозрение.

Ребенком, как-то не вдумываясь, как подробность я не мог не видеть, что мой брат, красивый и стройный, физически слаб, до смешного боится щекотки, гораздо менее ловок, чем я, хотя я калека, не схватывает совсем ритма. Все это объяснялось тем, что он родился семимесячным. Говорили, будто его выдержали в бульоне из телячьих ножек. И вот он физически недоразвит. Однако это ни на

одну минуту никогда мне <не> мешало чувствовать его старшинство и отсюда превосходство. И если я воспринимал окружающее, то непременно не то что под влиянием брата, но уж никак не помимо этого влияния.

От него я, конечно, узнал и о надвигавшихся на нас событиях.

Герцеговинское восстание, турецкие зверства, башибузуки, потом портреты Черняева[56], добровольцы, битва под Алексинацем[57], восточный вопрос, дальше уже начало войны, переход через Дунай, румыны, король Милан[58], портрет Дубасова[59], разговоры, статьи — все это не могло не заслонить, как бы в угол забросить детские книги. Волновало, заставляло думать. Мать захватило одно выражение, которое пестрило в газетах: status quo. Она его произносила: «стату куо» и не совсем, кажется, ясно понимала, что это значит. А ведь дело шло о том, что восточный вопрос стал, наконец, яснее и больше чем когда-либо славянским вопросом. Славяне, их судьба, вечно ли им быть под турецким игом? Вот ведь что значило роковое событие на Балканах. Нас, детей, меня, по крайней мере, особенно взволновали какие-то рассказы как будто возвращавшихся из армии Черняева добровольцев о том, что такие сербы. Кто-то объяснял, что они выходили нашими предками. Они то, чем мы были когда-то. Славяне, что-то более древнее, изначальное, непочатое, без этого принятого в гостиных и даже семьях за обеденным столом французского языка. И воины, священники и те, с крестом в руках, ведут в бой. Кто-то приводил аргументы из особенностей языка. Сербов легко понять, надо только помнить, что они говорят по-церковнославянски. Тот же язык, на котором у нас идет служба. Например — это почему-то особенно твердо запомнилось — мы говорим: рот, а они: уста. Мы говорим: красиво, а они: лепо. А особенно черногорцы! Что и говорить!

Брат мой очень ревностно следил за всем, что писалось в газетах. Вырезывал портреты, смотрел по карте, запомнил все эти географические названия на Балканском полуострове. Но вот тут сказалась одна особенность, которая определила всю его жизнь взрослого человека. Самая его старательно и полно собранная коллекция портретов была нашей. Не то что Сулейман-паша или Осман-паша, всех, каких только можно было откуда-то раздобыть пашей, всех он их знал, чуть ли не всю подноготную. И знал, сколько Турция выставила низамом, и сколько кавалерии, и какие формы, и что за ружья им доставили англичане. Сочувствовал, симпатизировал туркам. Это, конечно, не значит, что он был на стороне турок. Глупости! Это и в голову не приходило. Интересна именно эта пытливость в сознании тринадцатилетнего мальчика, будущего восточника. Да, именно с того времени так и поведется. Ваня, это — восток. Все восточное его тянуло и занимало. И тут — наше расхождение. Меня он не увлек. Что я думал о событиях одиннадцатилетним мальчиком? Конечно, то, что вся окружающая среда. Но

одно было ясно, я — не восточник; чужд, не занимателен, не нужен мне Восток, и так тоже повелось на всю жизнь…

Хотелось мне только постараться отличить и как-то повыпуклее это представить: война, ее причины, цели, перипетии, было для обоих нас — одно, и симпатии наши — одни. Но интерес, всколыхнутый войной, раздвоился. И меня вовсе не злоба к Турции удерживала от восточничества, и брата не злоба же против славян влекла к туркам. Мое западничество и его восточничество сказались по отношению к культуре. Так, что ли?

<Конец 3-й тетради>
Кламар — Париж
август 1931 г.

Примечания

1 «Чижик-Пыжик» — шуточная песенка, используется при обучении детей музыке, мелодию легко сыграть на фортепиано одним пальцем. Не известен ни автор песенки, ни время ее появления.

2 Вардар — река в Северной Македонии, на ней расположена столица Скопье.

3 Дьяконова Александра Ивановна (урожд. Аничкова) (1842 — ?) — дочь Ивана Васильевича Аничкова и Натальи Дмитриевны Барыковой, замужем за Николаем Григорьевичем Дьяконовым.

4 Дьяконов Николай Григорьевич (1841 — ?) — Главного управления военно-учебных заведений столоначальник, майор, женат на Александре Ивановне Аничковой.

5 Муравьев Михаил Николаевич, Муравьев-Виленский (1796–1866) — граф, государственный, общественный и военный деятель эпох Николая I и Александра II. В либеральных и народнических кругах его называли Вешателем из-за решительного подавления польских восстаний, особенно восстания 1863 г.

6 Никаких данных касательно двоюродных братьев Е. В. Аничкова Козиных обнаружить не удалось.

7 Сегаль Максим Ильич (1860 — после 1923) — живописец, зодчий, член Петербургского общества архитекторов. В 1885 г. окончил Академию художеств.

8 Лелевель Иоахим (1786–1861) — польский историк, общественный и политический деятель, профессор Виленского и Брюссельского свободного университетов. В 1828 г. избран депутатом сейма Царства Польского. С началом Польского восстания 1830–1831 гг. член Административного совета, затем Национального правительства. Влиял на Адама Мицкевича и Михаила Бакунина, боролся против царизма. В Брюсселе познакомился с Карлом Марксом и наряду с ним и Фридрихом Энгельсом стал одним из учредителей международной Демократической ассоциации единения и братства народов, основанной в Брюсселе.

9 Карагеоргиевич Александр I (серб. Карађорђевић Александар I; 1888–1934) — король сербов, хорватов и словенцев (1921–1929), король Югославии (1929–1934). В 1906 г. окончил Пажеский корпус в Санкт-Петербурге. Был покровителем русской белой эмиграции. В 1934 г. Александр Карагеоргиевич и французский министр иностранных дел Луи Барту были застрелены в Марселе организацией ВМРО (Внутренняя Македонско-Одринская революционная организация), связанной с хорватскими террористами-усташами. Отменил Парламент и ввел диктатуру в 1929 г.

10 Шептицкий Андрей (в миру Роман Мария Александр Шептицкий; 1865–1944) — митрополит, граф. Епископ Украинской греко-католической церкви, с 1901 г. до смерти — митрополит Галицкий и архиепископ Львовский, предстоятель Украинской греко-католической церкви. Доктор права, принадлежал к знатному западноукраинскому роду Шептицких. Значительно расширил греко-католическую церковь как на Украине, так и за рубежом, оказывал финансовую поддержку украинским культурно-просветительским обществам, выплачивал стипендии молодым художникам. В 1905 г. основал Национальный музей во Львове и приобрел для него большое количество экспонатов. Как Галицкий митрополит был депутатом Рейхсрата и Галицкого сейма. Противоречивая деятельность в годы Второй мировой войны: поздравил Гитлера с победой, когда немецкие войска взяли Киев в 1941 г., обратился с письмом к Папе Римскому и Гиммлеру, протестуя против геноцида евреев.

[11] Д'Эрбини Мишель-Жозев Бургиньон (фр. Michel-Joseph Bourguignon d'Herbigny, 1880–1957) — епископ-иезуит, посланник Ватикана, в 1920-х гг. на территории СССР рукоположил многих священников и совершил несколько тайных хиротоний. Руководил комиссией «Pro Russia» (1926–1933), задачей которой было ведение католической миссии на территории СССР. Свыше десяти лет руководил политикой Ватикана в отношении СССР; вел секретные переговоры с Чичериным и Литвиновым, а также с обновленцами.

[12] Варнава (в миру Петар Росич, серб. Петар Росић; 1880–1937) — епископ Сербской Православной Церкви, с 1930 г. архиепископ Печский, митрополит Белградско-Карловачский, патриарх Сербский.

[13] Поссевинова Антонио (1534, Мантуя — 1611, Феррара) — деятель католической контрреформации, иезуит. Безуспешно пытался обратить Ивана Грозного в католичество. После смерти Грозного поддержал план Батория завоевать сначала Москву, а потом только двинуться против турок.

[14] Кузьмин-Караваев Дмитрий Владимирович (1866–1959) — юрист и религиозный деятель, католический священник византийского обряда, служил в Русском апостолате в зарубежье. Входил в поэтическое объединение «Цех поэтов» (1911–1914). Выслан в 1922 г. на «философском пароходе».

[15] Волконский Александр Михайлович (1866–1934) — князь, русский военный дипломат, публицист, с 1930 г. католический священник византийского обряда, принадлежавший к Русскому апостолату. Внук декабриста С. Г. Волконского. Во время Первой мировой войны исполнял обязанности русского военного агента в Риме (1915–1917), после революции остался в эмиграции. Поддерживал тесные связи с генералом Петром Николаевичем Врангелем. Автор работ против украинского национального движения.

[16] Гротта Феррата — Санта-Мария-де-Гроттаферрата (итал. Santa Maria de Grottaferrata), или аббатство святого Нила (итал. Abbazia di San Nilo) — единственный в Италии непрерывно существующий монастырь византийского обряда; основан святым Нилом Россанским в 1004 г. Находится в городе Гроттаферрата (область Лацио). Принадлежит итало-албанской католической церкви.

[17] Кояловичи (польск. Kojałowicz, лит. Kojalavičiai) — литовский дворянский род герба Косцеша, восходящий к XVII в.

[18] Сазановичи (белор. Сазановіч, польск. Sazanowicz) — родовая фамилия, присутствует в списках шляхетских фамилий Великого княжества Литовского, охватывающих период с 1764–1918 гг.

[19] Острожские — древний княжеский род, представители которого с конца XIV в. занимали высокие государственные должности в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой, владели огромными поместьями на территории современных Украины и Белоруссии. Род угас в XVII в.

[20] Скорина Франциск Лукич (1486–1551) — восточнославянский первопечатник, философ-гуманист, писатель, общественный деятель, предприниматель, ученый-медик. Переводчик на белорусский извод церковнославянского языка книг Библии, издатель этих книг. В Беларуси Франциск Скорина считается одним из величайших исторических деятелей.

[21] Ченстоховская икона Божией Матери (польск. Matka Boska Częstochowska) — чудотворная икона Богородицы, написанная, по преданию, евангелистом Лукой. Главная святыня Польши. В Вильнюсе в Острабрамских воротах находится другая икона, также с темным оттенком лика, но изображена она без младенца Христа, т. е. это Богородица Заступница (Агиосоритисса).

[22] Альбединский Петр Павлович (1826–1883) — генерал-адъютант, генерал от кавалерии, глава прибалтийских (1866–1870) и литовских (1874–1880) губерний, варшавский генерал-губернатор (1880–1883), женат на фрейлине княжне Александре Сергеевне Долгоруковой.

[23] Долгорукова Александра Сергеевна (1834–1913) — княгиня, фрейлина императрицы Марии Александровны, статс-дама (1896), дочь князя Сергея Алексеевича Долгорукова и Марии Александровны Апраксиной, замужем за Петром Павловичем Альбединским.

[24] Урусова Мария Дмитриевна (1871–1963) — княжна.

[25] Голицын Дмитрий Борисович (1851–1920) — русский генерал от кавалерии, начальник императорской охоты. От его владений происходит название подмосковного города Голицыно. Участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг., в 1879–1881 гг. участвовал в Среднеазиатских походах. С 1913 г. состоял членом Совета Главного управления государственного коннозаводства. Женат на графине Екатерине Владимировне Мусиной-Пушкиной. После революции эмигрировал, жил на острове Принкипо (Турция).

[26] Бельгард Алексей Валерианович (1861–1942) — эстляндский губернаатор (1902–1905), сенатор (1912–1917), мемуарист. С 1900 г. состоял членом совета Главного управления по делам печати, с 1905 г. начальник того же управления. В 1918 г. эмигрировал в Германию. В апреле-мае 1919 г. участвовал в формировании частей Белой армии в Германии и Прибалтике. В 1921 г. участвовал в Рейхенгалльском монархическом съезде, был рекомендован для участия в Русском Зарубежном Церковном Соборе в Сремских Карловцах в Сербии.

[27] Урусов Николай Петрович (1864–1918, Пятигорск) — князь, гродненский (1901–1902) и полтавский (1902–1906) губернатор, член Государственного совета, расстрелян чекистами. В начале Первой мировой войны он был назначен главноуполномоченным Российского Общества Красного Креста при Черноморском флоте.

[28] Столыпин Александр Аркадьевич (1863–1925) — журналист, поэт и политик, младший брат премьер-министра Петра Аркадьевича Столыпина. Редактировал «Санкт-Петербургские ведомости», сотрудничал с газетой «Новое время». После революции эмигрировал в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев.

[29] Столыпина Наталья Михайловна (урожд. Горчакова) (1827–1889) — княжна, фрейлина двора, дочь генерала Михаила Дмитриевича Горчакова, наместника Царства Польского. Замужем за Аркадием Дмитриевичем Столыпиным. Во время Русско-турецкой войны Наталья Михайловна была сестрой милосердия.

[30] Нейдгардт Дмитрий Борисович (186–1942) — сенатор, калужский вице-губернатор (1897–1902), полоцкий губернатор (1902–1903), градоначальник Одессы (1903–1905). Офицер Российской империи с 1878 до 1897 г. (гвардия). Нейдгардт Алексей Борисович (1863–1918) — политический и государственный деятель. Расстрелян без суда в 1918 г. вместе с епископом Лаврентием и настоятелем Нижегородского кафедрального собора священником Алексеем Порфирьевым. Причислен к лику святых Русской православной церковью в 2000 г. вместе с епископом Лаврентием и отцом Алексеем. Одна из его сестер, Ольга Борисовна Столыпина, — супруга Петра Столыпина.

[31] Веревкин Петр Владимирович (1862–1946) — российский государственный деятель. Ковенский (1904–1912), Виленский (1912–1915), Эстляндский (1915–1917) губернатор. После 1917 г. в эмиграции. Брат художницы Марианны Веревкиной.

[32] Веревкина Марианна (1860–1938) — художница, представительница экспрессионистского течения в живописи. По материнской линий — внучка писательницы и педагога Анны Дараган. Училась рисованию у Репина в Санкт-Петербурге. С 1896 г. жила за границей, была знакома с Кандинским, Матиссом. В числе основателей Нового Мюнхенского художественного объединения (вместе с Кандинским, Явленским и др.) в 1909 г.

33 Лермонтов Сергей Александрович (1861–1932) — дипломат, посол Российской империи при Вюртембергском дворе (1912–1914), камергер, действительный статский советник. Сын Александра Михайловича Лермонтова и Александры фон Стюарт.

[34] Лермонтова Александра Федоровна (урожд. Стюарт) (1835–1917) — баронесса, дочь барона Фридриха Густава Стюарта и Роксаны Дмитриевны, замужем за генералом Александром Михайловичем Лермонтовым.

[35] Лермонтов Александр Михайлович (1838–1906) — генерал от кавалерии, командир 13-го драгунского Военного ордена полка, освобождал Бургас в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Отчество Федорович, вероятнее всего, ошибка мемуариста.

[36] Лермонтов Михаил Александрович (1859–1917) — генерал-лейтенант. Сын Александра Михайловича Лермонтова и Александры фон Стюарт. Выпускник Императорского Пажеского корпуса. Начальник Петергофского Дворцового управления (с 1906), управляющий Царскосельским дворцом. Собирал гравюры, литографии, карты, книги, мемориальные вещи на тему наполеоновских войн.

[37] Стюарт Александр Федорович (1842–1917) — барон, естествоиспытатель и общественный деятель. Директор Национального музея этнографии и естественной истории в городе Кишиневе.

[38] Карцов Юрий Сергеевич (1857–1931) — дипломат и публицист. Был дипломатом на Ближнем Востоке, в Сербии, в Англии. Печатался в «Новом времени» и «Санкт-Петербургских ведомостях».

[39] Никаких данных касательно Андрея Сергеевича Карцова обнаружить не удалось.

[40] Карцова Ольга Сергеевна (1856–1934) — дочь Сергея Николаевича и Екатерины Сергеевны Карцовых, замужем за Иваном Хрисанфовичем Колодеевым. Ее ум и образованность отмечали многие, в том числе и Константин Николаевич Леонтьев. Посвятила себя мужу и его делу собирательства знаменитой Новой Борисовской коллекции по эпохе наполеоновских войн, позже переданной в дар Музею 1812 года, занималась общественной деятельностью.

[41] Остен-Сакен Эрнест Рудольфович (1841–1911) — дворянин, генерал от инфантерии, выпускник Военно-юридической академии. Главный военный прокурор (с 1888) Виленского военного суда, потом главный военный прокурор России и начальник Главного военно-судебного управления (1908–1911).

[42] Остен-Сакен Екатерина Кирилловна (урожд. Зыбина) (1845–1923) — происходила из семьи, многие представители которой были даровитыми и известными музыкантами.

[43] Фаминцын Серей Андреевич (1803–1879) — гвардии капитан, статский советник.

[44] Речь идет о книжках для детей, написанных графиней Софи де Сегюр (урожд. Ростопчина, Софья Федоровна) (1799–1874) — французской детской писательницей русского происхождения, которая в «Розовой библиотеке» опубликовала более двадцати книг.

[45] Шванебах Фридрих Антонович (1828–1878) — генерал-майор, участник Кавказской войны.

[46] Гроос Карл (нем. Groos Karl) (1861–1946) — немецкий философ и психолог. Выдвинул одну из первых концепций молодежи на основе характеристики молодости как переходного возраста. Его относят к авторам биологически и психологически ориентированных теорий молодежи.

[47] Половцев Александр Александрович (1832–1909) — государственный и общественный деятель Российской империи, сенатор, промышленник, меценат. Один из основателей Императорского Русского исторического общества. Большие средства тратил на благотворительные и образовательные цели, в том числе на поддержание Центрального училища технического рисования барона Штиглица. Приобретал на собственные средства произведения искусства, редкие книги и гравюры для музея и библиотеки.

[48] Половцев Александр Александрович-младший (1867–1944) — дипломат, этнограф, ориенталист, занимался эпиграфикой, собрал коллекцию антиков. Старший сын миллионера, государственного секретаря Александра Александровича Половцева от брака с Надеждой Михайловной Июневой, внебрачной дочерью великого князя Михаила Павловича Романова. Внучатый племянник императоров Александра I и Николая I.

[49] Мусселиус Владимир Васильевич (1846–1920) — филолог, статский советник, преподаватель латинского языка, один из редакторов Русского биографического словаря А. А. Половцева.

[50] Радзивилл Доминик Мария Игнаци (1852–1938) — князь, женат на Долорес Марии Франциске де Аграмонте (1854–1920).

[51] Радзивилл Константин Винцент Мария (1850–1920) — князь, женат на Луизе Антуанетте Блан (1864–1911), дочке миллиардера Франсуа Блана, создателя казино Монте-Карло.

[52] Гревэн Альфред (фр. Alfred Grévin) (1827–1892) — французский художник, иллюстратор «Смехового журнала».

[53] Шеве Эмиль Давидович (1851 — ?) — преподаватель немецкого языка в Санкт-Петербургской Второй гимназии, а также в Николаевском Кадетском корпусе и в женской гимназии Гедда.

[54] Пушкин Александр Александрович (1833–1914) служил в Пажеском корпусе, командир 13-го Нарвского гусарского полка.

[55] Дохтуров Михаил Николаевич (1824–1911) — генерал от инфантерии, участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. После Пажеского корпуса прослужил в лейб-гвардии Уланском полку. Во время Русско-турецкой войны был во главе Московского драгунского, Санкт-Петербургского уланского, 1-го Донского казачьего полков, 1-й конно-артиллерийской батареи.

[56] Черняев Михаил Григорьевич (1828–1898) — русский генерал, участвовал в Венгерском и Туркестанских походах, Крымской, Кавказской и Сербско-турецкой войнах. Главнокомандующий Сербской армией (1876), Туркестанский генерал-губернатор (1882–1884). В Сербии имя Черняева было своеобразным символом славянского братства. Получил Орден Таковского креста (государственная награда Княжества Сербии) и многие другие.

[57] Битва под Алексинацем — сражение между Княжеством Сербия с Османской империей, состоялось 1 сентября 1876 г. Окончилось победой турок и началом Сербско-турецкой войны. Вместе с Сербией сражалась и российская армия (командовал Михаил Григорьевич Черняев).

[58] Милан I Обренович (1854–1901) — князь (1868–1882) и первый король Сербии (1882–1889) из рода Обреновичей. Во время его правления Сербия стала независимой от Турции (после Русско-турецкой войны (1877–1878), по решениям Берлинского конгресса). В марте 1889 г. Милан отрекся от престола в пользу своего сына Александра и продолжил жить в Париже под именем графа Такова.

[59] Дубасов Федор Васильевич (1845–1912) — русский военно-морской и государственный деятель, участник Русско-турецкой войны (1877–1878), генерал-адъютант (1905), адмирал (1906) из дворянского рода Дубасовых. На посту московского генерал-губернатора (1905–1906) руководил подавлением Декабрьского вооруженного восстания.

IN FORMER RUSSIA AND ABROAD THE STORY ABOUT THE FATE OF THE MOTHERLAND AND ABOUT MYSELF

Evgeny Anichkov
Preparation of text and notes by Kornelia Ichin (*Kornelija Ičin)*

PART ONE
Childhood, ancestors, parents and relatives

CHAPTER I
In St. Petersburg, the Caucasus and the Moscow Region

Glimmers of memory — a boy with a book — Cossacks and mountain rapids. — Cornelian-cherry dogwood, dzhapary, white donkey and castle Keragli. — The Alder King in Transcaucasia. — Parents and acquaintances. — Arrival of The Sovereign. — Back to the North. — Novosil'covy. — We are children.

Chapter II
Vilna five-year anniversary

Childish yearning. On Zhdanjah. — New outskirts. — Civilization and the convent. — Vilna — a small town. — Acquaintances and friends. — Situation and mores. — My game. —- Three Tutors. — The boy from the ice rink. — 13th Cavalry division. — Brother and I, Turks and Slavs.

ПАМЯТИ В. Д. ШЕЛИКЕ — ОСНОВАТЕЛЬНИЦЫ НЕМЕЦКО-РУССКОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ В ДРЕЗДЕНЕ

DOI 10.17323/2658-5413-2020-3-1-278-283

Русский мир Германии глубоко опечален кончиной Валерии Дмитриевны Шелике — основательницы Немецко-русского института культуры в Дрездене, при котором действует Русский центр, недавно отметивший 10-летний юбилей.

В. Д. Шелике родилась 18 января 1937 г. в Воронеже. Работала программистом в Московском авиационном институте, где познакомилась с будущим мужем — Вольфгангом Шелике, молодым специалистом из ГДР. Сейчас он руководитель Русского центра и председатель правления Немецко-русского института культуры.

В мае 1993 г. Валерия Дмитриевна стала сооснователем Немецко-русского института культуры (НРИК). Основная цель деятельности института — диалог русской и немецкой культур.

Институт организует презентации книг, встречи с немецкими и русскими писателями, поэтами, актерами, деятелями театра и кино, вернисажи и фотовыставки, симпозиумы и круглые столы на политические темы, музыкальные вечера и просмотры фильмов, выступления хоров и фольклорных ансамблей. Его гостями



в разное время были писатели и поэты Чингиз Айтматов, Евгений Евтушенко, Даниил Гранин, Белла Ахмадулина, Булат Окуджава, Анатолий Приставкин, Виктор Ерофеев, Фридрих Хитцер, Петер Госсе, Андрей Битов, Виталий Вульф, актеры Василий Лановой, Вениамин Смехов, Валерий Золотухин, Людмила Чурсина, Валентина Талызина, космонавты Владимир Поляков, Виталий Севастьянов, Валерий Поляков, Юрий Батурин, политики, журналисты, депутаты и многие другие.

Одна из задач института — сохранение исторической памяти. 23 февраля, в день Советской армии, и 9 мая, в День Победы, его сотрудники по традиции возлагают венки к памятнику Красной армии на Olbrichtplatz и к могилам солдат-освободителей на советском гарнизонном кладбище на Marienallee в Дрездене.

В рамках «Дней Достоевского» 10 октября 2006 г. на Новой набережной Эльбы саксонский парламент и Международный конгресс-центр торжественно открыли памятник выдающемуся русскому писателю работы А. И. Рукавишникова. Руководила этим проектом Валерия Шелике. На церемонию открытия прибыли президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Саксонии профессор Георг Мильбрадт. Из московских гостей хотелось бы назвать Игоря Волгина и Владимира Кантора.

В. Д. Шелике указом президента России награждена медалью А. С. Пушкина. Она автор книги, посвященной истории православной церкви Святого Симеона Дивногорца в Дрездене, мультимедийного издания с документальными фильмами на русском и немецком языках «Русские следы в Дрездене» и «Новые русские следы в Дрездене».

Светлая память о Валерии Шелике навсегда останется в наших сердцах. Дело по укреплению мира, сотрудничества и взаимопонимания между нашими странами и народами будет продолжено ее близкими, учениками и последователями.

Виталий Колесник, Дрезден
05.12.2019

* * *

Очевидно, было бы недостойно с моей стороны не сказать несколько фраз о Лере Шелике, столько раз помогавшей мне, моей жене, а главное, дочке Маше. Мы познакомились в Дрездене на конференции по Достоевскому, куда я попал в каком-то смысле случайно. Приглашали моего отца, Карла Кантора, который работал тогда в Фонде Горбачева. Немецко-русскому культурному институту контакт с этим фондом был важен. За несколько дней до отъезда отец сказал: «Поезжай лучше ты, все же Достоевский твой герой». Конференция была посвящена «Бесам». И я поехал. Почти никого не знал, не будучи «человеком стаи» (неваж-



Обложка книги Л. Мюллера

но какой). Собственно, русские коллеги меня никогда и не приглашали.

Роман, как мне казалось, я сумел прочитать по-новому, нашел какие-то непривычные ходы. Доклад назывался «Карнавал или бесовщина». Потом его перевели на немецкий, он вошел в несколько моих книг. Итоги конференции подводил знаменитый немецкий славист Людольф Мюллер, лучший немецкий специалист по русской культуре, в том числе по Достоевскому и Владимиру Соловьеву. Он вдруг сказал, что конференция может поздравить себя с научным открытием — докладом Владимира Кантора. Я сразу как будто попал под свет прожектора. Этого мне не хотелось (никогда не любил прожекторов), но был рад за супругов Шелике: к ним приехала темная лошадка, вдруг оказавшаяся призовой. Отечественные коллеги, кстати сказать, смотрели на меня довольно кисло. Зато немцы после слов Мюллера выказывали уважение. И с этого момента я действительно стал желанным гостем в Немецко-русском институте.

Что могу сказать? Только самое лучшее. Когда я оказывался в Дрездене, то всегда был уверен, что найду кров, постель и пищу, не говоря уже о дружеской беседе. Более того, Лера помогла нам, когда дочь Маша поступила в Берлине в аспирантуру, найти ей жилье в Берлинском русском доме, а когда мне делали операцию в Дрездене, чаще всех навещала меня. Удивительно, как Вольфганг и Лера дополняли друг друга. Они несли в себе ощущение невероятной близости немцев и русских.

Идея духовной взаимосвязи Германии и России просматривалась в истории двух стран не раз, в XI в. ганзейские корабли привезли зерно доходившим от голода жителям новгородских земель, в XIX в. великий П. А. Столыпин говорил, что России самой историей предназначена дружба с Германией, несмотря на «Drang nach Osten». Русская императорская семья была пронизана немецкими связями, немецкая кровь текла в жилах русских царей.

Автором концепции экспансии на восток явился германский император Фридрих I Барбаросса (1152–1190). Для борьбы с восточными народами (славянами,



Валерия и Вольфганг Шелике



Дрезденский Дом немецко-русской культуры на Zittauer Straße, 29, — один из мостиков, восстанавливающих прерванную связь двух культур



Главы государств на открытии памятника



Отец Георгий Давыдов, Валерия Шелике, Владимир Кантор

литовцами, сорбами, прусами) были организованы немецкие Северные крестовые походы. В эпоху Средневековья немцы вытеснили (в XIII в.) русских купцов из Латвии. Были онемечены многие славянские и балтийские племена, в особенности пруссы.

И всю первую половину XX столетия две эти страны шли через чудовищные войны с миллионами жертв, убивая друг друга. Особенно старались нацисты, впрочем, и большевики не отставали.

Дома немецко-русской дружбы есть не только в Дрездене, но и в Мюнхене, Баден-Бадене и др. Практически каждый такой дом опирается на своего русского писателя. Если в Баден-Бадене, например, Тургенев, то в Дрездене — Достоевский. Потому что именно здесь был написан великий роман «Бесы».

Русская Валерия Дмитриевна с помощью немца Вольфганга пробила идею памятника Достоевскому в Дрездене. Памятник открывали В. В. Путин и А. Меркель.

В XX в. в Дрездене жило много великих русских. Скажем, прихожанами церкви Святого Симеона Дивногорца были С. В. Рахманинов, Ф. А. Степун, князь А. Д. Оболенский, создавший совместно с С. Ю. Витте знаменитый Октябрьский манифест 1905 г. (он же рекомендовал императору Петра Столыпина, кстати, тоже уроженца Дрездена).

Когда я искал в Дрездене бумаги Степуна, Валерия Дмитриевна познакомила меня с настоятелем православного храма Святого Симеона Дивногорца отцом Георгием Давыдовым. Степун вместе с князем Оболенским создали там кружок русской культуры имени Владимира Соловьева. Заседания проходили в подвале храма. Отец Георгий показал архивные материалы, в том числе церковно-приходские книги.

Говорят, не стоит село без праведника. Земля не стоит, добавил Солженицын. Но позволю себе еще небольшое уточнение: ни одно дело не может *стать*, если его не одухотворяет праведник.

Каковым и была Валерия Дмитриевна Шелике.

Владимир Кантор, Москва

ОБ АВТОРАХ

1. Алексанова Татьяна Станиславовна — студентка магистерской программы Школы философии НИУ ВШЭ, Москва.
2. Аляев Геннадий Евгеньевич — д. филос. н., профессор кафедры философии и педагогики Национального технического университета «Днепровская политехника», Украина.
3. Антанасиевич Ирина — доктор филологии, профессор кафедры славистики Белградского университета, Сербия.
4. Бабошин Даниил Тимофеевич — студент МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва.
5. Блинникова Полина Александровна — студентка Школы философии НИУ ВШЭ, стажер-исследователь Международной лаборатории исследований русско-европейского интеллектуального диалога НИУ ВШЭ, Москва.
6. Буббайер Филип — сотрудник Вестминстерского университета, Кентского университета, Кентский университет, Кентербери, Кент, Англия.
7. Булдаков Владимир Прохорович — д. ист. н., главный научный сотрудник Института российской истории РАН, Москва.
8. Грбич Филипп — писатель, Сербия.
9. Ичин Корнелия — д. филол. н., ординарный профессор филологического факультета Белградского университета, главный редактор журнала «Зборник Матице српске за славистику», Сербия.
10. Йожа Дьердь Зольтан — Доктор философии (PhD), адъюнкт кафедры русского языка и литературы Будапештского университета им. Лоранда Этвеша, Венгрия.
11. Кантор Владимир Карлович — д. филос. н., ординарный профессор НИУ ВШЭ, заведующий Международной лабораторией исследований русско-европейского интеллектуального диалога НИУ ВШЭ, главный редактор журнала «Философические письма. Русско-европейский диалог», член Союза российских писателей, член Общественного совета Фонда Достоевского, Москва.
12. Куманьков Арсений Дмитриевич — к. филос. н., старший преподаватель Школы философии НИУ ВШЭ, Москва.
13. Макарова Анна Федоровна — аспирантка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва.
14. Мартемьянов Кирилл Алексеевич — студент магистерской программы Школы философии НИУ ВШЭ, стажер-исследователь Международной лаборатории исследований русско-европейского интеллектуального диалога НИУ ВШЭ, Москва.
15. Мироненко Мария Валентиновна — студентка магистерской программы Школы философии НИУ ВШЭ, Москва.

16. Морозов Даниил Антонович — студент магистерской программы Школы философии НИУ ВШЭ, стажер-исследователь Международной лаборатории исследований русско-европейского интеллектуального диалога НИУ ВШЭ, Москва.
17. Насырова Анна Вадимовна — аспирантка философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва.
18. Подобуева Екатерина Владимировна — студентка Школы философии НИУ ВШЭ, Москва.
19. Резвых Татьяна Николаевна — к. филос. н., доцент кафедры новых технологий в гуманитарном обучении Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного университета, Москва